

К 100-летию Пермского университета
Филологический факультет

ΠΟΙΗΣΙΣ (POËSIS)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

*100-ЛЕТИЮ ПГНИУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ*

ΠΟΙΗΣΙΣ (POËSIS)

Страницы биографий поэтов – выпускников
филологического факультета
Пермского университета

Пермь 2014

УДК 82-2:82:4:378

ББК 83.3-8+74.58

Р 67

Ποίησις (Poësis). Страницы биографий поэтов
Р67 выпускников филологического факультета Пермского
университета / сост. Н. Е. Васильева; отв. за вып.
Б. В. Кондаков; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь,
2014. – 203 с.

ISBN 978-5-7944-2328-0

В книге собраны очерки и статьи о выпускниках филологического факультета, связавших свою жизнь с поэзией. Многие из них стали профессиональными поэтами, членами писательских союзов и объединений; другие, не являясь писательских организаций, остаются верными поэтическому творчеству. Имена большинства представленных в книге поэтов известны в масштабах всей страны и даже за ее пределами.

У издателей есть основания считать, что издание получит живой отклик не только читателей, связанных с историей факультета и университета, но и среди массовой аудитории, любящей стихи и желающей расширить свое познание о поэтах – героях этой книги.

УДК 82-2:82:4:378

ББК 83.3-8+74.58

Печатается по постановлению ученого совета филологического факультета

Ответственный за выпуск – декан филологического факультета

ПГНИУ профессор Б. В. Кондаков

Редакционная коллегия: Е. А. Баженова, Н. Е. Васильева,

Т. Б. Карпова, Б. В. Кондаков

© Пермский государственный национальный
исследовательский университет, 2014

© Н. Е. Васильева, составление, 2014

© Л. Г. Писорогло, оформление, 2014

ISBN 978-5-7944-2328-0

Содержание

Предисловие	3
<i>Зебзеева А.</i> Пой, скворушка!.. (Алексей Домнин)	4
<i>Гладышев В.</i> Самоубийца из поколения победителей (Евгений Можаяев)	22
<i>Востриков Ф.</i> «Вечность нас пригласила в гости...» (Владимир Радкевич)	36
<i>Рейдерман И.</i> Поэт, опоздавший на поезд...	52
<i>Горланова Н.</i> Властенко (Юрий Власенко)	70
<i>Винниченко В.</i> Поэтом можешь ты не быть... Записки доживателя	84
<i>Дрожащих В.</i> В небе, выпавшем из гнезда	99
<i>Гурин И.</i> Совесть болящая (Николай Кинёв)	114
<i>Антонов А.</i> Рыцарь звучащего слова (Вячеслав Полунин)	131
<i>Чилейшин С.</i> Кто в облаке? (Юрий Беликов в перекрестии пристальных взглядов: от Марии Серовой до Евгения Евтушенко)	135
<i>Субботин А.</i> Кривое зеркало, или творческий путь Анатолия Субботина	172
<i>Четина Е.</i> «Человек-костер» Григорий Данской	185
<i>Чечёткин П.</i> «Небесный заяц»	195
<i>Сидякина А.</i> Энциклопедия «Уральская поэтическая школа» (фрагменты раздела «Персонажи», посвященные В. Кальпиди, А. Колобянину, И. Козлову)	212
Фотографии	229

Предисловие

Книга «Ποίησις (Poësis)» посвящена выпускникам филологического факультета, ставшим поэтами.

Греческое слово «ποίησις» (латинское *poësis*) в буквальном переводе означает «делаю», «создаю», «творю». Используя в качестве названия книги греческое слово, мы хотели подчеркнуть, что опубликованные в ней очерки, посвященные поэтам, – это живой рассказ о творческом труде и созидании, о поэтическом Слове.

Книга «Ποίησις (Poësis)» выходит одновременно с книгой «Prosa oratio», посвященной выпускникам факультета – прозаикам. Оба издания представляют своеобразную дилогию, целостную по теме и замыслу, объединенную общей целью – создать портреты наших выпускников, ставших писателями, и работающих в разнообразных прозаических и поэтических жанрах.

Авторами статей являются как сами поэты, так и профессиональные критики, журналисты, издатели. Право выбора формы повествования и ее автора принадлежало героям книги.

Последовательность имен в книге определяется датой окончания филологического факультета – такой принцип принят для всех изданий юбилейной серии.

Издание завершает материал А.Сидякиной, подготовленный ею для энциклопедии «Уральская поэтическая школа». Поэты, о которых пишет А.Сидякина, по разным причинам не закончили наш факультет, но на определенном этапе своей жизни были его студентами, и их сегодняшняя причастность к уральской поэтической школе, несомненно, начиналась на филфаке.

На страницах этой книги пермский читатель встретит новое имя – одессита Ильи Рейдермана, который в 1960-е годы закончил наш факультет и стал интереснейшим поэтом-философом. Мы посчитали необходимым найти его, и он с радостью откликнулся на наш призыв.

Составители этого выпуска выражают особую благодарность авторам, не связанным сегодня с филологическим факультетом, которые согласились принять участие в подготовке книги: А.Зебзеевой, Ф.Вострикову, А.Антонову, А.Ватажникову, а также В.Якушеву – председателю правления пермской писательской организации Союза писателей России – за его добрые советы и консультации.

Н. Васильева
Б. Кондаков

Пой, скворушка!..

На первый взгляд, кажется не слишком правомерным помещать имя Алексея Михайловича Домнина (1928–1982) в поэтический список, ведь значительная часть его литературного наследства – проза: исторические повести, рассказы для детей. Однако вчитываясь в эту прозу, во-первых, находишь в ней подлинно поэтические образы и приемы, во-вторых, начинаешь воспринимать ее как подступы к стихотворчеству, угадываешь пути, которыми потом пойдет Домнин-поэт.

Михаил Смородинов справедливо отмечает:

«Как прозаик исторического плана, он не был беспристрастным летописцем. Поэтическое равнодушие, пристрастность одинаково ощутимы и в повести “Матушка Русь”, и в переложении “Слова о полку Игореве”» (Звезда. – 2003. – 23 окт.).

«Поэтическое равнодушие» – точнее не скажешь.

И окончательно убеждаешься в правоте составителей этой книги о вышедших из стен факультета литераторах, когда читаешь воспоминания детей Алексея Михайловича о своем отце: он был поэтической личностью.

Рассказывает сын, Илья Алексеевич Домнин:

*«... Пой, скворушка! Гори, моя лучина!
Свети, звезда, над путником в степи!»*

Обидно и горько, что очень рано догорела лучина жизни поэта и историка, балагура и выдумщика, художника, страстного рыболова и охотника, интеллигента и крепкого семьянина – моего отца Алексея Михайловича Домнина.

Родился он в 1928 году в городе Пенза, учился в школе № 47 в Перми, закончил историко-филологический факультет университета. Его наследие – повести и рассказы, стихи, статьи, переводы – известно многим читателям. Весьма весомым, на мой взгляд, произведением является поэтическое переложение «Слова о полку Игореве»; исследование, начатое еще его отцом. Ничего удивительного, что он выбрал профессию литератора и историка. Достаточно перечитать пролог к повести «Матушка Русь»: с какой любовью он вспоминает о своем отце, о его увлеченности историей Руси – и становится ясно, что он посчитал своей обязанностью завершить дело, начатое Михаилом Константиновичем, моим дедом.

Я не очевидец событий папиной молодости, а могу лишь извлечь из памяти наиболее яркие моменты жизни в пору своего сознательного существования. Попробую освежить воспоминания взглядом, так сказать, с изнанки.

Весельчаком и шалуном отец был с детства. Давал, наверное, шороху матери, нашей бабушке Наталии Яковлевне. Женщина простая, но строгая, в прошлом воспитательница детдома для беспризорников, работая после войны акушеркой в роддоме Грачевской больницы, она половину населения Мотовилихи приняла на руки, в том числе и всех своих внуков. Примером для отца был старший брат Виктор, жизнь которого сожрала война на Невской Дубровке под Питером.

Учась в университете, в творческих состязаниях с такими же отчаянными, мог запросто сочинить озорные частушки на социально-бытовую тему с марксистско-ленинским уклоном:

Эх, тетушка моя, матушка Лукерья.

Первично сознание; вторична материя...

Как у тетки Марфы в попе разорвалась клизма.

Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма.

После окончания университета отца распределили в Ижевск, в местную газету. Здесь он в кабинете стоматолога повстречал худенькую девушку Тамару, нашу будущую маму, и без памяти в нее влюбился. Она оказалась в Ижевске тоже по распределению, окончив Казанский юридический институт, работала следователем, а затем инспектором по делам несовершеннолетних. В Пермь они вернулись уже вдвоем.

По себе теперь знаю, каково поднимать троих детей. Нас, детей Домниных, было трое: кроме меня – сестра Лена, старше меня на пять лет, и сестра Наташка – на 15 минут. Увы, доходы литератора невелики и крайне непостоянны, скромный достаток семьи не позволял шиковать, но мы, дети, всегда были одеты, обуты и сыты. Авторитетом в обеспечении и воспитании была наша мама, Тамара Сергеевна.

Отец пропадал по редакциям, на радио и телевидении, где писал тексты к документальным фильмам, в театре юного зрителя и кукольном, где писал стихи к спектаклям. Вечером он запирался у себя и работал. Уходя утром в школу, мы заставляли его крепко спящим в прокуренном кабинете после всенощного сидения над рукописью, за печатной машинкой.

Дом наш всегда был полон: писатели Лев Кузьмин, Владимир Воробьев, Лев Давыдычев, Авенир Крашенинников, Андрей Ромашов, журналист Роберт Белов; частыми гостями были артисты ТЮЗа, ре-

жиссер документального кино Михаил Заплатин, художники Петр Оборин и Александр Зырянов. Бесчисленное количество творческих споров выслушали и выдержали стены отцовского кабинета. Зачастую мы, домашние, становились первыми читателями рукописей его соратников по перу: это и стихи Кузьмина, и “Капризка – вождь ничевоков” Воробьева, “Царь-рыба” Астафьева и множество других. Кстати, мы считали, что и Капризку-то придумала наша мама. Однажды, укладывая нас с Наташкой в постель, она громко и строго сказала: “Где этот Капризка, а ну гоните его прочь – и спать!”...

Мы с Наташкой, едва научившись грамоте, написали, подражая папе, первые рассказы из двух-трех предложений. Такие, например: “Два тигренка играли в шашки. Выиграл старший тигренок. Младший заплакал, а старший утешил его конфеткой”. Папа отпечатал наши опусы на машинке, соорудил маленькие книжки, а мы украсили их рисунками. То-то радости было показывать эти книжки родным и знакомым!

Застолья с друзьями отца по праздникам и по поводу никогда не обходились без юмора, стиховых подковырок, игровых импровизаций.

Помню, нам с Наташкой было уже лет по тринадцать. В двери нашей квартиры сломался замок. Мои неуклюжие попытки его починить привели лишь к тому, что он загнулся окончательно. Назавтра у нас случился какой-то праздник с гостями. Папа вручил нам текст частушек. Мы завесили дверной проем простыней и с настоящими дареными куклами из кукольного театра – Волком и Собакой – сыграли-спели:

*Мы, висимские робята,
Говорим среди зимы:
Говорят, что счастье в детях,
Значит, счастье – это мы.
В книжках мы собаку съели,
Нам науки – пустяки.
Потому в квартире нашей
Переломаны замки.
Шик – усы у дяди Саши,
Мы завидуем усам.
Пусть по ним течет сегодня,
Ну, а что – он знает сам!..*

Летом, в пору отпусков, отец снимал где-нибудь в глуши, вдалеке от города, деревенский домик, где мы всей семьей проводили две-три недели. Крепко запали мне в память Баранята. Нам с Наташкой было тогда лет по шесть. Здесь мы пили парное молоко с толокном, ходили по грибы и ягоды, пытались ловить в ручье “сомиков” (пескарей) на

загнутый гвоздик с дохлой осой на острие. Надев вывернутый наизнанку старый тулуп, подкрадывались к пасущимся по соседству ягнятам. А вечером наблюдали, как на фоне закатного солнца кони запросто перемахивали через плетень на краю овсяного поля.

Однажды, переходя ручей, Наташка наступила на корягу. Коряга сыграла как рычаг, и из грязной лужи меж кочек вынырнуло что-то черное и чавкающее. Полуденную знойную тишину рассек жуткий вопль:

– Спасите! Крокодил!

Почти всегда в нашем доме были собаки. Предмет нашей гордости – лайка Путик, по документам – потомственный северный оленегон. Уже другим летом в Молебке (той самой, с природными аномалиями и странностями) мы отправились всей семьей на Змеиную горку. Увидав на противоположном склоне распадка мирно пасущееся стадо, Путик счел своим долгом ударить на поляну к коровам. Нашему вниманию был представлен процесс сбора скота в кучу, как на севере собирают собаки оленей. Большой круг, поменьше... Когда все стадо представало мычащей громадой и ощерилось рогами на мохнатого помощника, Путик, не обращая внимания на матерившихся пастухов и брехающих вокруг псов, гордо помочился на кустик и с чувством выполненного долга вернулся к нам.

Охота – особое пристрастие отца. Ею он увлекся еще в юношескую пору. Трудно найти, наверное, место в Пермской губернии, где не побывал он со своим лучшим другом и напарником Андреем Ромашовым. “Сижу с женой, пью чай...” – так начинается множество баек, сложенных отцом на темы лесных походов.

– Однажды, – рассказывал он нам, – я чуть не замерз в лесу. Сил не осталось дойти до вокзала. Сел в снег под елку и стал забываться. А как подумал, что завтра надо кому-то Илюшку с Наташкой будить, одевать и в садик везти – подняла меня неведомая сила и заставила дальше идти.

Виктор Астафьев писал про отца: “Есть у меня друг, что на охоту выйдет за околицу и сразу садится пить чай...” Костерок, котелок, смородинка в чай – традиционная церемония в каждом его походе. На дальних кордонах и чекушечка порой выныривала из рюкзака. Запасшись папироской, отец начинал долгую беседу с попутчиком под птичьи песни из ближайшего перелеска.

Меня папа стал таскать с собой по лесам лет с тринадцати. Постепенно его страсть к таежному бродяжничеству привилась и мне. Порой сижу у костерка с кружкой чая; дежурный солист – рябчик – выводит свою трель на взгорке, и вспоминаются походы на моховые

болота за брусничой и клюквой всем семейным гамузом. Батя говорит мне:

– Илюшка, пока наши ягодИцы (читай – ягодницы) собирают урожай на болоте, мы во-о-н там, на вырубке, косачика проверим.

И я с рюкзаком за спиной едва поспеваю за быстрой отцовской походкой.

Решительно все в лесу представляло для него интерес. Одному ему ведомым взглядом он усматривал в причудливых изгибах веточек или корней, деревянных наростов будущие персонажи. Принося домой заготовки, садился за инструмент, и в его руках обработанные корни оживали, превращаясь в бородатого старика, балерину, черта или одноногого пирата. Обычный поперечный спил березы, оказывается, таил в себе лик Мадонны с ребенком на руках. Что ни нарост – то пепельница или ваза. Отец обладал удивительным умением видеть материал вглубь. Стол с основой из узловатого корня, винторогий торшер, полочки его кабинета были уставлены разнообразной деревянной фантазией. Иногда почетному гостю нашего дома доставался в дар экспонат этого музея. Художник и близкий друг папы Петр Артемьевич Оборин нарисовал портрет отца на фоне его поделок.

Стены папиного кабинета занимали картины, написанные собственноручно – акварель, пастель и масло. Все они посвящены излюбленной теме – пейзажам.

Художественные увлечения отца не ограничивались деревянной скульптурой и живописью. Частью его коллекций были камни: малахиты и агаты, яшма и селенит. Камушки были привезены из дальних поездок по Уралу или подарены многочисленными друзьями-геологами. Привязанность к минералам передалась и сестре Наташке. Она выбрала профессию геолога. Биологии себя посвятила старшая сестра. А я как увлекся радиолубительством в юности, так и связал себя с физикой и электроникой. К чести и гордости наших родителей, все мы, дети Домнины, получили университетское образование.

В пору отрочества отец взял нас с Наташкой в сплав по реке Чусовой в команде с известным краеведом Сергеем Афанасьевичем Тороповым. Сергей Афанасьевич рассказывал нам об освоении Чусовой, об истории скал-камней. Отец сочинил гимн нашего понтона, который мы исполняли под гитару у костра:

*... Мы плавали мултыча, веслою в воду тыча,
И песенку мурлыча над бурною волной,
Лядащий, кострубатый, немый и зубатый,
Немый и зубатый, солощий и мордной.
...Веселая, живая, струится Чусовая,*

*Туристов зазывая в суровый край лесной.
Лядаций, кострубатый, немытый и зубатый,
Немытый и зубатый, солощий и мордной.*

Заковыристые словечки гимна взяты из коми-пермяцкого эпоса: мултычить – грести, кострубатый – косматый, солощий – любящий поест и т.д.

Не раз отец затаскивал меня к себе в кабинет и начинал беседу с вопроса:

– Илья, ты понимаешь, что ты здесь последний из рода Домниных? У тебя непременно должны быть сыновья, чтобы род наш не прервался.

Пристальный интерес и предмет гордости для отца составляло происхождение нашей фамилии. Изучению ее истории он посвятил многие часы сидения в архивах.

Наша семейная легенда гласит, что Стенька Разин спутался с девкой Домной, отчего и пошли Домнины дети. Исследования, проведенные отцом, показали, что в Нижегородской губернии есть город Лысково, под ним городок Макарьево, и там же деревня Домнино. Здесь и находятся корни фамилии. Стенька Разин тут не был, но один из его воевод действительно путался с девкой Домной. Наш пра-пра-прадед Домнин был в Макарьево городским головой. Этому факту имеется убедительное доказательство в семейном архиве – старинная фотография с красной сургучной печатью. Хочется думать, что и мои сыновья проникнутся гордостью за свою фамилию и обеспечат преемственность ее поколений.

“Блекнут в памяти встречи и даты, не вернешь их, зови – не зови...” Пока еще живы в нашей памяти яркие моменты жизни рядом с отцом, хочется, чтобы грядущие поколения знали его не только по книгам. Общительный и доброжелательный собеседник, сказочник, художник и поэт, человек самых разносторонних интересов, веселый и легкий на подъем бродяга, творческий и увлеченный исследователь – в этой оболочке помещался любящий муж, отзывчивый сын, заботливый отец и дед Алексей Михайлович Домнин».

Вспоминает Елена Алексеевна Домнина (Осокина):

«Это для всех он известный писатель, поэт, знаменитость, а для меня – отец. Человек, который определил мой взгляд на мир, вкус к жизни, восприятие ее ярких красок...

Всплывают в памяти яркие моменты, связанные с отцом.

Наш дом на Висиме. Дедушка в огромных валенках сидит на кухне в своем углу, который он называл “мурло”. А мне четыре года, и я

люблю прижаться к этим валенкам, дедушка гладит меня по голове. Я тогда думала, что “мурло” – от слова “мурлыкать”.

Отец сидит в том же углу, рисует белого оленя на фоне ночного неба и северного сияния. За оленем гонятся псы. Я стою коленками на табуретке, тоже что-то рисую. Отец рассказывает мне лапландскую легенду:

– ...Собаки пытаются догнать оленя, а он убегает... Если они смогут догнать оленя, мир погибнет. Не бойся, они не догонят оленя!

Мне лет пять. Мы с папой идем из детского сада. Вечер. Из трубы хлебозавода, находящегося неподалеку, идет черный дым. Я фантазирую:

– Это ночь из трубы выходит. Гроза, молния – не страшно: кочергой ее нужно, как головешки в печке...

Фантазерство поощрялось, его было много, и в конце концов из этого родились отцовские сказки “Ночь в трубе”, “Молния на кочерге” и другие. Перечитывая его ранние сказки, я вспоминаю годы детства – небогатого, но очень веселого и счастливого.

Он умел находить и подхватывать интересные детские высказывания, на которые большинство взрослых не обращают внимания, а то и просто от них отмахиваются. Он говорил, что все дети талантливы, только вот развивается талант редко. Он старался развивать эти таланты.

Отец стоял у истоков многих адресованных детям изданий – “Сами о себе”, “Оляпка”, был членом редколлегии журнала “Уральский следопыт”. Мне этот журнал очень нравился!

У нас в гостях мальчик лет восьми-десяти, очень интересно рассказывает мне, четырехлетней, про зверей из зоопарка. Вот из таких рассказов рождались книги серии “Сами о себе”, авторами которой были дети любого возраста, а того мальчика звали Миша, Михаил Смородинов, он потом стал поэтом.

Тогда же родилась “Оляпка”, для которой писали многие пермские писатели, поэты: у них у самих были маленькие дети. На этих книгах выросло целое поколение пермяков. Помнят их и сейчас. Недавно попалась на глаза вывеска: название магазина детских товаров – “Оляпка”.

Любовь к чтению нам тоже привил отец. Я очень много читала, часто по ночам на кухне — чтоб не мешать младшим брату с сестрой спать; ведь оторваться от книги было невозможно. Книги для меня приносил отец — брал на время у знакомых. Обычно это были приключения: Майн Рид, Дюма, Жюль Верн... Книгу “Три мушкетера” нам дали на один день. Я прочитала ее к четырем часам утра. Чтение книг

оказалось полезным: я на подсознательном уровне не делала ошибок в текстах по русскому языку, да и словарным запасом владела гораздо большим, чем ровесники. Благодаря чтению слыла среди них очень эрудированным человеком.

Мне было лет четырнадцать, мы жили уже на улице Туристов (сейчас это улица Гайдара). Отец приходит домой и говорит:

– Ленка, надо собаку?

У меня и сердце замерло: конечно, нам надо собаку! Мы тут же пошли за собакой. Это оказался четырехмесячный мохнатый рыжий щенок, западносибирская лайка (с родословной!) со смешной кличкой Путик. Кто-то посмеивался, а мы с папой знали, что путик – это охотничья тропка в тайге, совсем незаметная, скорее направление... Путик был талантливым охотником и очень свободолюбивой собачьей личностью.

Я без страха ходила в лес одна, только с ним. Однажды мы встретили стадо овец. Путик живо отогнал одну овцу и погнал ее куда-то в овраг, я кубарем за ним... Отец объяснил:

– Охотничий инстинкт, зов предков...

Каждый год он заранее выбирал место для двухнедельного летнего отдыха – домик, который снимали где-то в деревне. Каждый год это были разные места в деревнях на берегах Сылвы, Чусовой. Мы долго туда добирались: сначала на электричке, потом по лесной дороге, каждый со своим рюкзаком. Были рюкзаки и у младших брата с сестрой, чем они очень гордились. Тащили какие-то припасы, совсем как взрослые. Бывали мы и в известной в определенных кругах Молебке. Воспоминания о ней расплывчаты и тревожны: в тех лесах я чувствовала себя некомфортно. Ни одна фотография тех мест не получилась – все было нечетко, расплывчато...

Летом, в июле – августе, он частенько будил меня спозаранок – часов в пять – шесть утра:

– Ленка, вставай, пошли за грибами.

Никаких отговорок! Тащусь за ним в полусне, но только вошли в лес – весь сон проходит. Такая красота вокруг! Удовольствие побродить по лесу каждый раз неповторимо – даже и грибы где-то там, на втором плане. Обязательно с собой котелок, традиция – нарвать по дороге листьев лесной смородины, развести на берегу речушки костерок, попить крепко заваренного чаю со смородиной. Вкуснее не бывает! И НИКОГДА мы не оставляли мусор, непотушенное кострище. Отец говорил мне:

– Надо уважать природу, мы в ней живем. Мы люди, мы сильные, а настоящая сила должна быть доброй.

Позднее меня, девицу лет четырнадцати-шестнадцати, родители могли не отпустить на танцы, а вот в лес – всегда пожалуйста...

Когда пришло время определяться с выбором профессии, отец мне сказал:

– Я бы не хотел, чтоб ты шла на филфак, потому что меня там знают, помнят, и ты будешь всего лишь дочерью писателя. Нельзя пользоваться чужим авторитетом. У человека должны быть своя жизнь, свои заслуги, свой авторитет. Ты должна сама заработать свое имя...

Я пошла на биологический факультет. Меня интересовали химия и биология, и любовь к природе тогда пересилила, но жизнь привела к химии. Как-то мне в руки попали старые тетради деда, где, к моему удивлению, были записи, касающиеся химии! Бабушка сказала, что да, он очень интересовался химией, и если бы не был экономистом, стал бы химиком.

Я ни разу в жизни не использовала имя отца для достижения своих целей. Принципиально.

Как мне хотелось, чтоб отец тоже мог мной гордиться! А он не был склонен раздавать похвалы, чаще попадало – когда за дело, а иногда и напрасно. Скажет: “Кому больше дано, с того спрос больше” – и уже не так обидно.

Однажды, правда, я все-таки удостоилась похвалы. В студенческие годы была редактором факультетской стенгазеты “Биолог”. У нас подобрался отличный коллектив, и газета получалась интересная, яркая, несколько раз занимала первое место по университету. И как-то раз отец мне сказал, как бы между прочим:

– Газета-то у вас хорошая. Даже филологи ходят читать!

Я оторопела: откуда он узнал?! Я почувствовала, что такое фонтан эмоций! Это как покататься на облаке, съехать по радуге... Это была не просто похвала – отец мной гордился!

Конечно, со временем жизнь отдалила меня от отца, я вышла замуж, мы встречались реже. У меня появился сын, и во время нечастых встреч отец с удовольствием беседовал о чем-то с четырехлетним Никитой. При жизни отец знал только одного внука. Остальные четверо родились после его смерти. Всего их пятеро: двое моих детей, трое – брата Ильи. Есть уже и правнуки.

Отец был примером для меня и в отношениях с людьми: он всегда относился с уважением к чужому мнению, не соглашаясь с чем-то, никогда не кричал, не злился, а спокойно старался переубедить. Спорить с ним было интересно, но сложно: он мог легко, с юмором убедить вас в том, что черное – это белое... Он обладал врожденной, внутренней интеллигентностью. В быту никогда не срывался на близких, не кри-

чал. Нас, провинившихся, наказывая, ставили в угол, иногда давали подзатыльник, а когда отцу позволяло время, он уводил к себе в кабинет и беседовал о поведении, о жизни и вообще о многом. НИ РАЗУ в жизни он не повысил голос на маму. Ссор в семье не было. Все решалось спокойно и конструктивно.

Светлой души человек, отец сделал все, чтобы его жизнь продолжалась в детях, внуках, правнуках. И, конечно же, в книгах».

Всего книг – 24. Первая книга прозы вышла в 1959 году, первый стихотворный сборник – в 1966-м.

Рецензий на эти книги не так уж много, подробным анализом творчества А.Домнина при жизни поэта утруждали себя немногие литературоведы и критики. Однако этим немногим удастся подметить в его поэзии самое главное.

Из статьи Т.А.Лунеговой «Поэтический мир легенд» (К вопросу о творчестве А.Домнина), опубликованной в сборнике «Литература и фольклор Урала» (Пермь: ПГПУ, 1979):

«Эстетический идеал А.Домнина определяется любовью поэта в родную природу и его увлеченностью далекой стариной. Отсюда – мягкая лиричность стихов и романтика высоких чувств и действий. Эти два начала, сплетаясь, вносят в произведения А.Домнина особое эмоциональное звучание. В стихах поэта живет личность самого художника, который стремится познать мир через осмысление событий прошлого. Его привлекают метафоричность образов, многослойность содержания легенд с их тяготением к постижению глобальных вопросов, когда в центре оказываются Земля, Небо и Человек.

В авторском слове к книге “Белый олень” А.Домнин так объясняет свое обращение к легендарным сюжетам: “Меня увлекли поэтическое их своеобразие и заключенная в них мудрость. Мне хотелось, чтобы книга эта стала и своеобразным рассказом о днях давно минувших, о древних представлениях о мире и в то же время была созвучной нашим дням, нашла отклик в сердце современника”.

Замысел поэта получил интересное художественное воплощение. Небольшая книга легенд и сказаний, написанных по преданиям разных народов, органично входит в творчество А.Домнина, перекликаясь с его повестями и лирическими сказками для детей. В ней оживают герои эпоса, раскрываются человеческие судьбы, драматические и прекрасные, – все то, что многие годы, с ранней юности, волнует его.

Вслед за книгой “Белый олень” появляется новое издание сказаний, поэм и легенд – “Тропы предков”. Здесь шесть разделов: “Царская потеха” (сказы старого Урала), “Эхо Пармы” (коми-пермяцкие сказания), “Легенды дальних земель”, “На заре Руси великой” (легенды о

русских богатырях), “Слово о полку Игореве” (поэтическое переложение) и “Матушка Русь” (сказание).

...В легендах А.Домнина оживает природа. Персонификация ее отдельных явлений, как и в народной поэзии, порожденной языческими верованиями, становится действенным средством художественной выразительности (“Простерлись над лесами ледяные руки стужи”. “Зарынь на гору восходит и прядет золотые нити, и росой студеной плачет”. “Радуга Энешка воду пьет из родника”. “Хранитель гор – седой и мудрый крот...читает ход истории людской”). Природа предупреждает о надвигающейся беде, помогает скрыться от врагов, олицетворяет непобедимую силу красоты и жизни. В ней находит автор и основу поэтических образов. Природа во многом определяет лирическую тональность повествования. При этом каждая из легенд сохраняет свой национальный колорит: и в своеобразии сюжета, и в системе образов, и в лексике, и в некоторых деталях быта.

Легенда “Белый олень” (лапландская легенда)... заключает основной лейтмотив поэтических сказаний А.Домнина. Борьба света и тьмы, а значит – жизни и смерти отражает суровую природу севера в условиях полярной ночи. Метафоричность образов, синтаксический параллелизм передают зримую картину и в то же время эмоционально окрашивают происходящее:

*Где бурь небесных
Мрачная обитель,
Где льды и тьма
Не ведают границ,
Великий Тьермес –
Грома повелитель,
Хозяин мрака –
Сон потряхнул с ресниц...*

Конец легенды афористически емкий:

*Но тьме не поглотить сиянье света,
Жизнь и стихия – древние враги,
Их вечен спор...*

Это основной философский аспект поэтических преданий А.Домнина.

Последние строки с их метафорической образностью – лирическое раздумье автора:

*И новый день вставал как подаренье,
Как первый день – начало всех начал.*

Два мира, два контрастных начала сталкиваются и в легенде “Побратимы”, написанной по скифским преданиям: жестокая дикая сила

завоевателей, знающих лишь набеги, насилия, грабежи и пожары, – и светлая братская дружба отважных и сильных сердец, как отзвук горячей юности.

...Романтические легенды “Мать” и “Песнь о песне” – сказания о красоте и счастье, о сложности жизни и трудностях человеческого прозрения. Они вобрали в себя поэтический мир народов южных континентов. В них нет внешне выраженного противопоставления добра и зла, четко видимых контрастных начал. Конфликт, определяющий напряженное развитие сюжета, носит глубинный характер. Но система художественных средств, как и в других легендах, связана с миром природы.

А. Домнин не стремится только воспроизвести известные или уже забытые легенды. Он берет то, что близко его эстетическому идеалу, и творчески развивает в фабульных рамках народных сказаний.

...По мотивам уральских преданий Домнин пишет поэтические сказы о мастерстве умельцев старого Урала, об их трагических судьбах. Драматический накал сказов определяется социальным конфликтом: уральский рабочий люд – и царская власть; талант, чуткость к красоте, светлая мечта о справедливости, с одной стороны, и жестокость, несущая гибель всему прекрасному – с другой...

Лирически освещены образы уральских мастеров: “Один – в расцвете юных сил и лет, другой – степенный, третий – стар и сед”. В них выделяется духовная красота, неустанный поиск совершенства, человеческое достоинство. В описаниях почти нет портретных деталей, бытовых ситуаций. Возникает портрет-впечатление, отражающий чувства поэта.

...Лирическая тональность входит в сказы и с авторскими отступлениями, в которых слышатся горькие раздумья самих мастеров (“Эх, воля-воля, ты для мужика, как звезды, недоступно высока!..”) или сочувствие поэта их судьбе (“Они тогда и думать не могли, что спор идет на жизнь – не на рубли”). Эмоционально окрашены и пейзажные зарисовки (“Трусят березки частые над звонкою водой... Среди утесов каменных дороженька бежит...”). Драматизм событий с большой силой подчеркнут выразительными метафорическими образами (“Душа от боли корчилась, тоска насквозь прожгла...”).

...Опираясь на коми-пермяцкие сказания, услышанные от В.В.Климова, на записи преданий о Кудым-Оше и Пере-богатыре, сделанные М.Н.Ожеговой, А. Домнин создает три сказания о героях коми-пермяцкого эпоса. Они передают легендарные рассказы о подвигах во имя народа, воспевают мудрость и богатырскую силу. Повествование

ведется неторопливо. В нем есть лирические раздумья о бессмертии человеческих дел:

*Годы мчатся, словно кони,
Мимо синих камских плесов,
И кипит волна в ладони
Безымянного утеса.*

Слышится философский подтекст (“У реки и у народа свой источник, свое начало”), дающий глубину и многосложность повествованию. Обращаясь к параллелизмам (“Есть запев у древних песен, есть начало у народов”, “Знает волк оленьи тропы, знает враг, где есть пожива”), метафорическим образам (“Глаза людей – как стон немой, как сгусток черной боли”. “А вода – лесам по горло”), вводя множество деталей бытовых и фантастических, поэт рисует подвиги богатырей, гиперболически оттеняя их удивительную силу (“Он валун крошил в ладони, кедр служил ему дубинкой”. “Мог он видеть тени мертвых, мог догнать стрелу в полете и с медведем разъяренным в жмурки весело играть”. “Он как чихнет – и нет окон, и два бревна осели”)... Предания звучат как волнующий рассказ о торжестве человеческого разума, справедливости и благородства над слепой стихией, над силами зла.

...Легенды и сказания А. Домнина – одно из проявлений особого романтического видения мира, которое отличает поэта. Сюжеты и образы народных преданий, став основой его произведений, обрели современное звучание. В них еще одна интересная попытка эстетически осветить философские вопросы, извечно волнующие человека.

Проходят годы. Оригинальный дар поэта остается предметом изучения и пристального внимания литературоведов, в том числе будущих.

Студентка филологического факультета Александра Сырбачева (выпуск 2012 года) в своей дипломной работе «Художественный образ мира в лирике А. Домнина» исследует художественное пространство и художественное время в его поэтическом творчестве, изучает образ его лирического героя.

Из работы Александры Сырбачевой:

«Лирический герой А. Домнина – это своеобразный “путешественник во времени”. Он выступает связующим звеном всех времен. Человек – это та память о былом, которая в нем живет. Показательно в этом аспекте стихотворение “Творчество”. Лирический герой из пространства войны перемещается в Древнюю Русь, а потом возвращается в реальное настоящее. Это перемещение во времени поэт связывает с самым творческим актом, подчеркивая, что художник – это, прежде всего, медиум живой жизни:

*Муки творчества. Судеб скрещенье...
На пороге ты встретишь меня,
И отпразднуем мы возвращенье
Из любви, из беды, из огня...*

Почти всюду его лирический герой исповедует языческий взгляд на жизнь.

*Мы все в душе язычники немного:
И зверь лесной и птаха – нам родня,
И краше солнца нету в мире бога!*

Этот образ человека природы, понимающего все ее тайны, говорящего на ее языке, относит нас в XIX век к пушкинскому “Пророку”. Но природа творчества у А. Домнина объяснена иначе. Творчество предстает перед нами не как божественный дар в христианском его понимании, а как естественный дар поэту самой Матери Земли, чтобы человек через этот дар мог ее понять, осознать:

*Четыре вещей нам даны души:
Одна по смерти в зверя воплотится,
В норе другая скрывается поспешит,
А третья воспарит весенней птицей.
Но есть еще скиталица-душа,
Что сонных нас по белу свету водит...»*

Критики отмечали: «...Сопоставление разных изданий позволяет увидеть постоянную творческую работу поэта над словом. Идет поиск более точного образа, созвучного замыслу и стилю произведения» (Т.Лунегова).

Однако не всегда существование разных вариантов одного стихотворения объяснялось стремлением автора к совершенству. Иногда за этим стояли отнюдь не творческие соображения. Некоторые дорогие А. Домнину стихи подолгу не могли увидеть свет в подлинно авторском замысле. Такой была судьба стихотворения «Бабка».

Из очерка М.Смородинова «Пой, скворушка» (Звезда. – 2003. – 23 окт.):

«...Часто бывавший в глубинке Домнин в начале 70-х подметил горькую тенденцию: те самые бабоньки, вдовы, в годы войны впрягавшиеся в плуги и бороны, изработанные и постаревшие, проводившие в города своих чад, вдруг начали пить. Не так, по-черному, как нынче пьет почти вся сельская Россия, но все-таки...

*К магазину, как к насесту,
Бабка старая пылит,
Потому как всяко место*

*У старушеньки болит.
Потому и встала рано,
Чтобы ножки поразмять,
Чтоб яички и сметану
На рублевку обменять.
Пьет старуха. Отчего бы?
Отчего, таясь в углу,
Политровочку “Особой”
Пеленает под полу?
Лишь в избе уважит бабка
Ту покупочку свою.
И возьмет куриной лапкой
Мякиш, смоченный в чаю.
Внуку вымолвит: молчи, мол...
И с гармошки пыль стряхнет,
Голоском, что, как лучина,
Причитания начнет:
“Чем я вам не угодила?
Тем, что весело жила?
Вы б тогда меня судили,
Когда робить я могла.
Лошаденка – ребра голы,
Да на весь колхоз одна.
Был и голод, был и холод,
Были всяки времена.
Пять сынов – тесно в избенке.
Проводила всех на бой.
Не вороны – похоронки
Закружились над избой.
Может, выжила Россия
Посреди беды людской,
Бабьей верой, бабьей силой,
Бабьей правдой и тоской.
Что же вам не слава богу?
Смерть меня еще пождет”.
Мужики, давай дорогу!
Бабка пьяная идет...*

Процитированное – первый вариант “Бабки”, никогда не публиковавшийся. Именно его читал Алексей Михайлович на выступлениях, заставляя морщиться партийных идеологов. Да какое право имеет поэт оправдывать этих старух, сочувствовать “темному пятну на светлом

фоне социалистического строительства”, тем более после постановления 1973 года о борьбе с пьянством и алкоголизмом?

...Алексей Михайлович, чтобы обнародовать “Бабку”, несколько раз переписывал стихотворение. В конце концов, он поступился обобщением образа, сделал случай единичным:

*Приделась бабка Настя.
В магазин с утра пылит.
Не спешит – опять к ненастью
Всяко местушко болит.*

Вынужден был поэт выдвигать и дополнительные “оправдания” героине, вроде:

*Но сегодня пенсионный,
День особый у нее.*

Изменился и ударный финал. В сборнике “Пой, скворушка!” “Бабка” появилась изрядно “облагороженная”... Сам Домнин на творческих встречах читал отнюдь не книжную версию».

Напомним концовку этого «облагороженного» стихотворения:

*Так за что судить старуху,
Что устала, что сдала?»
Не кори ее, прохожий,
Не суди со стороны.
Ведь в ее судьбу, быть может,
Наши судьбы вплетены.
Все, что есть, что было с нами, -
Наше всё и всё всерьез:
И любовь, и гнев, и память
Трудных лет и давних гроз...
По-сыновьи я приемлю
Мой суровый край лесной –
Это поле, эту землю
С этой бабкою хмельной!*

Из дипломной работы Александры Сырбачевой:

«Вторая концовка, написанная в традиции Есенина, разумеется, звучит более лирично. Она звучит как пояснение первого варианта, который так отрицательно восприняли критики. Но первый вариант нам импонирует больше, так как в нем мы слышим не “негромкий голос” поэта, а стон, полный боли и сострадания. Это стихотворение звучит как вызов. Вызов обществу, идеологии. Оно содержит характерную для всего творчества А. Домнина мысль: закон природы, естественный закон жизни, построенный в природе на инстинктах, а в социуме на совести и доброте, намного выше и старше, чем различные

идеологии, которые приходят и уходят со сменой правителей и общественных формаций».

Мне посчастливилось быть литературным редактором многих книг Алексея Михайловича Домнина – и детских, и поэтических, – вышедших в Пермском книжном издательстве. И работа, и общение с ним были необыкновенно интересны, потому что и в работе, и в общении он был всегда неожидан.

Вот уж кто играл-то всю свою жизнь!.. Как большой ребенок – будто играл в разные игрушки, то увлекаясь ими, то забрасывая и забывая их навсегда. Первую книжку для детей он назвал по рассказу про египетскую кошку Мау-Ми. Потом насочинял для своих подрастающих близнецов поэтическую фантазмагорию про хавров и жавров, которую тут же, недоискавшись в ней смысла, обругал журнал «Крокодил»...

Александр Моисеевич Граевский, главный редактор Пермского книжного издательства, патриот Перми и Урала, придумал «Библиотеку путешествий и приключений»: в ней вышло больше сорока книг о природе и истории края. Увлекал, уговаривал, заставлял друзей-журналистов и совсем зеленых литераторов поработать для серии, щедро подбрасывал темы, и книга в БПП для многих становилась первой на их писательском пути. Так вот, именно в «Библиотеке путешествий и приключений» вышли первые книги Алексея Домнина о глубокой уральской старине.

Интерес к истории у него был «семейным», воспринятым по наследству: в его книжном собрании было множество замечательных изданий, доставшихся ему от отца, который болел историей «Слова о полку Игореве» и на генетическом уровне передал эту высокую болезнью Алексею Михайловичу.

Повесть «Матушка Русь» стала подступом к работе над текстом «Слова о полку Игореве»: он попробовал высказать отцовскую версию об авторе великого памятника русской культуры. Другим отдаленным подступом к «Слову» были стихи, которые он начал писать как-то вдруг, и поначалу, по-моему, никто не принимал всерьез его поэтические опыты.

Вышел первый сборник «Руки». Там было немало удач. Среди них – ироническое самовыражение и точный автопортрет:

*Эх, куплю я себе тельняшку,
Трубку шкиперскую куплю,
А из этой цветной бумажки
Я корабль себе слеблю.*

*Волны вздыбятся бычьим стадом,
Лбами галечник вороша.
За морями страна Эльдорадо,
И мой парус – моя душа.
Вот ветрами она наполнилась!
Вот о доме зачем-то вспомнилось...
По нечесаным мокрым гривам
Мой кораблик смешной трусит.
Мне вдогонку кричат: «Счастливо!
А зарплату домой неси!
А еще не забудь сынишке
В Эльдорадо купить штанишки!..»
Дорогие мои тюремичики,
Человечики вы мои,
Отчего возникают трещинки
На остывшей коре земли?
Песни взаперти плачут, как дети.
Есть зачем-то любовь на свете...
Эх, куплю я себе тельняшку,
Трубку шкиперскую куплю,
А из этой цветной бумажки
Я гармошку себе слеплю.*

Это всё – абсолютно про него. Про постоянную заботу о пропитании трех ребятишек и спокойствии удивительно надежной и скромной жены Тамары. И – про увлечение «корешками», немислимыми какими-то героями, которых он вынимал-вырезывал из бросовых, на чей-то скучный взгляд, сучков. Про желание малевать маслом абстрактные миниатюры на картонках. Про страсть срываться на охоту...

А рядом с первыми стихами шли переводы, и зрел глубокий интерес к коми-пермяцкому фольклору, и вот уже Домнин с головой ушел в сочинения по мотивам коми-пермяцких преданий.

Тут придется вспомнить, как изобретателен он был на автографы. Я их приведу немножко – не для саморекламы, а чтобы было понятно кое-что про него. На каждом присутствовал изощарж – длинненькое лицо, лысенький кумпол в обрамлении остатков прически, усы, характерная борода.

Так вот, на книге поэтических сказаний о Кудым-Оше и Перехотнике он написал:

*Воздымая нас увтыра,
В переплет стучу, как в бубен:
Будь хорошей, о Альмира,
Среди праздников и буден.*

Сделал сноску: «пас увтыра» – посох рода. И подписался: «ВРИО пермских шаманов и заместитель Вайнемуйнена по Пермской области А.Домнин-муйнен» И, как всегда, лысенкий свой кумпол пририсовал.

С его милым, скромным, насмешливым обликом совершенно не вязалась изыскательская, литературоведческая работа. Когда появился авторский перевод «Слова о полку Игореве», тоже не верилось, что это всерьез. А перевод получился очень крепкий. Мы привыкли: Заболоцкий, Заболоцкий... А Домнина не желаете? А Домнин так завяз в древнерусском, что уже «писал» на нем. Вот очередной автограф на книге сказаний и легенд «Белый олень»:

*Се аз писаше скудно и убого,
И нагрешихом вскую и зело.
И напущаше думу на чело
Для новых странствий вознесяхом ногу.
Сей грешный труд Зебзеевой даряше,
Се молвлю аз: «Не лепо ли ны бяшет...»
Прочти сии немудрые страницы,
На забороле аркучи зегзицей.*

Поэтическое переложение Алексея Домнина вошло в редчайшее подарочное издание (Свердловск, 1985), включающее первое печатное издание 1800 года, ритмическое переложение древнерусского текста, гениальные иллюстрации Виталия Воловича на темы «Слова» и очень ценные приложения. Внутренним рецензентом издания был Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Мы с Надеждой Гашевой были у Домнина совсем незадолго до его кончины. Изболевшийся, почти прозрачный, шутил...

В.Гладышев

Самоубийца из поколения победителей: (судьба поэта Евгения Можаева)

«Я терплю – но есть конец терпенью...»

Пермский поэт Евгений Архипович Можаев прожил на белом свете всего 35 лет. Он покончил с собой в мае 1958 года, по причине, которая так и осталась невыясненной. При жизни у него не вышло ни одной книги с его стихами¹. Незадолго до гибели Евгений сделал

¹ Стихотворения Е.А.Можаева были опубликованы только после

страшное признание – в стихах:

*Я мерил жизнь неверной мерою
и в поэтическом бреду
в далекой юности уверовал
в свою счастливую звезду.*

Если смотреть со стороны, все у этого человека было «в норме». Фронтовик, представитель поколения победителей, а затем советского студенчества и славной нашей интеллигенции. Но это если со стороны. Из рассказов родственников, других людей, знавших и любивших его, вырисовывается судьба неординарного человека, короткая, трагическая, яркая, как удар молнии, зигзагом ушедшая в пермскую землю.

Причины добровольного ухода Евгения из жизни люди, хорошо знавшие его, объясняют по-разному, но каждый до сих пор воспринимает случившееся как страшную трагедию и потрясение.

Одна романтическая натура, женщина, обожавшая его и сама писавшая стихи, уверена, что всему причиной – неразделенное чувство: «Евгений был очень красивый человек, очень талантливый, я его никогда не забуду. У него была тонкая, нежная и потому очень ранимая душа. И он не выдержал в горькую минуту своей жизни, очень надеюсь, что Бог простит его за это. А ведь погиб он вы знаете из-за чего? Из-за несчастной любви...»

Вспоминает сестра поэта, Елена Архиповна, медик санпоезда в войну, затем много лет работала в пермском госпитале: «Женя ушел на фронт добровольцем, когда он учился в университете. Но про войну он не любил вспоминать. Что-то у него случилось на фронте, какая-то неудачная операция, наложившая отпечаток на всю его жизнь. Он не рассказывал ничего, избегал этой темы. И стихов о войне у него нет, я, во всяком случае, никогда не читала. Он о любви хорошо писал...»

Совсем по-иному объяснила бы случившееся педагог, одна из однокурсниц Можаяева. В письме Евгению, отправленном этой женщиной из Свердловска незадолго до трагедии, есть неожиданные признания и прозрения: «...Может быть, примириться со всем и “не рыпаться”? Ответь мне. В чем “великая сермяжная правда”? Помнишь термин “потерянное поколение”, применялся он к героям Хемингуэя и Олдингтона. Мне кажется, мы и есть “потерянное поколение”, искалеченное войной и жизнью. Жаль, что тебя нет рядом. Мы могли бы потолковать о некоторых вопросах, писать о которых я не

его смерти в сборнике «Пульс-89» (сост. Р.Белов. Пермь, 1989) и в книге В.Гладышева «Беседы в родительский день» (Пермь, 2006).

решаюсь...»

Многие из тех «проклятых русских вопросов», на которые намекает подруга студенческих лет, решается поднимать сам Евгений Можаяев. В своих стихах. Поднимать – но не отвечать на них.

И все-таки читая его творения, конечно, не равнозначные по уровню, не всегда отделанные и доведенные до совершенства формы, – мы находим в них некоторые ответы на вопросы, поставленные самой жизнью. Это мысли и чувства человека, живущего в середине XX века, находящегося в предчувствии первой оттепели в существе. Человека искреннего, совестливого и ищущего счастья.

Да, кто осмелится быть судьей поэту – тому посоветуем сначала почитать стихи Евгения. Прекрасный лирический дневник, возвышенный, чистый голос любви в драматичных обстоятельствах

*Ни в вине, ни в книгах нет забвения,
не придет, хоть вовсе не зови.
Я терплю, но есть конец терпенью,
я люблю, и нет конца любви.*

Беречь искру божью! (истоки таланта)

Родом будущий поэт из с. Мелехи Нытвенского района, что в полутора километрах от ст. Чайковской. Учился в школах станционных поселений Григорьевской и Чайковской.

Двоюродная сестра Можаяева Аделаида Александровна Леонова убеждена, что творчество Евгения близко и созвучно поэзии Сергея Есенина, которого он очень любил. Сближает их прежде всего восприятие природы. В стихотворении «Снова осень» создана проникновенная картина родимой северной сторонки (см. Приложение). Образ природы одухотворен для лирического героя незримым присутствием любимой женщины, той, единственной, которую забыть невозможно. И тогда при чем тут теплые края, Кавказ или Украина?

*...Мне туда дороги не заказаны,
но Урал всегда в моей судьбе,
потому что с ним навеки связаны
память о любви и о тебе.*

Говоря о раннем формировании личности поэта, нельзя не упомянуть деда, Даниила Родионовича Васюкова. Он был образованным человеком, работал в конторе магната-пароходчика Николая Мешкова. Замечательные письма писал. Судя по ним, деда

очень расстраивало то обстоятельство, что молодые сами растут при новом строе без веры в бога и детей своих также воспитывают. Разговоры ничем не кончались, цели не достигали, но Даниил Родионович не смирялся. Однажды, через два года после окончания войны, он сделал выписку из книги Святого Иоанна Лествичника, прислал детям с такими словами: «Посвящается в назидание и на пожизненную память родной и милой дочери Александре Даниловне Щекиной». В поучении том были мудрые советы: «не злословьте, не крадите, ни на кого не лгите» и другие вечные библейские истины. Писал он и от себя: «Мне как твоему родителю тяжело смотреть и переживать за твое полное религиозное охлаждение, об этом говорит и то обстоятельство, что ты до сих пор и дочь свою окрестить не сумела. Подумай, что ты за это получила и чего достигла! Допускаю, что ты теперь в другую сторону увлечена потоком современной жизни и твоим служебным положением, но когда ты сойдешь с арены общественной деятельности и когда достигнешь преклонных лет и возьмешь посох в руки, тогда скоро и невольно вспомнишь это нравственное наставление для мирян св. отца Иоанна Лествичника. И будешь с удовольствием читать и стремиться по силе возможности выполнить хотя бы часть его. Особенно надо приобретать побольше добрых дел. Прости, что, может быть, теперь и не понравится, но после на старости будет душе и сердцу утешением и успокоением».

С помощью дедовского примера, несмотря на безбожные времена, родители Евгения сумели воспитать детей нравственными людьми. И отец, и мать работали учителями. Квартира Можаяевых располагалась прямо в здании школы, так что дети сызмальства приучены были к школьной атмосфере, к усидчивости, и любовь к книге, к музыке, тяга к знаниям у них в крови. Бережно хранится в семье реликвия – большая групповая фотография, на которой запечатлены участники народного хора, а среди них и старший Можаяев, вместе со своим руководителем седобородым А.Д.Городцовым, знаменитым дирижером и режиссером в одном лице. Отец, в прошлом семинарист, ушел из жизни молодым. Случилось это так. Сельские учителя, как обычно, вели свое хозяйство, держали скот. В 1932 году Архип Матвеевич поехал по хозяйственным делам на лошади, простудился и вскоре умер, сгорел от болезни легких.

Тяжко пришлось матери с тремя малыми детьми, но Александра Даниловна не только всех выходила-вырастила, но и дала приличное образование. И все это при напряженной работе в школе, нагрузки свои не уменьшала. Одна из немногих педагогов она была удостоена ордена Ленина, высшей награды при советском строе.

Потомки Можаяевых вспоминают, что в те годы в Чайковской часто случались перебои с электричеством. И тогда начинали петь, всей семьей. И Женя вместе со всеми. Дед Даниил брал в руки мандолину и лилась чудесная музыка. Особенно полюбились младшим «солистам» «Вечерний звон».

Думается, дед рано углядел во внуке искру Божию таланта. И внук многое взял, воспринял от своего деда. В том числе и нелюбовь к тем, кто увлекается спиртным. Однажды, уже после окончания университета, Евгений написал шуточную автоэпитафию, смешной комментарий к фотоснимку, на которой он изображен лежащим возле бутылки-злодейки.

*Этот тип без печали и горя
Прожил век свой, с судьбою не споря,
Умерщвляя вином свою плоть.
Был он тощий, унылый и длинный,
Умер рядом с подругой старинной.
Упокой его душу, Господь!*

Можаяев чувствовал ответственность за свою мать, которая была в последние годы на его иждивении. Когда скончалась Александра Даниловна, случилось это в начале 1958 года, сын ее пришел на следующий день на работу, как обычно. Но коллеги заметили, что глаза у него красные. «Что, Архипыч, тетради проверял всю ночь?», – спросил приятель. «Нет, с мамой разговаривал», – ответил Евгений Архипович.

Они были очень близки, мать и сын. На обороте одной из фотографий Жени, сделанной в 1944 году, на фронте, сохранилась его надпись: «Дорогой мамаше от блудного сына». На снимке он в шапке и шинели – худенький и большеглазый, как желторотый птенчик, выпавший из гнезда.

Пройдет всего три месяца после смерти Александры Даниловны, и возле могилки матери появится еще один холмик – ее любимого и невзвучего сына...

Сравнивший себя с репеем

По окончании университета Евгения Можаяева направили по распределению на работу школьным учителем. Ученики любили его, хотя для кого-то он казался недоступным и странным. Потому что был не похож на других преподавателей, позволял нестандартные поступки, давал сложные задания, например, рекомендовал книги, которые были «не положены» по программе. Зачем, мол, забивать

детские головы ненужным материалом! А он «забивал». И в каждом детском коллективе, какой ни был район, хоть самый отдаленный, молодой учитель встречал отзывчивые души.

В семейном архиве сохранилось на удивление много фотографий ребят, учеников Можаяева, с теплыми дарственными надписями своему учителю-литератору. И из Свердловской области, где он работал некоторое время в селе Дружинино, и из 120-й школы, что находилась возле железнодорожной станции Пролетарка, на правом берегу Камы (ныне этой школы не существует). В школьном коллективе Можаяев нагрузил себя работой выше всякой меры. Брался буквально за все. Ощущение такое, что хотел забыться в работе. Дело дошло до смешного. Его, новичка-педагога, коллеги попросили возглавить жилищно-бытовую комиссию – и Евгений Архипович согласился. Он старательно занимался вопросами обеспечения дровами, земельными участками, ездил на семинары, писал ходатайства и т.п.

Вспоминает А.А.Леонова: «Женя был художественно одаренным человеком, он ставил спектакли в школе, был их режиссером, и декоратором, и костюмером».

Но всего этого, нескончаемой школьной суеты ему, поэту, было мало. По стихам той поры видно, что автор не находит себе места, мятущаяся душа...

Евгений ставит перед собой новую цель, он подает заявление в аспирантуру. 16 августа 1955 года из Ленинграда приходит извещение, что Е.А.Можаяев допущен к конкурсу в Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Реферат, представленный им, был написан на тему «Путь Григория Мелехова», по роману М.Шолохова «Тихий Дон». Выбор темы явно не случаен, чувствуется, что образ Григория близок и симпатичен автору реферата; возможно, изучая психологию своего героя, Можаяев ощущал даже определенное сходство с собственной ситуацией.

Неизвестно, как бы повернулась жизнь Можаяева, если бы он стал учиться в Ленинграде. Но, увы, с аспирантурой ничего не получилось.

Неудачно складывалась и личная жизнь. По этому длинному, обаятельному парню вздыхали многие, а он как будто дал обет верности одной своей даме сердца и оказался ей не нужен.

В одном из стихотворений лирического цикла той поры Можаяев пытается расстаться с прошлым смеясь, он иронизирует над собой, сравнивая себя с репеем. Не помогает.

*...Но ты, улыбнувшись вскользь,
спокойно к другому ушла.
И сам я смеюсь – ну и что ж,*

что сделаешь, если я на этот репей похож.

Ирония, как крыса, бежала с корабля (тревожный симптом)

Стихи Е.А.Можаева многим нравились. Однокурсники по филфаку прочили ему большое будущее. А кто был однокурсниками-то! Лев Давыдычев, Алексей Домнин, Григорий Сулейманов, ставшие позднее известными литераторами. Сохранились письма, в которых однокурсники спорят, кто талантливее, Женька или Левка. Еще во время учебы стихи Можаева расходились в списках. Подтверждением этого стало стихотворение «Случалось ли видеть вам», которое ходило по рукам пермских (молотовских) студентов 1950-х. Его передала нам соученица Евгения, Ирина Анатольевна Сергеева.

Была у тогдашних ровесников-однокашников и своя любимая песня, без которой, не обходилось ни одно кухонное или банкетное застолье. Об этом, в частности, вспоминает Роберт Белов, который в своем очерке о писателе Льве Давыдычеве называет подлинного автора слов песни: это Можаев. «Женя Можаев... Левин сокурсник, неудачливый его соперник в любви, соперник Радкевича на студенческом Парнасе, не помышлявший, правда, тогда о каких бы то ни было публикациях, кроме стенгазеты; бывший фронтовик-разведчик, покончивший с собой» (Р.Белов. «Львиная доля»).

В той песне (см. ниже «День гаснет тихо и заснеженно») есть печальное признание, которое на многое способно пролить свет:

*Но оказалось все изменчиво,
мечты развеялись как дым,
и слава, – ветреная женщина –
давным-давно живет с другим.*

Не все, как видим, было мирно и гладко в теплой студенческой компании. Соня, одна из однокурсниц Жени, спустя несколько лет, когда им всем было «уже за тридцать», написала ему из Свердловска, где работала, как и Можаев, школьным преподавателем. Она пропесочивает Женю за «пессимизм, холод и тоску», которые почувствовала в полученном от него письме.

Чуткая душа, Соня уловила в весточке от человека, в котором с первых курсов привыкла видеть друга (по ее признанию), тревожный симптом. Подобные нотки были заметны у него и раньше, звучали они и в поэтических твореньях. «...Но раньше все это прикрывалось иронией, которая была неотделима от тебя – и вдруг исчезла. Теперь твоё настроение мне представляется, примерно, так: жизнь не удалась,

холодно, грустно и одиноко... не вышло великого преподавателя (воспитателя), великого поэта и даже обыкновенного счастливого человека. А на что ты, собственно, рассчитывал в жизни? Что тебе все это принесут на тарелочке с голубой каемочкой? При твоих данных даже у нас ты мог бы большего добиться, не улыбаясь Леше Домнину (однокурсник, будущий писатель – В.Г.)».

Заочно, на расстоянии, подруга студенческих лет пытается разными способами (это не Соня Мармеладова!), нажимая на разные регистры души, привести в чувство упавшего духом товарища. Она рассказывает, что читала стихи Можая своим ребятам, и пишет, что их реакция обрадовала бы автора. В другой раз она пробует разбудить честолюбие Жени, вспоминая однокурсника: «Говорят, твой прежний друг Л. усиленно идет в гору. Но у него ведь нет и крупинки таланта! Надеюсь, ты согласен со мной. Исключительная бездарность. Наверное, у него много упорства и пробойной силы. Того, чего нет у тебя, хотя взамен этого у тебя есть талант».

Поэтический талант Можая признавали многие, как университетские преподаватели, так и студенты-ровесники (хотя понятие «ровесник» было довольно растяжимым, ведь в послевоенное время в одной группе учились и бывалые фронтовики, и безусые юнцы). Поначалу Женя относился к своему дарованию как будто играючи, не очень серьезно. Как вспоминают, он и свое первое стихотворение написал на спор с Давыдычевым, сказав, что его «запросто» опубликуют в газете. Судя по всему, спор он выиграл, во всяком случае, для Левки Евгений всегда оставался авторитетом в данной сфере. Племянница Евгения Можая, Татьяна Михайловна, вспоминает, что у них в домашней библиотеке была ранняя книжка Л.Давыдычева с его автографом: «Женьке – льщу надеждой, что буду писать хорошо». Книжку Льва Давыдычева с автографом племянница отнесла в университет, по просьбе сотрудниц кафедры языкознания, где работала доцент Франциска Леонтьевна Скитова, послужившая писателю, своему бывшему ученику, одним из прообразов. Так это издание и затерялось.

И это значит - выйти в тираж

*...И ты поймешь, что есть черед всем срокам,
что вот и твой пришел черед и срок,
и надо возвращаться к старым тропам,
а не искать нехоженных дорог.*

«Откуда же берется недовольство собой и бесцельностью и

бессмысленностью собственной жизни, которое приводит к решению выйти в тираж?» – задавалась проклятым русским вопросом интеллигенция в XIX веке (Н.В.Шелгунов, «Очерки русской жизни»). В словарях этому фразеологизму – «выйти в тираж» дается толкование: «умирать, кончать самоубийством». Но с пометой: «устар.», то есть устаревшее.

Если бы устаревшее... В стихах Евгения попадаете неожиданное признание: «Все же я был счастливым, счастье ж дается недаром. Срок подошел платить». Признание фаталиста. Автор, в сущности, еще так молод, но слишком многое пережито, и он уже приблизился к черте, за которой – переход в иное измеренье. Случилось то, что подруга Жени назвала зловещим симптомом: поэт подпустил к себе на очень близкое расстояние мысль о возможности есенинского финала. «Изведав радость встреч и ожиданий и горечь незаслуженных утрат».

Однажды для Евгения все сошло, схлестнулось в одной мертвой точке, и житейские неурядицы, и воспоминания о своем участии в провальном десанте (после которого он даже оказался за «колючкой»)... И – разбитая любовная лодка. Для поэта хватило бы и одной из этих передрыг, а тут все вместе. Непосильно! Он писал стихи. Он не пил запоем, как многие его сотоварищи, не глушил в вине свою неизбывную тоску по идеалу, по Прекрасной даме или, как он сам написал, по Роксане – он, сравнивший себя с Сирано (де Бержераком). А тут он взял и выпил смертельную дозу уксуса, чтобы покончить разом со всем. Придя в себя в больнице, Евгений жалел о своем шаге, но было поздно. Он только сказал: «Распорядился я своей жизнью глупо...».

В одном из последних его стихотворений, неоконченных, появляется упоминание о сборнике эпиграмм, в голове поэта мелькают странные для молодого советского педагога, совсем ненужные мысли. набросок из коричневой записной книжечки (заточками в которой служили счастливые трамвайные билеты, их собирал поэт-мистик) написан обычной для него мелкой скорописью, с той лишь разницей, что последние строчки можаевского бисера совсем нечитаемы, они истаявают, как линия осциллографа, показывающая затухание сердцебиения.

На соседней страничке Можаев выписывает чьи-то мудрые мысли о том, что «учитель только ради своих учеников живет на свете», что «учитель должен быть веселым человеком». Он словно убеждает себя в чем-то, но далеко не со всеми советами профессионалов, старших коллег, соглашается. Хотя веселым человеком, по воспоминаниям соучеников, он действительно был.

Не случайно проводить любимого учителя в последний путь пришло много детей, хотя и «не полагалось». Людям, участвовавшим в похоронах, запомнилось также, как билась в рыданиях какая-то молодая красивая женщина, упавшая прямо на гроб.

* * *

Самая сильная сторона поэтического дарования Евгения Можая – лирическая глубина и неповторимость.

Вечная тема, все, кажется, старо, давно писано и переписано, ничего нового в подлунном мире – речь о взаимоотношениях двух существ, о счастье и размоловках.

*Я не смогу понять и объяснить,
Зачем судьба над нами пощупила.
Связала нас невидимая нить,
И разорвать ее не в наших силах.
Ты далеко, но помню, как сейчас,
Все то, что в сердце бережно хранимо.
Печальный взгляд твоих усталых глаз,
Прощальную улыбку губ любимых.*

Строки любви по-прежнему волнуют читателя, они востребованы. Не все стихи, не все рукописи Е.Можая еще расшифрованы. Наследие поэта ждет своего исследователя. А на родине поэта, в Нытвенском районе, создается музейная экспозиция, посвященная его жизни и творчеству.

От составителей

Поскольку творчество Е.Можая мало известно пермским читателям, мы решили опубликовать несколько стихотворений поэта в нашем сборнике.

*В весеннем ветре травы клонятся,
Шумит за окнами листва,
Ненова шепчет мне бессонница
Давно забытые слова.
Слова любви звучат, как музыка,
В моей беспутной голове,
И сердце жаворонком кружится
В небес далекой синеве.
Мечтой несбыточной, но сладостной
Я сердце тайно веселю:*

*Чем меньше мне от жизни радости,
Тем больше я ее люблю.*

*О юности ушедшей не жалею,
Но если станет жизнь еще бездомней,
Тогда весну далекую припомни
И шелест придорожных тополей.
Пусть тебе, как сердца тайный зов,
Припомнится отчетливо и живо
Голубизна весеннего разлива
И кружевная пена облаков.
Припомни ветер, веющий с полей,
И птичье непонятное веселье,
И если это было в самом деле,*

*Мы часто тратим груды слов,
Тоскуем в поисках любимой,
А настоящая любовь,
Неслышная, проходит мимо.
Минута горькая, как дым,
Придет. И ты узнаешь сразу,
Что был ты кем-то так любим,
Как сам любить не смог ни разу.
Тут ни к чему тоска и злость -
И перепев напрасных жалоб,
Что испытать не довелось
Любви нетрепетное жало,
Жалеть не стоит, что навек
Ты не надел такие пути.
Ведь отлетят, как первый снег,
Любви недолгие минуты.
Исчезнет скоро без следа
Пыл первых встреч и ожиданий,
Оставив в сердце навсегда
Печаль и горечь расставаний.*

*Я всё никак не перестану
Мечту лелеять и беречь,*

*Ходить на ближний полустанок,
Напрасно ждать случайных встреч,
Одно мгновенье, только миг.
Свисток. Огни. И клубы дыма –
Наш полустанок невелик,
Все поезда проходят мимо.
Гудок далекий унесется,
Растает в небе дым густой,
А наша встреча остается
Почти несбыточной мечтой.*

*На станции, составами забитой,
Где целый день лишь копать да свистки,
_ О юности ушедшей не жалеи.*

*Случалось ли видеть вам,
Как осенью поутру
Степной придорожный репей
Качается на ветру,
Как он, совсем ошалев
От сырости и тоски,
Цепляется вдруг за всех,
Роняя росу в пески.
И снова потом глядит
В туманную синь степей,
Кому он нужен такой
Сухой и колючий репей?
Я осени тоже не рад.
Уж слишком уныл ее вид.
От сырости и тоски
Немного меня знобит.
Цеплялся я за тебя
И ждал хоть немного тепла.
Но ты, улыбнувшись вскользь,
Спокойно к другому ушла.
И сам я смеюсь – ну и что ж,
Что сделаешь, если я
На этот репей похож.*

Снова осень. Снова бездорожица.
Морось и туманы поутру.
За окном сутулятся и ежятся
Тонкие березы на ветру...
На дорогах грязь непроходимая,
Днем – дождей седая пелена.
Вот она, уральская, родимая,
Северная наша сторона.
Пусть она суровая, былинная,
И садов ты мало встретишь в ней,
Все-таки Кавказа с Украиной
Мне она дороже и родней.
Мне туда дороги не заказаны,
Но Урал всегда в моей судьбе,
Потому что с ним навеки связаны
Память о любви и о тебе.

День гаснет, тихий и заснеженный,
Исчез туман, подмерзла грязь,
И в небе чистая и нежная
Звезда вечерняя зажглась.
Я мерил жизнь неверной мерою
И в поэтическом бреду
В далёкой юности уверовал
В свою счастливую звезду.
Казалось мне, что нечто умное
Свершить мне в жизни суждено.
И слава, дерзкая и шумная,
Уже стучит ко мне в окно.
Но оказалось все изменчиво,
Мечты развеялись как дым,
И слава, – ветреная женищина
Давным-давно живет с другим.
И мне, хоть я того не требовал,
Опять напомнила звезда
О том, чего со мною не было
И не случится никогда.
Три года жил я, всеми позабытый,
И изнывал от скуки и тоски.

*И пережил, и видел я немало
За этот богом посланный мне срок:
Попойки, ссоры, дикие скандалы
И слез хмельных струящийся поток.
Но час пришел, и кончились все муки,
Перрон в огнях, сверкающих сквозь дождь.
В последний раз протянутые руки
И губ знакомых трепетная дрожь.
Когда огни исчезли за лесами
И встала ночь, глухая, как стена,
Я в первый раз неожиданными (?) слезами
Заплакал у вагонного окна.*

*День прошел, а мы опять не встретились,
Жизнь пройдет, а встрече — не бывать.
Одиноким сумеречным вечером
Падаю на смятую кровать.
Ни в вине, ни в книгах нет забвения,
Не придет, хоть вовсе не зови.
Я терплю, но есть конец терпению,
Я люблю, и нет конца любви.*

*Бывают в жизни радостные дни,
Когда не ищешь тихого покоя,
И кажется, что счастье под рукой,
Оно твое, лишь руку протяни.
Но как-то ночью, в предрассветный час,
Когда в мечтах бессонных сердце бьется,
Ты вдруг поймешь, что юность не вернется,
Она была с тобой в последний раз.
И все уже ушло, чего ты ждал,
И ни к чему надежды и сомненья,
И жизнь твоя, как план для сочиненья,
Которое никто не написал.
И ты поймешь, что есть черед всем срокам,
Что вот и твой пришел черед и срок,
И надо возвращаться к старым тропам,
А не искать нехоженных дорог.*

*Может, были мы просто упрямыми,
Несговорчивыми ребятами.
И считая мелочи драмами,
Мы обиду в душе запрятали.
А теперь по пути бесснежному
Не вернуться былому, нежному.
Не забудется и не сбудется!
Я бы сердце раскрыл по-прежнему,
Да боюсь, что оно простудится.*

*Осенний день туманит стекла,
На рамах тоненькие льдинки,
А в воздухе свинцово-блеклом.
Летят пушистые снежинки.
Но до земли не долетая,
Блестая свежестью кристаллов,
Они покорно и устало
В моей ладони тихо тают.
И в сердце бьется как спросонья
Уж надоевшая пружинка –
Любовь моя! Ты как снежинка
Растаяла в чужих ладонях.*

(Стихи 1950-х гг.)

Федор Востриков

«Вечность нас пригласила в гости...»

Под таким названием в 2007 году в издательстве «Маматов» вышла в свет юбилейная книга стихов Владимира Радкевича (1927 – 1987), которого при жизни называли певцом Урала, продолжателем поэтического творчества Н.Куштума, В.Каменского, Б.Ручьева. О нем вспоминают друзья, писатели-собратья по перу, читатели. Отрывки из их писем или статей помещены в книге, в которой есть и большие подборки эпиграмм, переводов, фотографий знаменитого поэта в разные годы жизни. Мне посчастливилось быть редактором-составителем этой уникальной книги. Несколько строк из биографии поэта. Родился Вла-

димир Ильич в городе Белом Смоленской области, в семье потомственных учителей. Родители поэта: Лидия Александровна и Илья Николаевич Радкевичи. В 1941 году с семьей эвакуирован в Башкирию. В 1949 году окончил историко-филологический факультет Пермского государственного университета. Работал инспектором областного отдела культуры, заведующим клубом, литсотрудником в газетах, корреспондентом областного Пермского радио. Печататься начал в 1947 году. Член Союза писателей СССР с 1957 года. За многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность В.И.Радкевич награжден орденом Дружбы народов (1987 г.), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. О творчестве поэта написано много рецензий, очерков, рефератов, воспоминаний и при жизни мастера и после его смерти. Конечно, у меня был огромный выбор публикаций о нем. И все-таки среди сотен корреспонденций я отдал предпочтенье статье Л.И.Давыдычева, опубликованной еще 20 и 30 лет назад. Читатель вправе спросить: «А почему?». Ответ прост и ясен. Лев Иванович, как никто другой, показал поэта таким, каким он был в жизни: добрым, сердечным, отзывчивым, бунтующим, не терпящим лжи и фальши, порою гневным, но не злобным. Неустроенный в быту, он не завидовал более благополучным и всегда спешил на помощь другу, попавшему в беду, высоко ценил правдивое поэтическое слово. У Радкевича и Давыдычева в избытке было общего: писатели от природы мудры и талантливы, свято любили отчий край, его народную и классическую музыку, былинную древность и клокочуще-рабочую жизнь современного Урала. Бывшие выпускники одного университета и факультета, они крепко дружили, слушали и понимали друг друга, были веселы, остроумны и лиричны в застолье. Жили на улице Большевицской в одном доме, в одном подъезде. Да и теперь лежат рядышком на Южном кладбище города Перми... Но их прекрасные творения и по сей день волнуют и радуют сердца читателей не только Урала, но и всей России. А дальше, дорогие друзья, любители Пермской литературы, читайте статью-предисловие о Владимире Радкевиче его душевно-друг друга писателя Л.И.Давыдычева.

Доброе сердце поэта

Как-то осенью я вернулся из деревни. Машина была забита скопившимися там за лето вещами. На скамейке у дома сидел недавно вышедший из больницы Владимир Радкевич, постаревший, за последнее время, непривычно притихший. Едва увидев меня и торопливо поздоровавшись, он сразу ухватился за чемодан и тяжелый рюкзак. Не слушая моих возражений, двинулся к двери в подъезд. Владимир не-

легко, с остановками поднялся на третий этаж, зашел в квартиру и тут же ушел. Когда я спускался обратно, он выглянул из своей квартиры на втором этаже и почти виноватым голосом сказал:

– Извини, больше не могу... нога вот болит...

Мелкий вроде бы случай, но именно с него мне захотелось начать предисловие к юбилейной книге поэта Владимира Радкевича (в апреле 1977 года ему исполнилось пятьдесят лет). Вот такой он всегда: сначала спешит помочь в любом деле, в любой ситуации, а лишь затем становится ясно, чего ему эта помощь стоила. Сначала – помочь!

Только услышит, что кто-то в чем-то нуждается, и сразу, без промедления, бросается предлагать услуги, иногда и не очень близкому человеку. В конечном итоге, неизменная доброта и помогла ему стать далеко не заурядным поэтом. Его творчество – от первых до недавно написанных стихов – это сотворение добра людям, отдавание самого себя на беспощадный суд совести. Он готов впустить в сердце неисчислимое количество чужого горя, а о собственных бедах рассказывает только затем, чтобы предостеречь и утешить других. Поэзия Радкевича светла и сурова, нежна и строга. И все-таки главное его достоинство – доброта, сердечность, отзывчивость. Он может быть гневен, но никогда не бывает злобен. А жестоким он бывает только к себе. Лирик самой чистой пробы, Радкевич, когда случается необходимость, становится откровенно публицистичен, тогда его сердечная взволнованность естественна, перерастает в гражданственность, а личные заботы возвышаются до уровня общественных. Меня всегда поражало природное умение Радкевича привносить сердечность даже в праздничные газетные стихи. Уж как только не потешались фельетонисты и пародисты по поводу так называемых дежурных произведений для газет! Но я со всей ответственностью утверждаю, что ни в одной строке Радкевича – от напечатанных на первой полосе, от реклам для «Союзпечати» до самых сокровенных стихов – не найти и запаха равнодушия, ремесленничества. Он просто не может себе позволить, да и не умеет писать для души. Скорее всего, и сам того не сознавая, практически он стремится, чтобы любая строка стала фактом настоящей поэзии. Об этом ведь мечтал и Маяковский, когда работал над плакатами и рекламой. Бывали у Радкевича случаи, когда написанный им для какого-нибудь юбилея адрес оказывался отличным стихотворением, которому находилось достойное место и в книге.

Поэзия – его работа, и в ней он признанный мастер. Трудящийся в литературе вот уже около тридцати лет, Радкевич не утратил юношески трепетного отношения к ней, способности удивляться его тайнам и возможностям. Свои новые стихи Радкевич может читать десять, а то и

больше раз подряд. И это не от самовлюбленности (ей он переболел своевременно и довольно быстро) – это от обыкновенной рабочей радости: получилось! Как человек пишущий, он отличается редкой скромностью. Я мало встречал, кроме него, профессиональных литераторов, которые были бы так неторопливы с опубликованием своих произведений. Мне известны случаи, когда редакции подолгу упрасивали Радкевича прислать новые стихи. А он до бесконечности читал их друзьям, на встречах с читателями, как бы проверяя каждое слово на прочность. Хриплым голосом отчеканивал поэт единственно точные и сильные строки, добытые в труде, за который расплачиваются только судьбой. Мне эта черта – бескорыстие творческого характера – необыкновенно симпатична: известно, что пробивная сила автора обратно пропорциональна талантливости. За неторопливостью Радкевича явственно видится наистрожайшее целомудренное отношение к поэзии, которое с годами у него не затухает, а обостряется. Вот и нет ничего удивительного в том, что творческая зрелость поэта согрета все той же юношеской трепетностью, какой отличались стихи его в молодости. Мудрость доброго сердца... Радкевич написал стихи о любви: «Зачем же так непоправимо сжигать себя в твоём огне? А ты опять проходишь мимо. Ты – вне меня. Но ты – во мне!». И заканчиваются: «И целый мир с собой уносишь, когда уходишь от меня». Я прочитал это в «Вечерней Перми», и так радостно стало за товарища. Все-таки пятьдесят лет скоро, и здоровье всюду лукавит, а ведь какие умные, грустные и добрые стихи! Даже не зная автора, можно понять, что написал их зрелый поэт, много переживший человек. Он верен слову и верит слову. Только потому оно и подвластно ему. Только потому рождаются стихи, легко западающие в любую отзывчивую душу. Именно поэтому Радкевич никогда и не нуждался ни в каких «поисках», все поэтические «моды» далеко обходили его. Если он и искал, то лишь самого себя, свой слог, свой образный мир. В трудной жизни своей (она только верхоглядям и недоброжелателям кажется приятненькой во всех отношениях) Радкевич знал и шумные успехи, и отнимающую силы, внушающую неуверенность хулу, и подчеркнутое безразличие, даже отрицание. Довелось слышать ему и самое подленькое: исписался, дескать. Всякое бывало. Поэзия требовала от него многого, и он отдавал ей все, на что был способен. Они, поэт и поэзия, не щадили друг друга и щадить не собираются. Читатели же часто забывают тот непреложный факт, что поэты – живые люди, со всеми человеческими слабостями, но забот у них несравненно больше, ибо они обладают обостренным до болезненности восприятием жизни. Иначе стихов не напишешь. Порой за самыми светлыми стихами стоят годы изнури-

тельной работы, еще более изнурительного безделья (не пишется!), полосы неудач. Если бы качество произведений зависело только от количества вложенного в них труда! Ах, сколько бы стало замечательных писателей! Но, увы, никто не гарантирован в литературе от неудач. Были они и у Радкевича. Иные он осознал быстро, об иных не хочет даже и подозревать до сих пор. Потому что он упрям и в своей правоте, и в своих заблуждениях. Уж если Радкевич упрется, переубедить его невозможно. И всегда ли – надо? Вот он любит наш уральский край, никогда не упустит случая подчеркнуть: «Я – с Урала». Много пишет об этом. Например, лучшие стихи о Каме принадлежат, по-моему, Радкевичу. И все же его «краеведческие» произведения (не считая отличных стихов на исторические и революционные темы) не самые сильные. Но сколько бы его ни упрекали в этой местной, что ли, ограниченности, поэт продолжал стоять на своем – воспевал уральский край. И лишь недавно я понял: пусть Радкевич не всегда прав, прав он будет потом, прав будет обязательно. Конечно же, напишет он замечательные стихи о любимом Урале. Ибо, чтобы выразить большую любовь и чтобы стихи долго жили, требуются большой труд и время. Время... До чего же быстро летит оно! Мог ли я тридцать лет назад, с удовольствием распевая любимую тогда в университете песню «Ива» (мелодия будущего геолога Володи Балалаева), предполагать, что когда-нибудь накануне своего пятидесятилетия буду писать предисловие к юбилейному сборнику известного уральского поэта?

Летит, летит время... Мысль банальная, но банальность не освобождает ее от жестокости. В суматохе дней, хотя два в неделю из них выходные, не всяк горазд ощущать, что из мелькающих суток складываются годы и, в конечном счете, жизнь. Может, поэтому она и проходит так быстро, что состоит из бесконечно малых величин – дней?

Но поэтическая жизнь длиннее и насыщеннее физического существования. Поэт живет как бы дважды. Один раз – обычно, как все, второй – в созданных им стихах. Причем эта, вторая, жизнь куда напряженнее и опаснее первой. Писание иных стихов чем-то схоже с операцией на собственном сердце, только без наркоза. Вчитайтесь у Радкевича в «Стихи о семейной жизни». В них за каждым словом – еще не зарубцевавшаяся рана. Есть строки, не перешедшие в крик лишь потому, что написаны словно сквозь стиснутые зубы. Боже упаси, как говорится, принять эти стихи за сугубо личные. Настоящий поэт никогда не напишет о том, что волнует его одного. Такого казуса с ним просто быть не может. И надо иметь большую силу духа, неисчерпаемый запас мужества, чтобы желать и уметь своей бедой предупредить других, многих. Здесь нет никаких полутонов, стихи не рассчитаны на

то, чтобы их произносили «на ушко», иначе бы их стали распевать на манер «жестоких» романсов. Но такие не запоешь, над ними надолго и горько задумаешься и узнаешь: если о подобном можно поведать откровенно и вслух, значит, поэт не жалуется, а утверждает, что если он вынес горе, то и все могут. От стремления понять и принять человеческие боли и помочь людям преодолеть их трудно живут хорошие поэты.

А сколько раз вздрогнет сердце, когда читаешь и перечитываешь «Студенты 41-го года», «Россию», «Исход», «Балладу о родном доме», «Для сына я – сильнее всех на свете» и многие другие!

Какие сложные драматические судьбы оживают в стихах «Трактористка», «В утренней электричке», «Орехи», «В клубе сегодня танцы».

Самые суровые стихи Радкевича не содержат ни грана безысходности или уныния: по природе своей он жизнелюб, как многие уральцы – от Василия Каменского до Бориса Ручьева (который очень любил стихи Радкевича и собирался об этом написать). Нет, нет, жизнелюбие не от убежденности, что бытие наше – приятная и легкая штука, а от счастья «быть живым, живым и только, живым и только, до конца» (Б.Пастернак).

Пятьдесят лет – возраст, когда с почти математической точностью можно определить, какие произведения выдержали испытание временем. У Радкевича их – много. Наверное, никому не объяснить, почему тот или иной человек становится писателем, художником, композитором. Иногда встречаются внешне правдоподобные ответы, но на поверку они оказываются лишь удачными совпадениями, которые легко укладываются в заранее придуманную схему. Даже когда утверждают, что этот стал композитором потому, что родился в музыкальной семье, то и сие – недостаточное объяснение. Не все композиторы родились в музыкальных семьях, и не все, в них родившиеся, стали композиторами. Недаром по отношению к таланту пользуются таким расплывчатым определением «искра божья».

Можно, правда, обнаружить, что же питает талант, помогает ему вызреть. Коротко говоря, сама жизнь, все ее обстоятельства. Они-то и способствуют формированию личности и основы ее – характера. Иногда несколько часов жизни влияют на этот процесс сильнее, чем целые годы. Посему внешние факты биографии мало что объясняют. Хотя Владимир Радкевич весь пермский, уральский, родился он на Смоленщине. Родители были учителями. Потом семья переехала в Ржев. Здесь Володя пошел в школу, а в начале войны оказался с матерью в Башкирии. После окончания средней школы он поступил на историко-филологический факультет Пермского университета. Учился он хоро-

шо, был именным стипендиатом, много занимался спортом (волейбол и шахматы), еще больше времени отдавал стихам. Они быстро разносились среди студентов и даже проникали в город. Нам, конечно, больше всего нравились эпиграммы на преподавателей.

Первая книга вышла в 1951 году в Перми. Стихи Радкевича нравились многим, но не на всех он производил впечатление серьезного человека, и, скорее всего, потому, что и не пытался им выглядеть. Однажды его житейские огрехи были даже суммированы в газетной статье, где высказывалась неуверенность в будущем молодого поэта. Не стоило бы об этом вспоминать, тем более в данном – юбилейном случае, но надо. Речь идет не о требовании всепрощения творческому человеку, а о поверхностном, искаженном взгляде на труд поэта. В самом деле, кто знает, какой ценой дается создание произведения?

Недаром как-то у Радкевича вырвалось: «В наш век чернить поэзию не смейте, она во всем пред будущим чиста, она с людьми в бесславье и в бессмертье, и в этом цель ее и правота».

Зная его много лет, я давно уразумел несоответствие между внешней стороной жизни поэта и внутренней. Внешне все просто, все понятно, он словно нарочно – гусей подразнить – дает поводы для толков и кривотолков, а внутри рождаются стихи, которые с каждым годом становятся все чеканнее, умнее, все больше волнуют. Вот почему – подойдешь к книжным полкам, подумаешь, подумаешь, и рука непроизвольно тянется к стихам Радкевича. Никто ведь не заставлял меня учить их наизусть, а – помнится, живут уже не только в поэте, но и во мне, читателе.

Выше я говорил, что не определить, почему человек становится поэтом. Но можно иногда проследить, откуда приходят те или иные стихи.

Году в 1964-м он писал: «И все-таки мы в смерть родных не верим...» (удивительные стихи!). Через два года рука его вывела стихи, уже тогда прозвучавшие как предчувствие: «Ты подожди меня, мама родная, ты не гаси своего огонька».

Отчетливо помню, как что-то изменилось в Радкевиче после января 1967 года, когда умерла его мама. Сердце сына отозвалось щемящим острой болью признанием «Без мамы я жить не умею...», кажущаяся простота и правда которого могут надолго лишить покоя. И сколько же надо пережить, чтобы написать: «Как страшно ветра голосили на про водах белого дня! Как будто частица России навеки ушла от меня».

Стихи естественны и как бы непроизвольны, словно дыхание. И это присутствует во всех лучших произведениях Радкевича. А ведь

сколь долго зрели в поэте тема матери и тема Родины, чтобы слиться воедино...

Я старался как можно меньше цитировать поэта. Стихи его перед вами. Читайте.

Л.И.Давыдычев, писатель

Праздник рождения книги «Вечность нас пригласила в гости» состоялся в одном из книжных магазинов Перми. Юные поэты из литературной студии «Тропа», которой я руковожу больше четверти века, взволнованно читали стихи Владимира Ильича, а также свои, посвященные маэстро. В тот юбилейный 2007 год мы с «Тропой» провели 111 литературных встреч в библиотеках, в клубах, в школах и дворцах города и области. Выступали по краевому радио и телевидению. Звенел и дышал Пермский край стихами незабвенного учителя и творителя поэтического слова Владимира Радкевича. В дар слушатели получали большой календарь, наполненный стихами и фотографиями юбиляра, высокопрофессионально оформленный и выпущенный все тем же издательством «Маматов». Дарили и диски с записью живого голоса поэта, и его друзей писателей. В 2011 – 2012 гг. уже к 85-летию поэта немало мы провели афишных литературных встреч в городском Дворце детского (юношеского) творчества и в Пермском Союзе писателей. Встречались с вдовой поэта Зоей Ивановной, с дочерьми Лидией и Людмилой, с внуком Владимиром, с журналистами Т.Черновой и Я.Камаловым, с художниками М.Тарасовой, В.Зыряновым и Е.Широковым – друзьями поэта. И все отмечали высокий лиризм, душевность, народность и напевность его стихов. Не зря же профессиональные композиторы Е.Радыгин и Н.Макаров, И.Шустов и Г.Пономаренко, а также наши пермские Г.Терпиловский и А.Трухин, М.Камский и Г.Нессен и многие другие писали оратории, кантаты, песни и романсы на стихи Радкевича. А исполняли их не только самодеятельные артисты, но и певцы оперного театра и государственные хоры России: Уральский, Волжский, Оренбургский, Северный, хор Всесоюзного радио. Выпускались пластинки, диски, альбомы. В студенческие годы он постоянно выезжал в командах волейболистов и шахматистов на универсиады и спартакиады. Отстаивал спортивную честь родного университета. А из факультетских аудиторий звучали его стихи под баянно-гитарные перезвоны на мелодии университетских друзей. Любила и гордилась своим поэтом студенческая братия. Став зрелым и признанным мастером, он искренно и бескорыстно словом и делом помогал молодым литераторам, если видел в них зернышко таланта. Брал под свою опеку А.Решетова и В.Болотова, Б.Бурылова и

Н.Чебыкину. Благодарен ему, что не забывал и меня. По-отечески, как старший товарищ, советовал быть требовательным к себе, а значит – много читать и учиться у поэтов-классиков и современников культуре слова, большой любви к природе и человеку, к Отечеству. Его самоотверженная неуспокоенность поражала всех. Если несправедливость перехлестывала границы, он бросал свои неотложные дела и грудью шел на защиту обиженных и оскорбленных. Он, например, буквально вытащил из тюрьмы Гену Краснослободцева, писавшего отличные стихи и осужденного «на отсидку» за тунеядство. Помню Генины слезы, когда мы с Радкевичем встречали его у ворот узилища – он уже успел отсидеть три месяца и вкусить тюремной «прелести». Или еще пример: прослышав о невинно посаженных за решетку молодых учителях, начинающих литераторах, берет меня с собой и – мы летим на «кукурузнике» в Чермоз. Авторитет Радкевича был так велик, что он добивается досрочного освобождения ребят. А потом способствует публикации их произведений в ежегодном сборнике «Молодой человек». Когда у меня умерла мама, я не успевал на похороны. На самолет невозможно было достать билет. Я никогда не донимал никакими просьбами Радкевича, но тут святая необходимость. Обратился к нему. Не говоря ни слова, он прилип к телефону. Через Дом Советов, через Николая Ивановича Корсакова у меня в кармане был билет. Я успел. На могиле мамы читал стихи В.Радкевича: «Без мамы я жить не умею, но черную яму насыть...».

Человеком великой доброты и порядочности был Владимир Ильич. Да, бывал и суров, и неуправляем, и жесток. Но это тогда, когда на жизненном пути встречались мерзавцы, пышущие ядом, завистники, бездарные и склочные, мешающие честным людям работать и жить. От них-то и защищал и спасал нас поэт. Но за это великодушные мелко-травчатые борзописцы в своих подленьких статейках пытались грызть даже самого Радкевича. А грызли за «датские» стихи, то есть стихи, написанные к праздничным датам. Неужели они не понимали, а может, не хотели понимать: чтобы написать стихи по заказу к праздничным датам, надо быть очень талантливым человеком, каким был Радкевич? Он и в заказные стихи вдыхал тепло, сердечность – очеловечивал их, и стихи звучали выразительно, ярко, цветасто!..

Думается, что мне, как редактору-составителю, удалось показать Радкевича и как публициста, как пронзительного лирика, как поэта-песенника, мастера эпиграммы, блистательного переводчика. А переводил он на русский язык с татарского, киргизского, башкирского, удмуртского, коми-пермяцкого, немецкого, латышского. Очарован был его переводом народный поэт Латвии Хари Хейслер. В знак благодар-

ности он приглашает Владимира Ильича в Ригу. Радкевич принимает приглашение. Очень плодотворной была поездка. Появляются у него цикл стихов о Латвии и, конечно, новые переводы на русский язык Хари Хейслера и многочисленных его друзей поэтов Зиедониса, Чаклайса, Стулпана и других. Погружаясь в составительство книги, я все больше восхищался глубинно-земным и романтично-космическим творчеством Радкевича и его высокой работоспособностью. Восхищался сам и восхищал своих юных пиитов «Тропы». На стихах Радкевича мы учились, и продолжает учиться молодое поколение талантливых девчонок и мальчишек Пермского края. Над книгой работалось легко и вдохновенно. Основные трудности были с финансированием. Власть упорно отказывала в помощи. По совету издателя Ильдара Маматова я обратился к ветеранам, помнящим и ценящим Радкевича. Особое рвение проявили Николай Иванович Корсаков – известный многим в советские годы заведующий отделом культуры обкома КПСС – и бывший первый секретарь обкома КПСС, человек-легенда Борис Всеволодович Коноплев, которые чтит и сердечно любили творчество Радкевича, а некоторые его стихи читали на память. Я утверждаю. Потому что сам слышал неоднократно. Они-то и сумели организовать помощь меценатов. Ах, как не хватает таких мудрых и прекрасных людей в администрации нашей губернии! Низкий им поклон от любителей поэзии.

Дочь поэта Лидия продолжает разговор об отце и его эпиграммах: «В 1987 году, во время известной россиянам перестройки, в модном тогда журнале “Крокодил” была объявлена рубрика “Трусой на Парнас”, куда можно было посылать эпиграммы на различные темы. Владимир Ильич очень любил шутку, и в 60 лет он сохранил ту же юношескую неуспокоенность, искрометность и юмор. Он решил второй раз попытаться “выбиться в люди” под моей фамилией (по мужу – Комарова). Я была студенткой второго курса экономического факультета ПГУ. За пятнадцать минут напечатав по памяти два листа эпиграмм, он отослал их в журнал. Но ответ был суров: “Как так, ты, студентка, можешь писать эпиграммы на именитых людей”. Что же, Владимир Ильич не растерялся. Он сказал: “Эти эпиграммы в Москве по рукам ходят. Я же знаю”. И снова подготовил тексты, но уже с экскурсом в историю эпиграммы, упомянув о “жестких эпиграммах Пушкина”. А далее, ничуть не смутясь, отправил еще и свои свежие, сочиненные при перепечатке. Через несколько дней Владимира Ильича не стало... Но жизнь продолжается. Из “Крокодила” приходит ответ: мол, мы не можем напечатать Ваша эпиграммы, так как люди, о которых идет в них речь, занимают высокие посты. И далее выражалась надежда на дальнейшее

сотрудничество. Через некоторое время вижу в том же журнале эпиграмму под своей фамилией. А в следующем номере – другую. А потом пришли гонорары, равные моей стипендии. Затем диплом “Крокодила” за лучшие эпиграммы. А в 1991 году прислали брошюру избранных эпиграмм, где в предисловии сказано, что еще в 1987 году студентка 2 курса университета из города Перми писала острейшие строки о “перестройке”:

*Один министр – поборник празднословия –
Был снят по состоянию здоровья.
Когда такой больной поста лишается,
Здоровье у народа улучшается.*

Вспоминалось о разном, в том числе и экспромт Владимира Ильича, сочиненный на моей свадьбе:

*В жизни есть прекрасные дары,
Она не будет для тебя сурова.
Тебя кусать не будут комары,
Поскольку и сама ты – Комарова.*

Эпиграммы Владимира Ильича – это легенда, это не просто молниеносная искрометная шутка, но и критика, и оружие поэта».

Лидия Радкевич, дочь

Из писем и воспоминаний о В.И. Радкевиче.

«...Это не витиеватая фраза, а заботливое пожелание твоего старого товарища, желающего чтобы ты и твои друзья заботливее относились к твоему незаурядному дарованию, принадлежащему не только тебе, но и всем читающим тебя и желающим читать как можно дольше. Как можно дольше и с нарастающим год от года интересом к твоему росту, к твоей творческой неуспокоенности совершенствования мастерства...»

Евгений Пермяк, писатель, Москва, 1977 год

«...Какое ни возьми стихотворение В.Радкевича, любое будто светится неизбывной любовью к родной земле, которая имеет “магнитное притяжение” для всех, кто на ней живет... И мы благодарны поэту, который будит в нас эти святыя чувства, без которых наша жизнь была бы беднее, а значит, менее нужной времени, Отчизне...»

В.Кирсанов, читатель, Днепрпетровск, 1977 год

«Прочел вашу книгу от корочки до корочки – с большим наслаждением. Замечательно “нашенская” поэзия, поэзия глубоких и тонких

чувств и переживаний, поэзия наичеловечнейшая, наирусская и впечатляющая! Спасибо!...»

*Михаил Чумаков, композитор, член Союза композиторов СССР,
Руководитель государственного Волжского народного хора, Самара,
1979 год*

«...Стихи В.Радкевича о преемственности поколений, о доброте и справедливости, которые впитаны с молоком наших матерей. Это – тот свет, на который мы идем в борьбе во имя счастья всех детей планеты. И здесь поэт вновь расширяет горизонты своего видения, нераздельно связывает свое творчество с заботами всего народа, всего человечества».

Николай Вагнер, писатель, Пермь, 1984 год

«...Действительно, только теперь мы начинаем понимать истинный масштаб этого замечательного уральского поэта, посвятившего столько прекрасных стихов Прикамью, Перми, их истории, лучшим людям. Увы, есенинские строки “Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии” долго будут звучать укором нам, живым, при воспоминании о Владимире Радкевиче».

Михаил Смородинов, писатель, Пермь, 1987 год

«Пермский поэт Владимир Радкевич, пожалуй, даже слишком подчеркнуто дает понять читателям, что он поэт сугубо уральский. Почти все, о чем он пишет, Радкевич как бы соотносит со своим Уралом. Важнейшие нравственные ценности у него имеют уральскую марку. Уральское мужество, уральское трудолюбие, уральское гостеприимство, уральская нежность – эти и подобные им определения во множестве рассыпаны по стихам Радкевича, своеобразным именно тем, что местный колорит не приземлил их, а дал им крылья для высокого полета, сделал их нужными и понятными далеко за пределами Урала».

Николай Старишинов, писатель, Москва, 1982 год

«... Как Камский мост, вобравший в себя пространство и время, так и Радкевич пролег мостом между поэтическими поколениями. Он встречался с В.Каменским и Б.Ручьевым, близко знал многих выдающихся поэтов нашего времени, учился у них. А молодые поэты-земляки окрепли, поднялись на крыло при его дружеском участии. Многому можно учиться у Радкевича. Его пристальному вниманию к истории России и Урала. Раскройте любую книгу поэта, и вы обязательно найдете там великолепные стихи о давних временах...»

Иван Ежиков, журналист, Пермь, 1987 год

«Дорогой Володя! Годы уходят, годы облетают, как листья с дерева, оставляя после себя почку нового листа и зародыша в корне... На дереве уральской поэзии столько много тобой возвращенных талантов, что голоса их заглушат горечь прожитых лет, и свет их глаз высветит всю прелесть осени, возбудит новые силы в душе для весны, цветения и стихов!...»

Виктор Астафьев, писатель, Вологда, 1977 год

«...Урал, его цветы, реки и горы, на которых теперь прибавилось седины, – нерукотворный памятник поэту. Бажов, Ручьев, Радкевич – вот незабвенные имена наших любимых писателей, учителей, наших друзей, непритворных и бесценных. И у многих писателей, знавших Радкевича, копятся и зреют в душе строки об этом удивительном человеке, истинная значимость которого становится для каждого из нас тем яснее, чем дальше уходят печаль и дата».

Алексей Решетов, писатель, Пермь, 1987 год

«...Владимир Ильич, на мой взгляд, первый настоящий лирический поэт по своей природной сущности на нашей Пермской земле. Поэты, бывшие до него, не менее профессиональны, но они не имели столь ярко выраженной особенности лириков: их стихи по направлению и по жанру были эпосом, были пейзажной, повествовательной, изобразительной, но отнюдь не медитативной лирикой, что так присуще В.Радкевичу. Медитативная лирика – это особый талант. Нет его – ничего не поделаешь...»

Герман Митягин, критик, г. Оса, 1997 год

«Газетную прозу Владимира Радкевича, как и стихи, узнаешь и без подписи. Его заметки, зарисовки отличаются от других легким слогом, поэтической образностью, отсутствием избитых фраз. (В.Радкевич в 1965 году вынужден был уехать на юг области в поселок Октябрьский. “Ссылка” длилась всего 49 дней)... Районная газета “Вперед” с появлением поэта стала намного острее, злободневней. 9 декабря В.Радкевич под своей фамилией публикует басню “Лесная быль”, в которой, следуя законам жанра, выводит под именем Волка, Лисы и других зверей начальника Ольховского лесопункта, председателя цехкома и секретаря парткома. Ниже басни редакция назвала истинные имена действующих лиц... Начальство взбеленилось. В лесопункте и в Щучье-Озерском лесспромхозе только и разговоров было о басне Радке-

вича. Еще долго его басню читали в клубах Октябрьского района во время концертов...»

Иван Гурин, писатель, писатель, Пермь, 2003 год

«...В 70-е и 80-е годы в жизни и творчестве Владимира Радкевича начался, на мой взгляд, наиболее плодотворный, успешный период. Это пришла пора зрелости, когда глаз поэта, много повидавший и плохого и хорошего, становится по-особенному зорким, проницательным. Стихи Радкевича стали печататься не только в Перми, но и в столичных изданиях...»

Николай Гашев, журналист, Пермь, 2006 год

«Он был всегда желанный гость в нашем доме. Приходил. Читал новые стихи. У нашего телевизора сгорел кинескоп. Телевизор был подарен Александру Николаевичу Спешилову, моему отцу, пермскому писателю, на 60-летие в 1959 году Союзом писателей СССР. А телевизоры в то время были редкостью. Все соседи ходили к нам смотреть кино. А тут – проблема! Куда только не обращался папа – все без толку. Говорят: “Ничем помочь не можем”. Но вот однажды к нам заглянул Радкевич: “Вы почему телевизор не смотрите? Там передача интересная начинается!” Услышав грустный ответ, он развернулся и ушел. Где уж он ходил. Кому что смог веское сказать. Но на другой день он внес к нам громадную коробку с кинескопом, к великому изумлению всего нашего семейства. И еще тридцать лет телевизор служил верой и правдой».

*Из воспоминаний Е.А.Спешиловой, краеведа и журналиста,
Пермь, 2006 год*

«Призываю читателей перелистать страницы книги и прочитать. Сколько найдете сокровенных строк, которыми, словно августовское небо звездами, усеяна книга. “Синим светом над озерами...”, “Метель”, “Букирев”, “Студенты 41 года” – не перечислить всех стихов, собранных в юбилейной книге, словно в драгоценной шкатулке, наполненной добротой, нежностью и тихим светом первозданной поэзии».

Н.Студиницын, учитель, Пермь, 2007 год

«Проезжаешь через Камский мост – сразу в голову приходят стихи В.Радкевича:

*Встаньте, люди! Прильните к окнам:
Начинается Камский мост!..*

Какие великолепные и чудные слова вложены в эти строки талантливим поэтом! Часто думаю, что про мост, наверное, это единственное такой силы стихотворение, вообще. Меня всегда поражала мощь природного таланта и простоты В.Радкевича!»

Я.Камалов, журналист, Пермь, 2013 год

Памяти Радкевича

Федор Востриков

I

*О, как он землю читил и воспевал!
Болел Землей, когда она болела.
В стихах и Кама яростно кипела,
И клокотал мартенами Урал.
С его людьми, заводами, тайгой
Дремучей, но возвышенной, как слово,
С легендами и сказами Бажова,
С ручьевской несгибаемой строкой.
За совесть, за добро негодовал,
Неистово грома приспособленцев.
Инфарктами израненное сердце
В пылу борьбы позабывал.
Забывать не мог на свете одного:
Когда в беде оказывались други.
Он поднимал в верхах такие выюги,
Что выручит и черта самого.
Он уверял – не верить не могли, –
Что в мире сложном от чужой отравы
Его спасут языческие травы,
Но травы, к сожаленью, не смогли...*

II

*Он умер. А снится живой.
Шагает ромашковым полем,
Точнее, парит над землей! –
В глазах ни грустинки, ни боли.
Такая в глазах глубина,
Такая раздольная удаль,
Что родина ясно видна
От Камы до камня Полюда!
Как в жизни, спросил он во сне,
А может, и чуточку строже:*

*«Ты что ж не приходишь ко мне?
Совсем на тебя непохоже!»
Но как в оправдание, скорбя,
Какими ответить словами?..
Поэт, мы зарыли тебя,
В жестокой оставили яме.
С июньских мучительных дней
Глаза виноватые прячем.
Приходим к могиле твоей –
Хмельные и трезвые плачем.*

«...Пожалуй, не рождала Пермская земля такой силы и пронзительности поэта, как Радкевич. Надо было видеть, как он радовался, когда произведения пермских писателей появлялись в столичных изданиях. Полдня он мог звонить в городские, областные газеты с восклицанием и восторгами: «Поздравьте Михаила Голубкова с прекрасными рассказами в журнале “Наш современник”, поздравьте Мишу Смородинова с проникновенной подборкой стихов в журнале “Смена”, в рубрике “Знай наших”, сделайте это, пожалуйста». Это мог только Радкевич искренне радоваться чужим успехам. Литературную Пермь узнали и признали в столичном граде через поэзию Радкевича. Не зря его пригласил в журнал «Новый мир» сам Александр Трифонович Твардовский! Потом будут публикации в журналах «Москва», «Огонек», «Наш современник», «Юность», в газетах «Правда» и «Литературная Россия». А в 1982 году тридцатитысячным тиражом выходит в Москве отдельная книга поэта «Уральская лирика» с предисловием Н.Старшинова. В 1983 году в издательстве «Детская литература» издается антология «Двенадцать дорог», где представлен большой подборкой стихов Радкевич. А в 1984 году в издательстве «Молодая гвардия» – альманах «Мы все за шар земной в ответе» из поэзии 80-х годов. В нем представлены поэты от К.Симонова, Р.Рождественского, А.Вознесенского до С.Куныева, В.Фирсова... А открывает этот альманах – наш В.Радкевич! Продолжать можно долго. Думаю, что А.Т.Твардовскому, Я.В.Смеякову, Е.А.Пермяку, Ю.В.Друниной, Н.К.Старшинову, С.Д.Давыдову полюбились стихи поэта-пермяка своей незаемной неуспокоенностью, необыкновенной тягой к свету, к торжеству жизни и, конечно, покорили добротой, взволнованностью, романтикой и молодостью. Уже тогда в молодом даровании просматривались черты характера поэта-борца, поэта-защитника и ратоборца за Урал, за святую Русь! Поэт стихи не придумывал, не изобретал, не высасывал из пальца. Он переживал стихи, переживал как радость и

горе, как любовь и ненависть, как смерть и жизнь. Этому нельзя научиться. Такой незаурядный талант – от Бога».

Пермь, 2002-2013 гг.

И в завершении – хрестоматийное стихотворение Владимира Ильича Радкевича.

*Вечность нас пригласила в гости,
Млечной пылью в глаза пыля...
Но надежды свои и горести
Возложила на нас Земля...
На поэзию опереться
Ей придется не раз в пути,
Чтобы выжить, в рассветах греться,
Чтобы нас же - от нас спасти.
И природы живые лики,
Человечности добрый свет
Всей душевною силой лирики
Ты не раз защищал, поэт!
Не уходит летучим дымом
Все, что в строчках заключено:
Ни друзьям твоим, ни любимым
В них состариться не дано.*

1985 год

Илья Рейдерман

Поэт, опоздавший на поезд...

Интервью с самим собой

– Помнится, едва ли не в самом начале своего пути ты написал и напечатал в своей первой поэтической книге «Миг»:

*Кто-то скачет на коне.
Кто-то за конем бежит.
Чаша выпита - на дне
Строчка грустная лежит.
По дороге молодцом
Кто-то скачет – пыль в глаза!
С запрокинутым лицом /
Кто-то смотрит в небеса.
Кто-то скачет – конь горяч!*

*...Не ловить бы мне удач.
Просто – жить под небесами:
Хочешь – смейся, хочешь – плачь...*

Скажи, ты заранее знал, что не тебе скакать молодцом – «вперед к победам»? А «с запрокинутым лицом» – ты что, упал с коня, который слишком норовистым оказался?

– Да нет, просто спешил, решив не участвовать в гонке. Вот гляжу в небеса – облака красивые, да и сама глубь небес затягивает, голубая глубь... Человек еще в юности совершает выбор – часто даже бессознательный. Ну а здесь он даже сформулирован: «не ловить бы мне удач».

– А почему бы и не ловить? Ты что, не любишь маленьких радостей и удовольствий жизни?

– В том то и дело, что очень даже люблю. Но скоро догадался, что путь к житейским удачам часто оплачен маленькими, почти незаметными подлостями. К тому же, будучи человеком очень активным, даже взрывным – по натуре, наверное, я созерцатель.

*Осторожнее дыши,
прогони заботу,
чтобы в глубине души
зазвучало что-то.
Пусть толкает под ребро
светлый сгусток боли.
Чистой ноты серебро
просится на волю.
Вспомнить что-то среди сна,
сбросить одеяло,
чтобы эта тишина
паузой стала.
Всю ее сказать до дна
музыкою одною –
чтобы эта тишина
стала вышиною...*

– Вдруг сообразил – да это же в день моего рождения написано. 75-летия! Причем, два заключительных четверостишия – из маленького цикла о Моцарте, написанного лет пятьдесят назад. И сошлось – без швов. Честно говоря – вот эта гармония (в том числе и в моих стихах) оказывалась **вне времени, да и не ко времени**. Она и в самом деле – «в вечности», – но... вечность – это не что-то за пределами нашего текущего существования. Я бы сейчас дерзнул предложить такую метафору: любая капелька воды или снежинка конденсируется на некоей

микроскопической пылинке. Вот и вечность есть ядро внутри капельки текущего времени. Иными словами – она всегда присутствует. По ней все настраивается – как по звуку камертона. Исчезни вечность (а именно это парадоксальным образом происходит сегодня в культуре) – и капелькам времени не на чем будет конденсироваться, они «растекутся». Погружение в безвремяе. И смысл не на чем будет держаться.

– Погружение в бессмыслицу. Как в болото. Но я обратил внимание, что ты на деле описываешь кризис современности, культуролог ты наш. А с какой это кстати ты еще и культуролог? И философ? Что, кстати, вызывает раздражение у дипломированных культурологов и философов.

– Ну, философствование для меня – пожизненное занятие. Древние философы все были поэтами, и даже во времена чуть более поздние они «философствовали», а не «занимались философией» (и, тем паче, не преподавали философию). Произведения Платона – великая литература. Философствование – это жизнь философской мысли, пока она не окаменела, не утратила диалогичность, не превратилась в кирпич в кладке, заняв свое место в системе. Всю жизнь веду философский дневник. Не знаю, кому это нужно, какое это имеет «объективное значение», но мне это нужно, это моя лаборатория, и оттуда иногда идет даже дым, а иногда – слышится музыка. Музыка мысли. Гармония, о которой я только что говорил, – это ведь «порядок вещей», а поиски некоего извечного (должного) порядка вещей в философии как раз и называются метафизикой (что объявлено ненаучным занятием и сокрушается молотом деконструкции). Поэт – Сын Гармонии (Блок). Но и философ, выходит, к гармонии стремится. К единству, к слиянию всех голосов в созвучии, в согласном хоре...

Моя душа – в блаженном хороводе.

Она, танцуя, слышит флейты звук.

Она одежду сбросила из плоти,

Она в своем кругу, среди подруг.

Это – из книги «Вечные сны». Вечные сны – образы культуры, и я в этой книге вспоминаю Платона, беседую с Гераклитом и присутствую на «пиру во время чумы» со всеми зачумленными моими великими предшественниками и современниками.

Борис и Анна, Осип и Марина

(как мне по именам окликнуть всех?)

Ввиду объявленного карантина

поговорить мы можем без помех.

– То есть ты создаешь некое сверхплотное культурное пространство, в котором все оказываются современниками? Все аukaются, пере-

кликаются, все согласны в чем-то самом главном. В эпоху всеобщего релятивизма ты твердишь вслед за Мандельштамом, что «есть ценностей незыблемая скала», что наследование этих ценностей и передача их дальше, в некоей самой лучшей из эстафет и есть задача поэта, философа, человека культуры. Но не кажется ли тебе, что столь часто звучащее у тебя слово «вечность» может быть воспринято как своего рода эскапизм, бегство от современности? Ты погружаешься в пространство культуры, но согласишься, там ведь можно долго жить, беседуя с избранными и отвернувшись от «не понявших тебя»! Да и вообще не видя «ужаса жизни», которому, по Блоку, нужно смотреть прямо в глаза.

– Но я то «ужас жизни» вижу! И вот эта «сверхплотная», единая в своем утверждении ценностей культура, нужна как раз для того, чтобы не просто выжить, но жить в этом мире.

Бессмертие? Нет у нас слова такого.

Мы знаем сегодня другие слова.

Нет вечности больше – и время сурово.

На краешке жизни стоим мы едва.

Как в мире, который мы любим, все хрупко!

Стреляют. Воюют. Любовь не в чести.

И крутится с воем войны мясорубка.

И шепот влюбленных не слышен почти.

*Но каждый – участник платонова пира,
что длится под рев реактивных турбин.*

*Стоим посредине разбитого мира,
что некогда был и любим, и един.*

Жить, сохраняя, так сказать, полное присутствие духа. В буквальном смысле этого слова: что бы ни случилось, но дух, укорененный в личности, должен присутствовать, являя достоинство и императив смысла. Стихотворение, которое цитировалось выше, – о душе в блаженном хороводе – заканчивается так:

*Молю: свое блаженство покидая,
вернись сюда, побудь еще со мной.*

Ах, может быть, его не надо, рая,

а жизнь нужна – с ее тоской земной

*Тоской о той – возможной, невозможной –
гармонии и красоте такой.*

*Там входит в круг душа походкой осторожной,
танцует, обретя блаженство и покой...*

– Что же ты утверждаешь? Что человек – существо «двоедышащее», живущее одновременно во времени и в вечности, в мире духа и в мире социума? И что дело именно в реальности бытия на этой грани –

тогда понимаешь, что якобы несбыточная тоска по гармонии создает внутреннее пространство, которое не разрушат внешние диссонансы, в которое не проникнет хаос?

– Конечно! Да вот хрестоматийное:

*О, вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия...
Так, ты – жилища двух миров.*

Это Тютчев. И вот мои стихи под его эпитафией, написанные сравнительно недавно.

*Покуда не поставил точку,
пока кружится голова,
душа меняет оболочку,
переселяется в слова.
Как будто ей и в самом деле –
нужда в ином. И тесно ей
в моем живом и жарком теле,
– не среди букв и словарей.
Нам в мире, потерявшем Бога, –
жить только тем, что можно съесть?
Душа, ты бьешься у порога,
чтоб просто доказать: ты есть!
Как хочешь ты сказать, сказаться,
взлететь, преодолев тщету,
и краешка небес касаться,
и бросить что-то на лету:
намек, призыв ли, выкрик птичий,
хотя бы перышко с крыла –
(как бы невзрачный знак величья
души, что на земле была...)*

– Ну вот, опять завел шарманку: душа, душою, о душе... А где у тебя ну хотя бы синхрофазотроны?

– Синхрофазотронов нет. А симулякры – есть. Это, правда, у Бориса Осеннего, другой моей ипостаси. Очень хотелось сделать из него в большей мере реалиста и сатирика. Книжку его «Любофф» не заметили, хотя литературная мистификация – да еще на телеэкране – в рамках очередной Пушкинской осени в Одессе – удалась.

– А Илью Рейдермана заметили – его книги «Земная тяжесть», «Молчание Иова», «Вместе», «Вечные сны»? Вот разве что «Одесские

этюды» вызвали некоторый местный резонанс – потому, что Одесские...

– Но хочу оправдать «шарманку», которая повторяет слова «душа» и «вечность». Вот что бывает, когда им в жизни нет места. Привожу целиком стихотворение Бориса Осеннего, написанное в 2008 г.

*Какowo жить в городе Хакоcима,
в непосредственной близости от вулкана?
Над вулканом – облако пепла и дыма,
ну а пепел, известно – не божья манна.
Вероятно, нет ничего мертвее.
И мир не мил, да и свет – не светел.
Пойдешь левее или правее –
везде на улицах пыль и пепел.
Вот метафора жизни в крупных
городах. Работали люди, жили,
но от хороших и от преступных
дел остается горсточка пыли.
Пыль да пепел. Мельчайшие части
жизни, бессмысленной и отпетой.
Это останки чужого счастья –
столбиком пыли в лучике света.
Может, когда мы ссоримся, спорим,
пьем, когда нам хорошо или тошно –
кто-то глядит осуждающим взором
из сердцевины пылинки ничтожной.
Как-то иначе жить бы под взглядом
мертвых. Безмерна наша беспечность.
...Пепел да пыль. Смерть присутствует рядом.
Слово забыто какое-то. Вечность?*

– Ладно. Это и вправду страшновато. И все же я в тебе подозреваю эскаписта. Вот ты как-то странно противопоставляешь внутреннюю свободу внешним политическим свободам.

– Да. «Тайная свобода» Пушкина и Блока – для меня дороже тьмы низких истин феминисток и геев. Разумеется, я вовсе не против политических свобод. Но тогда встает вопрос о том, кто я – как субъект свободы. Зачем мне свобода. Готов ли я за нее расплачиваться полной мерой ответственности. Когда свобода внезапно «обрушилась» на нас, только один человек, поэт Владимир Корнилов, нашел в себе мужество сказать: «Не готов я к свободе!» Услышали его? И сегодня неготовность подавляющего большинства людей к свободе является проблемой, которую нельзя решить чисто политическими средствами. Тут

только один путь – роста твоей личности, непрестанной духовной работы. Но возникают вопросы: а что это такое, духовная работа? Да и на кой она – если можно без нее обойтись, если в социуме она не востребована, и при слове «духовность» нам привычно указывают на батюшек да храмы?

Нас усыпляет индустрия бреда.

А жизнь живая – выделки ручной.

*Тот, кто не спит – дотянет до рассвета,
он свет во тьме, – не сгусток тьмы ночной.*

Евангельское слышу слово «бодрствуй!»

Будь в мире духа – вечный космонавт.

Чтоб красота была среди уродства.

Чтоб правда ожила – среди полуправд.

– И все же... Ведь и тебя превратно можно понять – у тебя есть и подлинно религиозные стихи на темы Ветхого Завета. Может, и ты – проповедник религии, и для тебя духовность – исключительно религиозна.

– Мы наследники иудео-христианской культуры, и я не могу одобрять попытку сброса сложности культуры, некую новую архаику, неоварварство, неоязычество. Но мы наследники и всей той культуры, которая сегодня терпит бедствие, которая некогда провозгласила «самостоянье человека» (Пушкин) и указала на возможность подлинно личностного пути развития. Светская культура больна, кризис – чреват и смертью, и выздоровлением. Я все же надеюсь на выздоровление, и, в сущности, ищу в ней резервы жизнеспособности, сопротивления опасным сегодняшним тенденциям. В ней? Но ведь и в самом себе, в этой культуре живущем. Да, меня всегда смущала избыточная политизированность сознания нашего поколения шестидесятников, мне казалось, что политическое – это нечто вроде пены на морских волнах, поверхность бушующей стихии. Поверхностность – самая страшная болезнь современной цивилизации, и апостол постмодернизма Жиль Делез сознательно противопоставлял поверхность глубине. Меня же интересовала жизнь на глубине, которую не стоит принимать за эскапизм. Там-то – под давлением – и спрессовывается вся мировая культура, образуя единство. Вот свидетельство – личное и трагичное.

Я не молчу. Я говорю, как рыба.

Сквозь толщу вод кричу! Напрасный труд.

*Средь злобы дня меня не слышат, ибо
в ином пространстве речь моя. Не тут.*

Я – в глубине, средь тишины и мрака.

Хотел бы всплыть, да нет пути назад.

*Раздумывай о том, что ложь, что благо,
что истина. Сам черт тебе не брат.
Без устали копи свои догадки.
Не унывай. Живи во всех веках.
И, вопрошая о миропорядке,
след истины ищи в запасниках.
Свободно размышляй о всяком сущем,
копайся в запывливишихся томах...
В зазоре между прошлым и грядущим
живи – в не наступивших временах!
Не спрашиваю, что там за погода
у вас. Идет ли дождь, а может, снег.
Не все ль равно, какое время года,
да и который год, который век?
О, быть вольноотпущенником Бога,
а не границы знающим рабом!
Так вот она, свобода? Слишком много...
И можно в направлении любом
плыть в этом – без конца и края – море,
вопросы множа и ища ответ.
Ты очутился на таком просторе! –
беда, коль путеводных истин нет...
Поторопись, пока на полувздохе
не замолчал, судьбу свою кляня.
Так трудно в переходной жить эпохе
(она перешагнет через меня!)
...Я не молчу. Из глубины взываю,
уже узнав отчаянья предел.
Я жадно мира будущего чаю –
а в этом жить, пожалуй, не сумел.
И шевелю, как рыба, плавниками,
и молча разеваю рыбий рот.
И слово, что накоплено веками,
внутри меня мучительно орет...*

– Написано десять лет назад. Конечно, можно ловить тебя на слове, например, «не спрашиваю, что там за погода...»

– «Какое, милые, у нас, тысячелетье на дворе?» – Пастернак. И – кстати – как мило – написано летом 1917-го!

– Но я хотел спросить: ты и сегодня так думаешь?

– Спасибо за вопрос. Наверное, я думаю уже иначе. В переходной эпохе жить действительно трудно – ведь переход совершается незримо,

и нет ясных признаков того, что подступает, просится в жизнь. Поэтому приходится пользоваться осторожной формулой: мне кажется. Так вот, мне кажется, что некий переход все же совершен, что постмодернизм победил в жизни, но потерпел серьезное духовное поражение и что те тенденции, которые одушевляют меня, получают некоторое право на жизнь. Вот стихотворение, посвященное любимой (она несколько лет, будучи уже взрослой, ходила в музыкальную школу, хотя по-настоящему овладеть скрипкой можно лишь занимаясь с детства). Значит, не в умении играть дело, а во все той же гармонии, в отстаивании некоего нравственного «порядка вещей»?

Все

Эта жизнь – плохо сшита,

плохо скроена – да?

Но куда – без души-то...

А с душою – куда?

Вот вопрос на засыпку:

жизнь тащить на горбу?

Иль с душой, как со скрипкой –

в гомон, в давку, в толпу?

И поднять над собою,

над судьбой и бедой,

над заботой земною

свой смычок власяной.

Средь вселенского гама,

шума, шороха шин –

хоть простейшая гамма,

знак упорства души.

Это некий порядок,

это жизнь, что чиста,

что из детских тетрадок,

четких линий листа.

Жизни строй - с нотным станом –

разменять на гроши?

Ах, с душою - куда нам...

Но куда – без души?

– У меня к тебе еще много вопросов. Про траву и муравья, твою философию природы... И про «бытие» – еще одно слово-заклинание, которое ты повторяешь не менее часто, чем слова душа и вечность. И про то, почему ты начал писать «стихи для взрослых детей».

– Мой дорогой, в следующий раз!

29-30.07.13

Лоскутная биография или Кем я не стал

Я родился в Одессе. В Одессе умру.
Только кто превратил этот город в дыру?

Борис Осенний

(один из псевдонимов И.Рейдермана)

Я – «дитя войны» – так это у нас теперь называется и даже дает некоторые льготы. Родился 25 ноября 1937 г. Я потом написал стихотворение «Год рождения тридцать седьмой», которое одобрил Павел Антокольский (мы с ним встречались и переписывались). Обрывки ранних воспоминаний: море, широкая отцовская спина и мой отчаянно-радостный визг. Помню спину – а не лицо. Отец был очень добрым человеком, работал бухгалтером на фабрике игрушек, страдал плоско-стопием и был непригоден к военной службе, но в дни обороны города мужчин забирали прямо на улице, и он успел прислать написанную карандашом записку – первое и последнее письмо. Нам потом сообщили, что он пропал без вести в 1943 году. Еще помню – вой сирены, и мы бежим с мамой, и какой-то подвал-бомбоубежище. И еще одну бомбежку помню – на пути в эвакуацию. Эвакуироваться удалось чудом, мама говорила – на последнем пароходе. А потом поезда. Далеко. В Черемхово Иркутской области.

Мама, Сородская Хана Липовна – героическая женщина – работала бухгалтером и возила меня, привязанного к саночкам, через весь городок – туда, где выдавали молоко для детей. Вообще она была человеком незаурядным, занималась в юности балетом, рисовала, вращалась в кругу интеллигентных мальчиков и девочек – в этом кругу был юный Додик Ойстрах, ухаживавший за ее подругой Лизой Бродской. Лиза Бродская в Москве потом изобрела способ копирования нотного письма (ксерокопии тогда не было!), но идею украли, Сталинскую премию получил другой, она сошла с ума и писала огромные письма, которые едва помещались в конверты. Но это было уже в маленьком донецком городке Дружковка, куда занесло нас после эвакуации. Там и вырос. Возле реки Торец.

С трудом вспоминаю обрывок ночного пейзажа: «Отраженного света колонны/ погружаются в глубину». И работал потом на Торецком заводе. Разнорабочим на складе, по существу грузчиком. Нужно было делать себе «рабочую биографию». Иначе в литинститут не примут – а я хотел только туда. И стихи пытался писать соответствующие: «Катали проволоку, складывали проволоку,/и кровь в висках стучала, будто колокол,/и лился пот, и были не с руки/увесистые, круглые мотки».

Когда я был уже в Перми, эти стихи предлагались в журнал «Урал». В Дружковке я начал собирать грампластинки, слушать музыку, читать и писать стихи. Но разговаривать было решительно не с кем – интеллигентных людей катастрофически не хватало. Был, правда, один, очень высокий, читавший наизусть Маяковского, но, увы, выпивоха и к тому же инструктор горкома партии. С ним и подружился, да еще со своим сверстником Эдуардом Мацко, – он жив и руководит местной литературной ассоциацией «Современник». Мы с ним учились в машиностроительном техникуме, и был он известен как вратарь местной футбольной команды. С ним связана одна из историй о том, «как я не стал...».

Как я не стал машиностроителем. Мама очень настаивала, чтобы я пошел в техникум – а техникум был один. Теоретические предметы мне давались легко. Но одним из главных предметов было черчение. А я не мог вычертить безукоризненно прямой линии. Лишь потом я узнал, что виноват дефект зрения – астигматизм. И вот пересдача летом, и друг Мацко сделал за меня чертежи. Хорошо начертил. Так что удивленный преподаватель спросил: сам? Не хватило духу нахально соврать. Признался: нет... Вылетел.

Как я не стал крупным финансистом. Оказался в Тбилиси – там жил мамин брат. Он решил меня устроить в финансово-кредитный техникум. Но русская группа была только на втором курсе, нужно было дополнительно сдать разные предметы, главным из которых был бухгалтерский учет. Сидел под деревом, учил итальянскую бухгалтерию. Освоил! На уроках писал стихи – одно из стихотворений «Урок грузинского» вызвало скандал. Но не выгнали. Хорошие были люди! Все умилялись, как я, такой маленький, приехал в большой незнакомый город и живу самостоятельно (от дяди я быстро ушел, увидев, что на меня глядят, как на нахлебника). Закончил техникум с отличием – и попал на Кавказ, в селение Старый Лескен под Нальчиком. Должность – фининспектор. Все бы хорошо, но однажды мой начальник оставил все дела на меня, я поневоле стал разбираться и увидел, что все ужасно запутано, заподозрил мошенничество, начал все считать, вспомнив уроки бухгалтерии. Когда начальник вернулся, он взялся за голову и поспешил от меня поскорее избавиться. Уволили «по сокращению штатов»! (Кстати, диплом финансиста мне впоследствии однажды пригодился – когда меня брали на работу в промышленный отдел газеты «Вечерний Кишинев» – в стране как раз шла экономическая реформа, которую нужно было освещать).

Так я и оказался снова в Дружковке. Я с детства бредил театром, играл в самодеятельных спектаклях, штудировал Станиславского. По-

ехал в Киев, читал «Облако в штанах», кажется, принимали хорошо, но потом кто-то из комиссии спросил, могу ли я прочесть что-то на украинском... Так я не стал знаменитым актером, а, скорее всего, режиссером.

Между тем – уходили годы. Насчитав ровно пять отказов из Литературного института имени Горького с однотипной фразой: «ваши стихотворения не прошли по конкурсу», я решил, что этого довольно, и стал выбирать, куда бы с моей нехорошей фамилией поехать поступать. Выбрал Пермь, Урал. И вправду, когда я потом был на практике в школе в Чердыни (тогда я не знал, что там когда-то был в ссылке Мандельштам), я увидел чрезвычайно милых людей, которые дружно лепили пельмени и говорили: мы «чердачники», нам все равно, какой ты национальности, – лишь бы человек был хороший!

Но... на вступительных экзаменах меня провалили. Кажется, все сдал на отлично, а по сочинению – двойка. За «неграмотность»! Поскольку очень любил ставить тире вместо запятых. А сочинение было на тему «Мой любимый поэт», и писал я о Багрицком. Возможно, председателем комиссии был человек, которого что-то раздражало и в Багрицком, и в моей особе. Но во мне тут же приняли участие замечательные филологи, о которых чуть позже, они посоветовали мне поступить на подготовительное отделение и подать документы на следующий год. Я решил остаться в Перми и устроился в Дом культуры железнодорожников – заведующим читальным залом библиотеки. О, сколько там было старых книг! Да еще и место в общежитии дали!

Как я не стал доцентом-филологом. Университет оказался далеко не провинциальным – в нем бурлила жизнь. Из Москвы приехала Римма Васильевна Комина, из Киева – изгнанные как «космополиты» Сарра Яковлевна Фрадкина со своим мужем, известным специалистом по истории Англии Львом Ефимовичем Кертманом. Я увидел подлинных интеллигентов, благородных и умных людей, общение с которыми меня и сформировало. Пермь была для меня культурной столицей, здесь я, юноша из провинции, приобщался к мировой культуре как к делу чести и совести. Хотя сразу и не понял, до чего это серьезно. Нужно было увидеть людей, давших присягу не классу, не сословию, но духу культуры, причем сделавших это без всяких громких слов.

Причислять себя к строгим мемуаристам не могу – память плохая, особенно на детали, я помню скорее музыку, тон. Не помню, где собиралась литературная студия, которую вел В.В.Воловинский, но он мне чем-то напоминал Блока. Предельная сдержанность, казавшаяся мне даже сухостью, – и какое-то несомненное благородство. Было почему-то жаль его – казалось, окруженного ореолом одиночества. И помню,

что обрадовался, узнав о его женитьбе. Но не оставил ли он тогда литературную студию? Потому что помню себя «у Гурвица», у Семена Самойловича, человека совсем другого психотипа. Мы, университетские поэты, люди, конечно же, немного сумасшедшие, шли напрямик в психбольницу, где врачом-психиатром был Семен Самойлович. Читая потом Рильке «Сумасшедшие в саду», я пытаюсь вспомнить, видел ли я таких. Конечно же, я боялся их увидеть. С.С. был невероятным знатоком великого множества поэтов и их стихов, казалось, что во всех он бескорыстно влюблен, и у каждого, даже самого скромного, может найти хорошие строки.

Кажется, в университете я пришелся к месту. Среда нужна, духовная среда, какой я не находил в Дружковке, а возникает она все же при известной концентрации культуры. По правде говоря, в наибольшей степени в меня «впечатался» (а происходит это помимо нашей воли, странным образом резонируя с нашими экзистенциальными глубинами) Лев Ефимович Кертман. В его доме я бывал, подружившись с его дочерью Линой. С ней у нас многолетняя переписка – не всегда мирная. Болезненно выясняем мы свое отношение к шестидесятникам – а ведь и мы были «младшими шестидесятниками», и это была Пермь шестидесятых. В доме Кертмана поражали какие-то крохотные серебряные рюмочки, из которых пили, вероятно, коньяк, но главное, сама атмосфера уважительности и сиюминутно работающей мысли. Так вот как выглядит подлинный интеллигент! Вот как он улыбается, жестикулирует, молчит, задумавшись! Живая личность – пример... для подражания? нет, для воплощения в тебя... Но что есть личность, и какая личность способна так глубоко воздействовать на тебя? Сие есть тайна. Знаю лишь, что на отдалении действовала на меня и строгая магия Риммы Васильевны Коминой. На факультете были и другие прекрасные преподаватели – С.Я.Фрадкина, Г.Г.Телятникова, читавшая нам спецкурс о Блоке (навсегда «заболел» Блоком), потом появилась Н.С.Лейтес – бывал у нее в гостях, ее муж пел под гитару песни Галича.

А еще – была замечательная библиотека. Каким-то чудом в ней не все ставшее потом «недозволенным» списали и уничтожили. Так случилось, что мне разрешили сдать экзамены сразу за два курса, а потом ректор не разрешил «скакать через курс», и я, получая повышенную стипендию, имел возможность не ходить на лекции и целый год просидеть в университетской библиотеке. Помню, взял книгу Бенедикта Лифшица «Полутораглазый стрелец». Я был вторым ее читателем – первый брал ее ровно двадцать пять лет назад. Лифшица расстреляли, а книга чудом уцелела от «чисток».

Мы разыскали в библиотеке книжечку Марины Цветаевой «Версты» (не уничтожили!) и, сидя в читальном зале, переписали ее всю от руки. Переписывали по очереди, подложив копирку, чтобы каждый получил свой экземпляр. Такие листки где-то еще лежат в моем архиве. Тут и надо сказать о тех, кто переписывал. Я наконец-то нашел людей, с которыми было интересно. Были четыре девушки – замкнутая на себя группа, «квадрат»: Надежда Пермякова, Марина Лебедева, Татьяна Шерстневская и Жанна Ройхман. Конечно, с этой компанией общались мальчишки, влюблялись, но расколоть квадрат не могли. Я был одним из них. Что было замечательно – они, идя по улице, читали стихи наизусть. Гумилева, к которому я остался сравнительно холоден. Мандельштама. Цветаевой. И даже Надежды Львовой – до сих пор не могу найти одно поразившее меня тогда ее стихотворение. И я в этом кругу читал так соответствовавшие моей личной ситуации строки Цветаевой: *«Какого спутника веселого послал мне нынешний февраль»*.

Что делать, это была моя первая любовь, и она была «несчастной» (сейчас следовало бы сказать: и слава богу!) Но тогда я буквально сходил с ума. Были ночи, когда я чуть не до утра мерил ногами улицы, чтобы утомить себя безмерно, и рифмовал какие-то строки. Кажется, именно тогда я и стал поэтом. Потому что в голову лезли самоубийственные мысли – а стихи меня спасли. Кажется, именно эти стихи о любви – в цветаевском духе (которые у себя не могу найти) – я и читал Анне Ахматовой за год до ее кончины, и она великодушно меня похвалила. На этой встрече присутствовала Рита Спивак, она тогда была в аспирантуре в Москве. Вот кого еще нужно обязательно упомянуть – она была для меня взрослой и мудрой женщиной – другом, которому можно было рассказать обо всем, хотя по возрасту мы ровесники.

Я выступал с докладами на научных конференциях и публиковал работы о драматургии Б.Брехта, но когда защитил диплом и должен был остаться на кафедре зарубежной литературы, вдруг понял всю двусмысленность своего положения. Я оказался невольно в гуще политической борьбы. Мой научный руководитель был ортодокс-реакционер. Хотя настоящим идеологом был не он, а его жена Яшенкина. А дружил я – с совсем другими людьми. И не очень хотел понимать «логику идеологической борьбы». Помнится, Римма Комина мне, пятикурснику, почти недвусмысленно сказала, что нужно выбирать, кто твои друзья. Я очень хотел остаться в Перми – но где-то вне университета. Не оказаться в двусмысленном положении на кафедре врага Риммы, которую я, как и все, боготворил. Кажется, была попытка устроиться в издательство. И даже совсем безумная попытка воспользоваться вакансией преподавателя философии в Сельхозинституте. На что Лев Ефимо-

вич Кертман сказал: «Ну что ты, Илья? Ведь придется преподавать исторический материализм, а ты не сдержишься и скажешь какую-нибудь ересь. И – еще посадят, чего доброго». Я понял, что он прав. И... снова вернулся в свою Дружковку.

Да, нужно сказать, что в Перми я впервые получил некоторое признание как поэт, вышло несколько тоненьких и потолще коллективных поэтических сборников: Студенческая весна (1961), Одно стихотворение (1961), Молодой человек (1965).

...Помню, гордился, купив итоговую монографию И.Фрадкина о Брехте, что в списке литературы есть и мои работы. Мой ма-а-ленький вклад в филологию.

Как я не стал литературным критиком. Сидя на «маминых хлебах», я стал писать большую статью о молодежной прозе. Помнится, списался с кем-то – с Литературной газетой, с каким-то журналом. Заказ был получен. Но это была для меня не работа, а, так сказать, свободный полет, и потому писал я до-ол-го! И тут пришел милиционер. В буквальном смысле слова – постучал в дверь, вошел в квартиру, уселся и спросил: где вы работаете? И когда я сказал, что пишу, он ответил, что согласно закону о тунеядстве (тому самому, по которому осудили Бродского, «делая ему биографию», как говорила Ахматова), он должен будет привлечь меня к ответственности. И дал мне месячный срок. Уходя, не оборачиваясь, добавил: было бы лучше, если бы в следующий раз я вас тут не видел. Я собрал вещи и уехал в Кишинев. Почему туда? Там у мамы была знакомая – еще по Черемхово, где она со мной была в эвакуации.

Как я не стал известным деятелем театра и кино. В Кишиневе я сунулся в местную «Вечерку», зам. редактора спросил, что я умею делать, и когда я ответил, что пишу рецензии, он проницательно разглядел во мне робкого книжного мальчика и сказал: не надо! Поехал в районную газету, в Страшены (благо, близко от Кишинева), писал обо всем, вплоть до вывоза навоза на поля. И через несколько месяцев снова пришел к тому же самому заму в Вечерку. Взяли. В отдел промышленности. Править корявые статьи хозяйственников об экономической реформе было очень скучно. Но я писал и о театре. Театр я любил и понимал. В конце концов меня перевели в отдел культуры, которым заведовал Ефрем Баух, нынешний руководитель союза русских писателей Израиля. (Кстати, уезжая, он отдал мне рукопись романа на хранение – вероятно, отдавал и другим, но сохранил его только я. И через двадцать пять лет в Одессе я отдал ему рукопись – она уже издана.)

Я «воевал» с главным режиссером русского тетра, который вульгаризировал тончайшие пьесы Теннесси Уильямса. Баух бегал со

статьями в ЦК, что-то согласовывал. Видимо, будучи поэтом, он чего-то недосогласовал – в республиканской партийной газете появилась статья самого главрежа, в которой раз двадцать настойчиво повторялась моя еврейская фамилия. Редактор меня вызвал и велел о театре не писать. А сидеть в кабинете в ожидании посетителей было скучно. Скучал, пока не вышел срок – три года работы, дающие право на поступление в Союз журналистов. Членский билет был нужен: с ним меня уже никто не мог привлечь к ответственности за тунеядство. Получив его, ушел в театр, который организовали в Тирасполе. Тут я и заглянул за кулисы – и закулисы мне очень не понравилось. Мама моя уже жила в Одессе, на лето в отпуск я поехал к ней. И тут разразилась холера, мой отпуск роскошно затянулся, и в это время я познакомился со своей будущей женой.

Кстати, заглянув в интернет, нашел в Википедии о Тираспольском театре и о себе как завлите. Обо мне сказано: жил и умер в Тирасполе. По другой версии – умер в Ташкенте.

Кем я еще не стал? Известным в России поэтом? Совершая чуть ли не дважды в год наезды из Перми в Дружковку, я всякий раз оставался в Москве. Там меня в кругу литераторов очень радушно приняли. В доме Аркадия Акимовича Штейнберга я слушал, как читал стихи Тарковский. Аркадий Акимович достал из ящика стола бледную машинописную копию и дал мне прочесть, так сказать, «не отходя от кассы». Это была «Четвертая проза» Мандельштама, которая меня потрясла. (О, литературная злость! Кажется, и во мне она до сих пор кипит – хоть и хотелось бы ее уже утихомирить.) Павел Антокольский буквально за руку привел меня в редакцию «Литературной России», но публикация, увы, не состоялась. Не скрою, была возможность и жениться на москвичке. Тут бы и продолжал вертеться в литературном кругу, без чего, как известно, и публикаций не будет.

Анастасия Ивановна Цветаева, которой мой кишиневский знакомец передал стихи (подписав их моим журналистским псевдонимом), откликнулась бурно, как и положено Цветаевым. Благодаря ей (при содействии ее друга-редактора) подготовленный мной сборник оказался в издательстве «Советский писатель». Лежал долго, числясь в плане. Был обстрелян рецензиями. Видимо, колебались, дали на третью рецензию – ее написала Лариса Васильева. Рецензия – на удивление – была положительной. Начиналась она, как сейчас помню, словами: Илья Рудин, несомненно, поэт. Дальше шла критика. Но тут началась перестройка. Мне прислали письмо из издательства, предложили издать стихи в составе коллективного сборника. И опять наступил момент выбора. Я вдруг решил, что Илья Рудин – имя журналиста, не

поэта. И написал: печатайте, но под фамилией Рейдерман! О результате этого шага предлагаю догадаться самостоятельно.

...Одесса не только после Перми, но даже после Кишинева оказалась мне глубоко провинциальной. В местных газетах меня не печатали – исключением была «Комсомольская искра». Сколько там было статей за подписью Илья Рудин – в переводе на украинский!

Я старался не замечать своего литературного одиночества. Поэту Ефиму Ярошевскому, которому показали меня издавека, не прощу, что он тогда ко мне не подошел. Голубовский меня нашел, прочитав обо мне в письме Анастасии Ивановны Цветаевой. Остальные – не торопились. Издавал книжки стихов – за свой счет. Хотя Андрей Сергеев, будущий лауреат буковской премии, мой поэтический учитель, велел ждать, пока «сами найдут и позовут».

О глубине осознания своей литературной непризнанности свидетельствует фрагмент из не такого уж давнего моего письма Лине Кертман – я ей предложил написать статью о себе. *«Напиши, что это поэт, выпавший из своего времени, опоздавший на поезд, в котором он мог бы получить известность хотя бы в пределах одного вагона, в котором шумели, рассказывали анекдоты и бряцали на гитарах его современники-шестидесятники. И поскольку на поезд он опоздал, то побрел по шпалам, а потом и вовсе свернул в сторону от железной дороги, забрел куда-то, где можно было поваляться на траве, поглазеть на муравья и кузнечика. И стал писать такие стихи: “Люби меня, покуда я живой, пока не стал засохшею травой, и голову склонил тебе на плечико. Покуда я – не в животе кузнечика”. Впрочем, это уже Борис Осенний – 2004 г. Но так или иначе – трава и деревья заняли в его поэзии то место, которое занимали в стихах его более удачливых современников Братская ГЭС и аэропорт. Он эмигрировал в природу! Впрочем, в творчестве более раннем он эмигрировал и в Чили, Испанию – писал оставшиеся неопубликованными поэмы, в которых, задыхаясь в брежневской духоте, пытался докричаться до современника фило-софско-публицистически».*

Так и жил – читал лекции через общества «Знание» и книголюбов. Потом, правда, обрел стабильную работу преподавателя культурологии, а потом литературы в художественном училище имени Грекова. Ни в каком другом месте я не мог преподавать – здесь была особая публика, здесь умели слушать зачарованно. Растил сына. Читал книги. Кропал стихи в стол. Еще одной отдушиной была музыка. Ходил на концерты в филармонии, писал рецензии в местных газетах, стараясь описать сам дух исполняемой музыки, что довольно трудно. Я вербализовал неопишемое и стал, не имея музыкального образования, му-

зыкальным критиком, которого признали, в первую очередь, сами музыканты-исполнители.

Сын стал наркоманом, дважды сидел в тюрьме, тоже писал стихи, умер. При его жизни мы без конца ездили с тяжелыми продуктами передачами на ежеквартальные свидания. Потом умерла и жена.

Нужно было найти душевные ресурсы для новой жизни. Упав – отжаться и встать. Встав на ноги – женился на студентке, перешедшей на третий курс. Шаг совершенно безумный, тем паче с ее стороны – прыжок через бездну «нас разделяющих лет». Но для меня это было единственным вариантом продолжения активной жизни: бытие с Другим. Если нет этого Другого – о каком бытии можно вести речь? Все твои высокие слова повисают в воздухе. Прекраснодушных мечтателей на этом свете миллионы. Должно было случиться чудо – и никак не иначе, чтобы все сошлось и сбылось.

Всю жизнь я рвался к молодежи, хотел быть во всех смыслах Учителем, сказать нечто, на что можно опереться, как на сгустившиеся смыслы мировой культуры. Двадцать лет вел я в ОМК (объединении молодежных клубов) свой молодежный клуб под разными названиями, и юная жена моя, Анастасия Зиневич, сегодня уже дипломированный психолог, получившая красный диплом, начинала в этом клубе.

Мощный полученный стимул к жизни дал результат: почти все стихотворное, что лежало в запасниках, издал. Мне оказалась дарованной еще одна, может быть, самая главная жизнь. Да и сама жизнь неожиданно стала меняться. Медленно стали приходить признаки некоего признания: маленькие победы в маленьких конкурсах, муниципальная премия имени Паустовского, двенадцатая по счету большая книга «Музыка» – стихов и статей о музыке, изданная с помощью замечательных музыкантов Алексея Ботвинова и Владимира Спивакова. Чудом был концерт в большом зале филармонии – музыканты играли, а я говорил о них и читал стихи. Другим чудом, случившимся недавно, стало то, что мне предложили вести передачу на популярном телеканале «Глас» – монологи по 15 минут еженедельно. Называется передача «Мгновения бытия», и, набрав ее название в поисковике, добавив Илья Рейдерман, ю туб – можно найти все вышедшие на сегодняшний день передачи.

И сам я стал меняться. Почему-то обрубил многие прежние связи. Расстался с клубом. Мне некогда ходить в гости, чтобы приятно поболтать. Что, конечно, нехорошо. И музыкальной критикой прекратил заниматься. И даже поэзия перестает быть самым главным делом жизни – вот только избранное бы издать... А вот философия, культурология и даже психология выходят на первый план. Некое целостное учение о

человеке – давно во мне вызревало, а в последнее время требует все больше усилий. А ведь тут и коллектив ученых за голову схватится – столько всего непонятого, не укладывающегося в рациональные формулы. И все острее ощущается ограниченность сил и времени, и огромность задач. Напишутся ли книги, и какие книги, решусь ли я на ненаучную эссеистику и стану ли говорить «живую ересь», или буду бежать вослед за мыслью, которую хочется разрешить, и все останется лишь в дневниках – покажет время.

Укажу членство во всех творческих союзах: член союза журналистов Украины, член Южнорусского Союза писателей (ЮРСП), Конгресса литераторов Украины, Межрегионального союза писателей Украины, а с недавнего времени – Союза Российских писателей, лауреат муниципальной премии имени Паустовского, литературной премии имени О. Бишарева, литературного конкурса «Есть город, который я вижу во сне» международной выставки-ярмарки «Зеленая волна», лауреат во многих номинациях на конкурсе «Славянские традиции» и приза зрительских симпатий на конкурсе «Пушкинская осень в Одессе». Лауреат конкурса «Россия глазами поэтов 2013», опубликован в одноименном итоговом сборнике. М., Эдитус, 2013. Публиковался в журнале «Октябрь» и в Литературной газете. Номинирован на международную волошинскую премию 2013 г.

26.07.13.

Нина Горланова

ВЛАСТЕНКО

Юре Власенко больше подошла бы фамилия Властенко. Это заметила моя младшая дочь Агния, еще будучи ребенком. Он любил властвовать (хотя бы в компании).

И все-таки мы дружили с юности. Идеалов нет. А достоинства у всех есть. У Юры: юмор, любовь к литературе и философии. Яркая такая логика (если можно так выразиться).

Помню спор о красоте у Соловьева.

– Не в пользу дело! – говорил Юра своим глуховатым голосом. – Черви в земле тоже полезны – они же гумус обеспечили! Но где в них красота?

А мои городские дети любили этих червей, как все живое, прямо застынут и любуются, когда после дождя на асфальт выползут розовые ниточки, поэтому я пыталась как-то защитить этих червячков...

Юмор тоже, правда, был у него всякий. «Поганка-Гегель превратил все противоположности в единство», а «придурок Джеймс... полагал Гегеля», и так далее в том же духе. Много было такого юмора компьютерного, что ли, заранее запрограммированного. Скажи Юре после его выздоровления, что выглядит лучше, сразу слышишь: «Как – ЕЩЕ лучше?». А если ищешь, что дать почитать, то диалог предсказуем:

– Газета «Двое» тебе не нужна, Юра.

– Нет, не нужна, а вот если б «Трое» или лучше «На троих»...

Но зато покупать новые стулья с гонорара я иду с Юрой. Он не отказывался помочь.

– Мы еще линолеум мечтаем купить и люстру сменить.

– Ну, тогда хоть не ходи к вам, Нина!

Прервалась: неожиданно пришел в гости Сережа Андрейчиков. Я спросила: «Что тебя больше всего поражало в Юре Власенко?» Меня: сочетание ума и нежелания использовать его для людей.

– А меня – как Юра всегда улыбался. Наши люди так редко улыбаются, а он – почти всегда...

Сережа прав: Юра улыбался. Но так же много улыбался мой сосед по кухне – Саша (покойный). Алкоголик выпил и всем доволен... Юра считал, что счастье – не цель, счастье – это исходный момент души. Только этот «исходный момент счастья» он заливал внутрь себя своей рукой... Часто уверял, что внутри него все звенит от счастья, и ему всерьез кажется, что он никогда не умрет.

– Звенит-звенит и никогда не умрет – кто это? Загадка. Ответ: Власенко, – итожил мой муж диковатым голосом.

Целые десятилетия мы виделись с Юрой каждый день. Бывало, что он в субботу поздно вечером от нас уходил, а рано утром в воскресенье приходил, несмотря на очередной вопль мой на двери («Милости просим после пяти! А пока я закуклилась, никому не открою. Мой дом – моя крепость! Штраф 5 долларов тем, кто позвонит раньше!»).

– Приветствую вас! – робко произносит Юра.

– А ты что – уходил разве? – дыша «радостью», спрашивал Слава.

– Серьезно тебя просим: приходи к нам только по вечерам!

– А вы что – опять что-то задумали написать, что ли? (так и не мог усвоить, что мы работаем всегда).

Но был период, когда мы не виделись вообще (об этом в романе «Нельзя. Можно. Нельзя», где Власенко – Главный Гносеолог). А потом снова он к нам приходил очень часто. Есть такая запись из середины девяностых (я сидела с первым внуком – Антонычем): «Вчера был Власенко, Саша считает его за своего и улыбается ему во весь рот». И

вдруг Власенко попал в психушку, после нее перестал бывать у нас. Кто-то спросил: «Это правда, что Юра сошел с ума?»

– Судя по тому, что он к нам не ходит, правда, – ответили мы.

Когда мы познакомились, я была младшим научным сотрудником, а Власенко учился на втором курсе. И вот мне выпало вести их курс на диалектологическую практику в Акчим. Юра поразил меня в дороге тем, что наизусть цитировал огромные куски из «Улитки на склоне» Стругацких, а как прибыли в деревню, сразу напился и уехал на плоту с какими-то туристами. Я же бегала по берегу Вишеры всю ночь, до полусмерти изъеденная комарами. Акчимские комары – это такие летающие лошади-крокопийцы. Они прямо одежду прокусывали! Москиты какие-то, а средств никаких в начале 70-х еще не было против насекомых... Я ведь за жизнь студентов отвечала полностью, поэтому сквозь ночь и стаи комаров вглядывалась вдаль и надеялась, что Власенко объявится. Объявился он только утром – как ни в чем не бывало (с другими туристами).

Кстати, во время Юриного студенчества произошла такая история. На их курсе училась девушка-вамп, этакая Апполинария Суслова советского образца. Однажды она заявила: «Хочу, чтобы Юра меня поцеловал!» А он? Отказался: «Да что-то мне сегодня не хочется целоваться», – ответил.

– Тогда я лягу на пол! – и она легла перед аудиторией на пол.

Но Юра не сдался. А студиязусам и преподавателям нужно было попасть в аудиторию, и они через нее перешагивали. Я лично Юру сильно уважала за всю эту стойкость.

В 1994 году вышел наш «Учитель иврита», где второстепенный герой Плаксин имеет некоторое сходство с Юрой. Он тогда чуть не сорвал одну вечеринку в нашем доме, никому не давал говорить, все кричал, что мы его изобразили пьяницей! При этом стремительно выпивал по полстакана водки и через 15 минут стал совершенно похож на персонаж. Киршин взял на себя тяжесть увезти его домой на такси. На одной из каких-то вечеринок мы даже прятали от Юры все крепкие напитки (об этом есть рассказ «Вечер у Антоныча»).

Ну в конце концов все привело к тому, что 5 декабря 2002 года он вышел из дома в сильнейший мороз, и больше его никто не видел. Перед этим он опубликовал в газете свое одностишье: «На тот свет из этой темноты». А мне оно очень не нравилось, и я просила его не публиковать! Но...

И все же сердце болит. Но оно болело за Юру и тогда, когда он был жив. Записан один из последних моих снов о Юре (в ночь на 3 апреля 2000 года). Якобы он в окошко пейзажа показывает мне свою

прозу, но окошко слишком мало, и я спросила: «Может, дашь мне в виде видео?» – «Нет, не могу». Окошко для творчества и в жизни оставалось очень маленьким, все был в запоях, лежал часто в психбольнице (месяцами). Его отец году так в 2001 позвонил мне и сказал: «Не делайте ничего для пробивания Юриных произведений! Не дай Бог, он получит Нобелевскую премию и умрет, не успев ее пропить». Но я уже ничего и не делала для пробивания в это время, да и что пробивать-то? Была пара новых рассказов про меня у него. В одном я якобы ехала из Москвы и выбрасывала в окно свои книжки, на каждой написав: «Дорогому читателю». Юра его опубликовал в местной газете, и все меня спрашивали: «Ты – правда – выбрасывала?» А просто я рассказала Юре, что Лена Трофимова мне к поезду привезла 40 штук «Любови в резиновых перчатках», и я ехала в страхе, что не встретят, – куда я с этой тяжестью. В другом рассказе я была «Нюра-дура», и пришлось пообещать, что напишу рассказ, где он будет не Власенко, а Облысенко.

Он подписывал свои вещи псевдонимом «Конслаев» (буквы фамилии в другом порядке). На что Юра Беликов заметил, что тут ему слышится «концлагерь». Мне тоже не нравился этот псевдоним.

Власенко считал себя большим специалистом по снам, написал целый труд об этом. При этом мог прийти и рассказать такой свой сон:

– Якобы я в свой день рождения смотрю в окно и вижу, как ко мне в гости идет толпа друзей с цветами, бутылками, подарками. Я открыл дверь и жду. А они проходят все мимо, даже меня не заметив – на этаж выше к кому-то. Станный какой сон. Не могу его разгадать (а что тут разгадывать?!).

Но, видимо, не хотел из подсознания взять мысль и довести ее до сознания. Сапожник без сапог, а специалист по снам – сам себе не психоаналитик... Когда я Юре сны свои рассказывала (опять Капица старший во сне мне в любви объяснялся – вторую ночь), он посоветовал написать роман «Мужчины в моей жизни» (глава 1 – Капица старший, глава 2 – Ельцин). Ну, на роман тут не было материала, а рассказ такой я написала все-таки.

Капля немецкой крови убивает беспорядок! У Юры одна восемнадцатая, что ли, немецкой крови была, но он любил порядок, вел несколько записных книжек, как Блок, у которого тоже немцы в роду.

– Кроме того, я веду четыре дневника! – говорил он.

А мой муж сразу спросил: «Первый – для родителей, второй – для жены, третий – для любовницы, а четвертый – для себя?». Но Юра серьезно перечислил темы 4 дневников: что прочел, что сочинил, события и сны. После он стал вести еще и пятый дневник – для родите-

лей (показушный). Так что мой Слава оказался прав... В конце мне отец Власенко звонил и говорил, что теперь все дневники – вранье. Ничего он не читает, никуда не выходит, а записано: «Весь день пробыл в больнице – исследование папы. Вечером читал Гачева».

– Меня раздражает то, что у вас здесь (понимай – беспорядок), – говорил Юра.

– У тебя есть возможность не раздражаться – ходи пореже, – так предлагал мне отвечать мой муж, но я ни разу не решилась сказать такие слова..., а сразу заваривала гостю крепчайший чай, как он любил.

Приведу такой отрывок из моих записей: «Вчера Юра был трезвый. Это меня радует. Правда, он говорит: напиши Вере Мильчиной, чтоб она узнала, переведены ли 28 томов записных книжек Рильке. Мол, наверное, можно будет попросить их у переводчика в рукописи. Я прямо ошалела! Кто ж даст в рукописи свой перевод?! Господи, прости меня, я стараюсь не осуждать, а ОБСУЖДАТЬ (то есть диагноз не окончательный! Верю, что люди могут меняться к лучшему)».

Юра в шутку называл себя «любителем реанимации», он три раза попадал туда (по пьянке избивали). Иногда начинал разговор словами: «Две реанимации тому назад...» И вот однажды ему сделали трепанацию черепа, мне передали, что он остался без речи – только два слова говорит. Я подумала, что эти два слова: «идиоты» и «нет». Пришла в больницу, а Юра говорит совсем другие два слова: «да» и «спасибо»! Внутри – глубоко – он был очень хорошим!

Но выписался из больницы, обрел речь и снова все время пытался доказать, что он – такой тонкий, не то, что мы. «Я по шесть часов в день музыку слушал!» – «Да мы тоже все время включали проигрыватель и слушали классику! Картошку ли чистим, моем ли пол...» – «Нет, это не то, важно чистое слушанье, как у меня». Ну а что в итоге чистого слушания? Семьи нет, дочь не приходит...

Восхищался он ЛСД (другими наркотическими веществами тоже, но особенно – ЛСД):

– ЛСД! Лили с его помощью столько открытий сделал!

– Юра, назови хоть одно открытие!

– Ну, много, сейчас все не перечислить...

Записи от 5 января 1996 года. «Вчера был Юра. По ТВ шли новости 1 канала. Новая дикторша – казашка. Юра несколько раз назвал ее чуркой! Я не выдержала и говорю: не называй ее чуркой! Бубера он называет «Бубёр», но это – любя, а «чурка» – не любя, увы...»

В начале девяностых шампуня в продаже не было, в школе появились вши, и я без конца выводила их у подруг моих дочерей Даши и Агнии. Однажды сказала устало: чего друзья у вас такие вшивые – вы-

водить надоело! Даша ответила: «Когда у вас Власенко вообще алкоголик!» (И нечего возразить).

Его любимое слово было «спонтанность» (не выговаривал в не трезвом виде, получалось «спонтан»). Однажды мой муж сказал ему: «Если у тебя есть спонтан, заткни его» (у Пруткова – фонтан). Юра ошалел – он ведь очень гордился своей спонтанностью.

Долгие годы Юра играл (так мы это называли) в издание журнала. Ничего не издал, конечно, но ходил к нам говорить, что наши произведения он ни за что не напечатает. Слабы, мол. «Ну разве что вот страницы твоих записей, Нина, под числом, ты тут выходила на кухню, я прочитал в машинке полстраницы». Да кто ж тебе даст записи-то печатать, думала я...

Но зато он всегда принимал мои телепатемы. Только мысленно позову – он тут как тут! Однажды в «Местном времени» мне дали много книг (Петухов чистил библиотеку). И вот у меня на трамвайной остановке оба пакета лопнули (книги тяжелые)! Я в панике: сейчас книги посыплются в грязь! Хоть бы Юра появился! И что – он тут как тут! Хотя не должен был никак здесь быть. И помог: переложил часть книг к себе в портфель. Чудо. Сколько раз так было, не перечислить.

И вдруг... стал на вечеринках гадости говорить моим друзьям! Они потом обижались, пересказывали. Но начнем стихи читать, и Юра знает наизусть всегда больше нас. Я из Ходасевича одно, а он – три. Бывали чудесные вечера, когда читали вчетвером: он, Света Вяткина, я и Слава... Но вдруг в конце вечера Власенко станет ходить по комнате, как слепой, откровенно выставляя вперед руки, чтоб нащупать предметы, на которые можно опереться. При этом глаза широко открыты. Страшно! Даже если это игра (а может, не игра была)... Было и так, что свои стихи предложит послушать, я скажу: «Три прочти», а он читает, читает, потом по второму разу... Вот это и называется «душить стихами», но все же – стихами, а не разговорами о ценах, и то хорошо.

В последние годы говорил мало, медленно. Нервы мои не выдерживали. Мой словопад это выдавал:

– У меня..., – он с минуту молчит.

– Что? Новость: хорошая-плохая?

– Идея...

– Идея – это прекрасно. Какая: твоя, чужая, литературная?

– Была...

– Кто: гостья, родня, из домоуправления, дочь, бывшая жена, мать?

Оказалось: у него была идея дать нам почитать книгу...

Иногда я удивлялась вслух: почему он ни на один день рождения наш не написал ни стихотворения шуточного, ни тоста, а считает себя самым умным-остроумным. Слава мне так ответил:

– Бойтесь показаться простодушным. А для развития ведь нужно быть простодушным. Иначе высокая самооценка – барьер для развития.

Спиритические сеансы Юры, его частое общение с духами сомнительного происхождения – все это утомляло, конечно, нас. А преподносилось как: мы отсталые, а он вот... впереди всех. Иногда Слава позволял себе по телефону и переспросить:

– Это точно Власенко звонит? А может, дух Власенко?

Однажды во время перестройки я в разговоре с Юрой назвала поэтов, которые возникли на страницах журналов только в это время: Седакова, Пригов... Он возмущился:

– Как ты можешь через запятую их!

– Я не через запятую. Я с красной строки каждого, – отбрила я.

А иногда уж смолчу, но потом в записях описываю свое возмущение. «Юра сказал: если можно заказывать, то мне – картофель-фри!.. Я с четырьмя детьми – из последних сил – устраиваю день рождения, а ему еще подай фри! Нет бы мне помочь, а он – заказывает...»

В конце Юра стал агрессивный, носил с собой в портфеле кусок арматуры. После того, как он ударил отца монтировкой, мы его НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ боялись. Я молилась: «Боже, помоги мне... как-то не принимать Юру дома, говорить, что не до него!»

И все же, все же... Много полезных выводов мы извлекли для себя! Во-первых, что алкоголика нельзя поддерживать! Нужно его бросить. Сначала мы это поняли по соседу Сашке, правда. Когда дядя Коля умер, Сашка стал работать, а при живом отце – сидел на его шее. Но случай с Власенко окончательно убедил нас в том, что мы не будем такими родителями, как родители Юры!

Мне Виниченко лет 15 назад еще сказал: с алкоголиками нужно вовремя прекращать отношения. А я по глупости не готова была еще к этому, жалела и прочее. При этом отец Юры все время звонил и говорил нам: «Если бы окружение друзей осудило Юру, он бы бросил пить». А я в это просто не верила. Человек сам все решает. «Я многое в жизни пыталась изменить – даже брала чужого ребенка! И что? Ничего не вышло». В зависимости от обстоятельств я отвечала отцу Юры по-разному. Помню, что последнее мое объяснение было даже резким:

– Некогда нам бегать к Юре под окна с плакатами, осуждающими алкоголизм! Мы сами состарились и нуждаемся в уходе, в лечении, нам не до него!

Само собой, я никогда не поддерживала друга в стремлении пить, но когда он голый лежал после реанимации, бегала – одевала, кормила... А теперь думаю, что в самом деле нужно было тогда прекратить отношения! Я же... еще и обстирывала его, хотя муж запрещал мне это делать. Так я тайно, когда Слава на работе. Цитирую из записей. «Вчера, когда Славы не было, я сказала Юре, чтоб он надел нашу чистую одежду, а его одежду... помог мне выжать, так как у меня болело сердце. Можно сказать, что он сам все почти стирал».

Но и Юра мне часто помогал в чем-нибудь. Умерла бабушка – две пары ее очков мне принес! Еще у него как у инвалида был бесплатный проезд, а я часто не имела денег на билет в трамвае, и тогда Юра выручал (увозил Шуре книгу или привозил мне от нее пальто)... У своего старого друга ксерокопировал мои рукописи, когда просила...

Если честно, то вообще хорошего от Юры мы видели больше! Да, гораздо! Он мог меня утешить при любом глупом расстройстве. Например, я только что прочла, что с детьми нужно сюсюкать. А мы никогда этого не делали! Говорю:

– Детям – оказывается – нужно «у-тю-тю» говорить! У них от этого пищеварение улучшается. А мы с рождения все им Пастернака читали, дураки!

– Ну, может, Пастернак хотя бы частично заменял «у-тю-тю»? – спросил Юра.

Наш последний разговор был закончен перепалкой. Я что-то говорила про смирение, мол, так Бог сотворил, а Юра: «Да уж Бог мог бы для нас получше мир-то сотворить». Ну, понятно, чтоб моря водки плескались... А ведь Бог дал ему все: родителей, образование, здоровье, красоту, ум, а чего еще-то?!

У Юры была любимая фраза. «Так никто и не взял на себя ответственность за совершение Большого Взрыва».

Жалко Юру. Какой был красавец с огромными стрекозиными глазами! Правда, Лина меня тут бы укорила: «У тебя все красавцы!». Но теперь не важно, был ли он на самом деле красив, важно, что в душе много было хорошего у него.

На днях я встретила друга Юры – Борю. Он сказал, что по просьбе отца Власенко ходил на опознание. Но на мониторе был другой (тело уже похоронено). И все же раз за разом мне снится, что Юра жив, нашелся, его военные куда-то увозили на полгода работать. Он долго не пил – сразу видно. Руки не дрожат. И я так радуюсь!

У нас с Юрой была договоренность: если кто-то из нас получит премию, то мы купим друг другу по компьютеру. И я иногда, видя его состояние, говорила: «Тебе купи – ты его пропъешь!»

– Нина, не пропил же я машинку до сих пор.

Да, машинка цела. Верно, не пропил. Но и пропил, уйдя от нее в загул. Ведь был нетрезв, наверно, раз домой дорогу не нашел. Да, не-сознательно, но и сознательно – все мы осознавали, к чему дело идет. И он должен был осознавать. Осиротела машинка, ведь Юры нет рядом с нею... И не только машинка! Как я ждала Юриных отзывов на картины мои! Намажу рыбку, он сразу: «Подари!» Собрал целый аквариум моих рыб (сам так выражался)...

Он много о чертях говорил (видел их во время белых горячек): мол, у чертей тоже водку пьют и прочее. У меня написались недавно стихи об этом:

Мы тебя любили,
Ты нас не любил.
Как же все дружили?
Много было сил.
Мы тебя забыли,
Ты нас не забыл.
Мы вполне грубили,
Ты в ответ шутил.
Черти тебя сбили –
Сам ты их выпустил.
Мы тебя простили.
Ты бы нас простил!

1 июля 2003

Нина Горланова

Властенко (рассказ)

Казалось: ничего не предвещало скандала.

На день рождения моего мужа Юра пришел, как всегда, первым – губы в вечной усмешке. Я сразу стала оправдываться: никаких у меня нет кулинарных традиций...

– Ну уж нет. А колбаса? – он показал на блюдо с бутербродами. – И смотри, Нина: тень от рюмки легла, как окорок – закусим тенью-окороком (быстро наливает вина и выпивает). Катарсис, или тащусь! А ты... чего лежишь, как мадам Рекамье? Ничего своего не можешь придумать, что ли?

Тут моя младшая дочь Агния – от возмущения – прямо зубами открыла бутылку с уксусной эссенцией и обожгла губы. А чего уж так возмущаться – она еще в детстве говорила, что Юре Власенко подошла бы фамилия Властенко.

Я вскочила, соду приложила к лицу дочери, затем сама добавила уксус в селедку и только после этого ответила Юре: мол, прилегла я на пять минут, устала – в последнюю минуту осенило, сбегала на рынок и поменяла костюм сына (стал мал) на пучок укропа!

– А я вообще не понимаю, зачем ты принимаешь такие полчища гостей! Хватило бы четырех, а ты непременно сорок позовешь.

Я уж не стала объяснять, что грядущие гости прочищают мое зрение. Так я не вижу паутину или пыль где-то, а в ожидании друзей словно все мне открывается, и я убираю, мою, чищу.

Юра садится. Я в крик:

– Этот стул расклеился, я его унесу сейчас в детскую.

– Не надо уносить, просто налей мне побольше водки выпить, чтоб я замер и не упал!

Знаю: только после хорошей дозы он смягчится, поэтому достаю из холодильника водку и наливаю.

– А ты, Юра, как увидишь: ангел на картине крыльями замахал – прекращай пить, ладно?

Тут Юра встает и отправляется курить, забыв, что обещал замереть. Стул падает.

– Нина, даже стул упал перед тобой!

Стул, вся наша обстановка – в стиле заброшенного завода, я по тиви видела передачу – якобы это сейчас модно. Так что мы на пике...

– А именинник опять на уроке?

– Да, я уже здесь, – это вошел мой муж – на руках у него наш внук (годовалый) – видимо, в подъезде все встретились.

– А внук критически смотрит на твои картины, Нина, – говорит Юра.

Муж разразился целым монологом к внуку: мол, смотри-смотри на эти картины, потом ты монографию будешь писать о бабушке: «Я познакомился с ее творчеством, когда мне было два месяца – у меня не было слов, чтобы выразить свое возмущение...»

Юра хмыкает: сейчас начнется букумерон. Дело в том, что мой муж – Вячеслав Букур и Юра Власенко – они любой пустяк оживляют своей фантазией, не оставляют его пустяком.

В это время приходит Наденька и вручает огромный портрет Ленина – во весь рост (на холсте – чтоб я разрезала и картины писала на нем).

Юра: зачем разрезать – Агния замуж пойдет, так портрет – в приданое, к тому времени это будет антиквариат.

– Ну, нет, что же тогда получится – по расчету женится на мне будущий муж – ради приданого! – Агния в это время начинает жарить хлеб, чтоб потом натереть каждый кусочек чесноком.

Муж чистит чеснок и поет: «Ах, пожаренный хлебец отодвинет твой конец». Входит Ольга Олеговна:

– О, чтоб мои дети помогли в чем-нибудь, надо на животе ползать до мозолей и умолять... Слава, я тебе Маринину в подарок принесла.

– Ты – Маринину, а я – Марину, – Юра вручает том писем Цветаевой.

Гости наплывают. Киршин принес огромный золотистый свиток, на нем написано «Ты – мой милый горностай». Мы его расстелили в подъезде на лестнице... Но мой сосед по кухне (зело пьющий) смял все.

– Нина, что ты такое ужасное куришь? Запах, как в матросском кубрике!

Муж бормочет: изнутри примерно так видится – вот вчера я пошел в школу, а потом сразу... что это шевелящееся там, в углу? А, это жена и дети...

Я решила эту фразу записать, а он склонился прочесть:

– В глаз! Ты так страстно пишешь, что чуть не выколола мне ручкой глаз! Я б, конечно, потом говорил, что жена в порыве страсти глаз выбила, все б завидовали, а я б гордо ходил с таким глазом, всем показывал – вот какая у меня жена!

Входит Запа (Запольских):

– Приветствую вас, радуги наших дней! Ну, радуги, принимайте подарки!

– Я не хотел, чтоб жена такое название своей книжке давала...

– Да, мы чуть не развелись из-за книжки!

– Нина, из-за книжки можно развестись, но только из-за одной – из-за сберкнижки! (Кальпиди?).

– У нас с женой будет восемь детей, – говорит Запа, закуривая.

– Не говори мне про восемь, а то я чувствую себя неполноценным – у нас ведь только четверо!

...Вот уже последний гость ввинтился в комнату и усажен на стопочку книг. Больше некуда. Гость сей – Боря – коммунист. Он сказал, что десять лет не был в нашем доме.

И это был лучший подарок, подумала я.

Миша начал читать тост:

– Что русская литература в дар приготовила Букуру?

Вальяжная обломовская лень

Мечтою душу грела каждый день...

Видя, что это надолго, Юра не утерпел. Шепча про тостующего «Тяни свою лямку, эстет», он налил водки в салат и стал ложкой его тихонько поедать (ее – водку – попивать). Думал, что никто не видит...

– Нина это вставит в свою алкоголиаду», – шепчет Наденька.

– Я ее закончила. Приснился голос, который приказал закончить.

– Ну, ему виднее! – мгновенно реагирует Юра (он все слышит, оказывается).

– Эта сладкая отравка – в мыслях воспаряет Слава!

– Все вы про Славу! А я хотел бы наполнить (вместо «напомнить»), – сказал Юра, – пора поднять тост за источников именинника, то бишь за его родителей!

– Не спеши, – прошу я, боясь, что он рано отключится.

– ... только слабоумные могут говорить, что «Лолита» – плохой роман!

– Полностью признаюсь в своем слабоумии! – разводит руками мой муж.

– Киндерсы, читайте стихи! – требует Ольга (она не сидит за столом, а всегда бегаёт по комнате).

Во время чтения стихов Юра уходит на кухню, где уже курят некоторые гости. И вдруг я вижу, что они возвращаются оттуда бледно-фиолетовыми.

– Да что же это такое?! Но уйти как – читающие стихи обидятся!

Наконец Света меня из-за стола вызвала:

– Там Юра всем гадости впаривает! Мне сказал, что статьи мои пустые!

Бегу на кухню и слышу, как Юра говорит моей подруге:

– У тебя выросли усы и борода, разве можно так опускаться!

– Юра! – кричу, – Делом займись – чай завари, ты хорошо это умеешь делать. Купили цейлонский – оказался такой мелкий ...

– Если это чай, то что есть пыль? – Ухмыльнулся он.

Юра летом постригся налысо. Сказал, что так стало легче по улицам ходить – никто не пристает (а то наркоманы-подростки приставали, денег просили). Но зимой на улице не видно, что он выглядит, как крутой, однако Юра продолжает брить голову. На самом деле никакой он не крутой – руки «горсточкой».

– Нина, верни мне... мне... этого – я приносил вам его до ре... до ре...

– До революции?

– До ремонта. Лосского том!

– В общем, в конце вечера он упал, и из-под него что-то вытекло. Муж мой сказал: напился со всеми вытекающими отсюда последствиями.

– Только вечер испортил, вслух подумала я. Зачем он гадости говорит друзьям моим! Игорю – что у него жена страшная! А Лине наговорил такого, что она даже пересказывать мне не захотела!

– Кактус – это разочарованный в жизни огурец, – наш сын пытается как-то объяснить поведение Юры (Юра звал Антона – Антонеску, как бы для гармонии с молдавско-румынской фамилией Букур).

– И не будем больше его приглашать!

Пока я думала, как это сказать... вообще не успела сказать.

5 декабря 2002 года – в сильнейший мороз – Юра вышел из дома, и с тех пор его никто никогда больше не видел...

«Как известно, времени и пространства не существует». Это была любимая фраза Юры. Но вот Юры нет, а время и пространство существуют.

Сначала мы – правда – надеялись, что он найдется, но время шло, прошло полгода, еще четыре месяца...

И вдруг все переменялось. Стали вспоминаться не гадости, что он говорил моим друзьям, а наоборот.

– Нина, помнишь, однажды Юра похвалил наш роман (который нам завернули из издательства), и мы потом целую зиму жили этой похвалой! Как медведь лапу сосет зимой, так и мы питались энергией похвалы.

– А сколько сюжетов мы почерпнули из его жизни! Затем... из нашей жизни он сам подсказывал нам сюжеты! То есть я ему что-то рассказывала про свои сны, а он: «Готовый рассказ, неужели ты этого не понимаешь!» (нет, не понимала я, а после слов Юры – написала).

Он был самый читающий, «он создан был, чтоб воздавать»! Понимал все! Я говорила, что писатели должны ему доплачивать за то, что он всех их читает, записывает в записную книжку восторги. Почему же закончил тем, что гадости моим друзьям «впаривал»? Если б знать!..

И нашелся его том Лосского: диван отодвинули во время ремонта, а он лежит там в цельности и пыльности... Сколько книжек он приносил всегда нам!

Иногда начинала скулить: Юры нет, Комина, Кузьмина, Смирин и Сарапулов умерли!

– Надо же – умерли! Хотя обещали никогда не умирать, – муж смотрит на меня, призывая стать разумной.

На почте получаю гонорар. На квиточке написано: «алименты». Сразу остро начинаю жалеть, что нет уже Юры – ему бы показала, он был бы доволен...

Когда случалось, что гонорары долго не шли, Юра говорил: «Писатель работает в тонком плане, там он и получает свои миллионы».

Помню, как Юра возвращал мне журналы:

– В каждом номере есть такие вещи, без которых не знаешь, как бы и жил!

Тогда я его поцеловала: настолько мы родные! Ни ему, ни мне не надо ни машин, ни дач, только журналы! А без них не знаю, как бы и жили...

И на место поставить меня – тоже Юра умел.

– Да я ничего интересного за ней не записала!

– Ну, Нина! Твое суждение о людях поражает! Если бы ты встретилась с Вивеканандой, который при тебе не сказал бы ничего оригинального, ты бы заявила, что Вивекананда – абсолютно неинтересный человек!

Как он учил меня читать Кьеркегора: мол, если представить себя пятилетним ребенком и начать читать, то хлынет смысл в тебя – потоком! (я – правда – не воспользовалась уроком).

Если кто-то запрещал мне записывать разговор, не желая однажды попасть в роман, Юра спокойно произносил:

– Мы все там были, и все снова там будем.

И вот разбираю я письма, чтоб сдать в архив милому Колбасу, читаю в письме Полянской (я тогда боялась сильно, что на выборах победят коммунисты и снова будут лагерь):

«...Нина, успокойся – до лагеря ты не доедешь (умрешь сразу). Кальпиди там немного поживет, но – поскольку будет делиться пайкой с другими, быстро ослабнет, если только его не поддержат урки, которым он будет читать свои стихи. Мы с Юрой сойдем с ума на пересылке. Славу твоего могут не тронуть, как Пастернака. А Киршин пройдет лагерь, выживет и напишет что-то, к лагерю отношения не имеющее».

Пермь. 2006 г.

Владимир Виниченко,
Член Союза писателей России

ПОЭТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ...

Записки доживателя

В предисловии к одной из книг меня представили как поэта, прозаика и драматурга.

Поэтому на встречах с читателями я иногда шутливо представляюсь трехголовым драконом. И это правда, ибо начинал я литературную деятельность как поэт (и, каюсь, продолжаю до сих пор). В Союз писателей (еще СССР, первый членский билет мне подписал забытый ныне классик соцреализма - Георгий Марков) в 1986 году я вступил как драматург, автор нескольких опубликованных и поставленных пьес. А с некоторых пор окончательно *впал в деДство* и стал писать в прозе сказки для детей и бывших детей. Кстати, рекомендация для вступления в союз мне дали вместе с драматургом Михаилом Шатовым два пермских классика, два Льва Ивановича – Давыдычев и Кузьмин. И оба предсказали, что с годами я приду к детской литературе.

Но иногда мне напоминают, что этих голов не три, а четыре, потому что немалую часть своей жизни я отдал публицистике (в основном в прекрасные «лихие девяностые»). Сегодня я предпочитаю называться просто *детским писателем*, потому что дети самые благодарные читатели. Но составители этого сборника все-таки записали меня в разряд поэтов, поскольку я имею нахальство называться поэтом. И даже сумел уверить в этом многих людей, издав несколько поэтических сборников. Преимущественно стихов для детей, поскольку дети более доверчивы.

Выдающийся русский поэт Александр Межиров (а я считаю его таковым, вопреки всем перипетиям его сложной судьбы) когда-то написал: *«А правило, оно бесповоротно, / Всем смертным надлежит его блюсти: / До тридцати поэтом быть почетно. / И срам кромешный после тридцати»*.

Вопреки этому завету, я продолжаю писать стихи уже в пенсионном возрасте, обманывая себя и судьбу. Обманулся я на свой счет еще в юности, ибо, сколько помню себя, всегда «рифмовал». А помню я себя ровно с середины прошлого века, поскольку родился в первый послевоенный год. Нас называли «дети победы». Под знаком ее и прошло все детство. Об этом, став взрослым, написал повесть в стихах «Баллады старого барака». Она пролежала в столе больше двадцати лет и увидела свет только к моему 50-летию в сборнике «Мои родные сред-

ние века». Очень уж не соответствовала суровая правда послевоенных лет требованиям «социалистического реализма». Не могло быть у Победы мрачной тени, а я писал: *«В тени миновавшего мрака. / Не в холоде-голоде, но / Прошло наше детство в бараках, / Как в пашне змует зерно...»*

Биография поэта прежде всего в его стихах, поскольку поэт всегда пишет о себе. Вернее, о мире в себе. Или, если угодно, о мире, преломленном через свою душу. Некоторые из стихов я писал прямо как фрагменты автобиографии, как в стихотворении «НАЧАЛО».

В шесть утра я пробился на свет, / Одолев родовые мученья. / Был обычным, как тысячи лет, / Не предсказанный мой день рожденья. / После тьмы и ночного дождя / Мир для новых трудов просыпался. / Хор по радио славил вождя, / И привычный террор продолжался. / Новоявленный мира жилец, / Я не ведал тревоги и страха. / Между тем в этот день мой отец / Был отправлен на суд, как на плаху. / И на долгие сгинул года, / Только отчество дав мне в наследство.../ Вот такая светила звезда / Над моим начинавшимся детством...

Как герой Мольера не подозревал, что говорит прозой, так и большинство людей не задумываются, что они являются не только свидетелями, но и участниками и творцами истории, считая себя слишком малыми величинами. Той самой большой Истории, которая пишет-ся каждый день, буквально сегодня и сейчас.

Человеку должно быть присуще чувство Истории. Или, говоря проще, чувство Времени. Не то бытовое чувство времени, которое помогает ориентироваться в сутках, а чувство исторической значимости своего времени, которая часто проявляется в повседневной политике. Не столько международной, сколько доморощенной, которую называют внутренней. Эта внутренняя политика складывается из отношений человека с государством при любом взаимодействии с чиновниками, с обществом и даже с соседями.

В студенческие годы, когда меня начали таскать в «компетентные органы» за слишком активный интерес к самиздату (что при советской власти было преступно, но свойственно всем нормальным филологам), меня однажды «настоятельно пригласили» на беседу к высокому обкомовскому чину, курировавшему ВУЗы. Итогом этой беседы стало его глубокое умозаключение о том, что я заражен антисоветскими настроениями. «Когда же они у вас появились? Вы еще так молоды?» Я, не задумываясь, ответил: «Восьмого марта 1953 года».

И это была чистая правда. В этот день я узнал всю правду о своей семье и о своей стране. Это было ровно накануне похорон «великого вожда всех времен и народов». Как известно, пятого марта сообщили о

его смерти и все последующие до похорон дни объявили траурными, запретив развлекательные мероприятия. В том числе и «любимый советским народом Международный женский день Восьмое марта».

А в бараке, где мы жили с мамой в комнатке на две «неполных семьи», траурного настроения не было и в помине. Несколько женщин собрались отметить праздник (то ли 8-е марта, то ли смерть вождя?) и, выпив по стопочке, стали откровенничать друг с другом. Оказалось, что все они были «неблагонадежными», имевшими осужденных по политическим статьям родственников. Тогда я впервые узнал, что мой дед умер от голода на Колыме в 1943 году, а отец не просто «работает на Севере», а мотает срок по 58-й статье. И это была типичная для нашего барака история.

Немного захмелев, женщины завели песню, вполголоса, чтобы не сильно привлекать внимание. Но, когда я, ошеломленный открывшейся мне правдой, вышел в коридор, то в другом конце барака тоже услышал негромкое пение. В смятиении я вышел на улицу и, не помня себя, пошел куда глаза глядят. Но похожие негромкие песни доносились из каждого барака в нашем заводском поселке. «Как они могут петь в такой день?! Ведь завтра будут хоронить Сталина!»

К двадцатой годовщине этой даты я написал стихотворение «Азы», в котором попытался передать свое детское мироощущение. «Я пел хвалу «отцу народов»./ Твердил, как клятву с малых лет, / С благоговеньем и восторгом / Взирая на его портрет. / Там, щуроглазый, доброусый, / Безмерно мудр и в меру строг, / Смотрел, казалось, прямо в душу / Державный Человекобог. / Слепой росток послевоенный, / На свет пробившийся едва, / Я повторял самозабвенно / Чужие льстивые слова. / И в каждом слове и куплете / Я был любовью одержим / За счастье жить на белом свете, / Как солнцем, озаренном им. / В детсадовском нестройном хоре, / Посеве будущей весны, / Мой голос был лишь каплей в море, / Лишь нотой в гимне всей страны. / В те годы песенной присяги / Он впрямь отцом казался мне... / А мой отец «скрипел» в ГУЛАГе. / И дед пропал на Колыме. / Как долго нас учили годы, / Сметая череду вождей, / Незыблемым азам свободы: / Отцы даны лишь от природы, / И нет богов среди людей.»

Вот так в семь лет я ощутил хватку своего сурового времени. История буквально взяла меня за горло с первого дня появления на свет. Летом 53-го года мать отправила меня в деревню к бабушке окрепнуть перед школой. И тогда я был поражен ее нищетой и неиссякаемой жизненной энергией. У нее в избе не было ни электрического света, ни радио. Не было и спасительного для колхозников огорода, поскольку

она не была членом колхоза, а была женой «политического». Только были две грядки с луком и чесноком в палисаднике под окнами.

Ее приусадебный участок отдали жившему рядом колхозному бригадиру Медведеву, которому он в принципе не был нужен и потому использовался как домашний лужок для своих двух коров и телят. Поскольку детей у бригадира не было («Бог знает, кому посылает!» говорила бабушка), то выпить молоко от двух коров он со своей малой семьей физически не мог. Все излишки они перерабатывали на масло, которое сдавали в кооперацию, получая столь дефицитные в деревне живые деньги. А сывороткой поили телят и частично меня. Я думаю, что старуха Медведеха тайком от сына таскала мне сыворотку для очищения своей совести.

А бабушка жила тем, «что Бог пошлет», вернее, лес. Она собирала и сушила все лето ягоды, грибы и травы, драла ивовую кору на сдачу заготовителям. Лесными дарами она делилась с односельчанами, которые называли ее травницей и знахаркой. За это получала от них сильную мзду в виде картошки, яиц и молока. А на зиму она уходила в няньки, в какую-нибудь многодетную семью, где помогала по хозяйству и водилась с детьми.

Еще у нее была крошечная пенсия за погибшего в войну сына. Она называла ее «мои две поллитры водки без посуды» (ровно сорок рублей). Да еще изредка посылали небольшие переводы две дочери, сами воспитывавшие без отцов по сыну. (У тетки муж погиб на фронте, а мой по известной причине переводов не мог посылать.)

После открывшейся мне правды про отца и деда я стал часто спрашивать бабушку про «старую жизнь». Ее рассказы были резким контрастом по сравнению с «жизнью колхозной». Семья у деда была зажиточная, поскольку был он мужик работающий и не пьющий. Когда их раскулачили в начале тридцатых, то лишили всего имущества. Часто, идя по деревне, бабушка показывала мне на некоторые дома: «Вот этим отдали наш сепаратор, этим – нашу швейную машинку, этим – самовар, этим – овчинные тулупы... Только чужое-то добро все равно им впрок не пошло!»

Бабушка была главным человеком моего детства. Сказки, песни, мудрые приговорки и вся ее образная речь привили вкус к слову и подтолкнули на путь сочинительства. Задолго до Солженицына я услышал от бабушки мудрую поговорку «Волкодав прав, а людоед – нет». Еще мне на всю жизнь врезалось в память ее поучение: «Ищи все причины не в судьбе, а в себе». Про деда она говорила, что язык его до тюрьмы довел: шибко любил он сочинять стишки да частушки.

В прочитанном в 90-ые его уголовном деле я нашел косвенное подтверждение этому. Одним из обвинений ему была «антисоветская пропаганда против колхозов»: «Отрежь мне х... и нос – не пойду в колхоз!», – записал в протоколе не очень грамотный следователь. Наверное, любовь к стихам и сочинительству мне передались генетически от него. В память о нем к его столетней годовщине я написал стихотворение «ЮБИЛЕЙ».

«Когда под конвоем ушел мой дед / В тридцать седьмом в забвенье,
/ Не дотянул он девять лет / До моего рожденья. / Крутые ревнители
сталинских догм / Не дали нам встретиться с дедом. / И горький остался
памяти долг / Мне, живущему следом. / Досталась от деда в наследство
мне / Всего одна фотография. / Табличка с номером на Колыме / Стала
ему эпитафией. / В истории наших побед и бед / О нем ни буквы, ни звука.
/ Ему исполнилось нынче сто лет. / И помнят о том два внука. / Мой дед на
коленях меня не качал / И песен не пел о Гражданской. / Но бьетса начало
моих начал / Под робой его арестантской. / Я память от деда к сыну тяну,
/ Как дерево соки в вершину. / Стихами и стопкой его помяну / В октябрьскую
годовщину. / Чтоб стал его юбилей торжеством / Крестьянского древнего
рода. / Пока живу, буду горд родством / С безвинным «врагом народа».

Еще бабушка активно пыталась приобщить меня к православной вере, поскольку была глубоко верующим человеком. Она первой рассказала мне некоторые библейские истории. Бывая в соседнем церковном селе, она всегда крестилась на поросшие осиновыми побегами купола заброшенной церкви. «Бабушка, там же теперь не церковь, а склад, – удивлялся я. – Церковь не в бревнах, а в ребрах, – отвечала бабушка». И всегда заставляла меня креститься и читать «Отче наш», садясь за стол.

Крестила она меня еще в младенчестве, для чего специально приезжала в город. Я послушно исполнял все ее требования до восьми лет. Но во втором классе меня приняли в пионеры, и, приехав летом к бабушке, я отважно отказался читать молитвы и креститься. «Бог с тобой! – к моему удивлению, смиростивилась бабушка, – вырастешь – сам разберешься».

Этот урок толерантности я усвоил на всю жизнь. И в память о бабушке в конце восьмидесятых годов активно помогал инициативной группе верующих отвоевать первую церковь в Перми – Успения Богородицы на Разгуляйском кладбище. Писал статьи, помогал составлять ходатайства в разные инстанции и даже ездил с ними в Москву на прием к Уполномоченному по делам религий Харчеву.

В том году и была написана моя «МОЛИТВА АТЕИСТОВ».

Господи, отвергнутый в гордыне, / отпусти прощение наперед // и прими под власть свою отныне / блудный возвратившийся народ. / На алтарь заемной веры новой / вознеся кумиров на крови, / мы забыли праведное слово – / заповеди тихие твои. / Из камней осиротелых храмов / по костям истории родной / мы мостили столько лет упрямо / путь в недостижимый рай земной. / Как сыны Израиля в пустыне, / пробуждав полвека без звезды, / мы прозрели, оказавшись ныне / на краю погибельной беды. / И с бессильем загнанного зверя / всех врагов смертельных возлюбя, / сомневаясь и надрывно веря, / мы призвали, Господи, тебя!

А потом вместе с кандидатами в депутаты разных уровней проводил первые субботники по восстановлению заброшенного храма. У меня до сих пор хранится черно-белая фотография, на которой мы вместе с будущим народным Депутатом СССР и представителем Президенту России Сергеем Калягиным расчищаем от снега крышу Успенской церкви. А на другой фотографии запечатлен момент организованного мной митинга верующих трех общин (православной, старообрядческой и мусульманской) с требованием возврата культовых зданий. Особенно упорно сопротивлялась тогдашняя пермская власть возврату мечети, в которой недавно провели реставрационные работы и приспособили под областной архив КПСС. Но, «как ни сопротивлялась, а все-таки померла»...

Как писали раньше в автобиографиях, свой трудовой путь я начал в шестнадцать лет на Мотовилихинском заводе (имени Ленина, как назывался он в те годы) в качестве слесаря-электромонтажника. Мы с Леонидом Юзефовичем (моим другом со школьных лет) почти одновременно пришли на завод и в литературное объединение при заводской многотиражке «Мотовилихинский рабочий». Там и опубликовали первые стихи. Заработав трудовой стаж, оба поступили на филфак. Правда, через год я перевелся на заочное отделение, поскольку начал работать корреспондентом на пермской студии телевидения.

А весной на втором курсе мы с Юзефовичем затеяли выпускать машинописный журнал «А3» и привлекли к этому начинанию Анатолия Королева, Василия Бубнова и несколько девушек-однокурсниц. Выпустить удалось только два номера. Третий нам «настоятельно посоветовали» не выпускать, хотя он уже был собран, и в круг авторов вошли будущий академик Игорь Кондаков и Владимир Пирожников (в будущем писатель-фантаст и литературный критик).

Филфак всегда был «рассадником нездоровых настроений». Таково свойство свободного слова, которое во все времена стремилось к правде, вопреки идеологическим установкам и запретам. А юные по-

эты во все века оставались андерсеновскими мальчиками, указывающими королям на их наготу. Мы еще застали самый конец хрущевской оттепели, да и закончилась она не в один день в октябре 64-го, а продолжилась еще примерно с год. И тогда началась эпоха «расцвета самиздата», когда все, что невозможно стало опубликовать, ушло в машинописно-рукописное распространение.

В 1968 году я впервые попал под колпак КГБ за распространение самиздата. Это были уже не запрещенные стихи Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама и Коржавина или романы Солженицына. А документы диссидентского движения сопротивления: статьи и письма протеста против закрытых политических процессов, обращения к гражданам страны известных писателей, историков, актеров, известная ныне всем «Хроника текущих событий» и «Хроника чехословацких событий».

«Пражская весна» вдохнула в российское общество надежды на возможность либеральных политических реформ в СССР. Это и напугало советское Политбюро и его серого кардинала Суслова вкупе с несостоявшимся поэтом и верным чекистом-ленинцем Андроповым. И они начали «закручивать гайки» во всю мощь репрессивной машины. Противопоставить ей советская интеллигенция могла только моральное сопротивление и свободное слово. А свободным оно могло быть только в нелегальном распространении машинописных текстов (часто на папиросной бумаге, чтобы увеличить количество экземпляров в закладке пишущей машинки).

Как раз в 1968 году я вышел на прямые московские контакты по распространению самиздата, познакомившись в Москве с некоторыми активными диссидентами. Среди них был и один из первых редакторов «Хроники» Юлий Ким. К тому же у меня была трофейная немецкая пишущая машинка, доставшаяся мне от дальнего родственника. И я стал активно перепечатывать самиздатовские тексты и распространять их, ибо считал, что чем больше людей узнает правду о советской истории и современной действительности, тем скорее наступит новое время свободы.

Разветвленная сеть осведомителей быстро выявила юного революционера. В один прекрасный день ко мне домой приехал сотрудник КГБ (кстати, бывший выпускник филфака) и вежливо, но очень твердо «пригласил на беседу» в известное здание на улице 25 Октября, прозванное в народе «Три богатыря». (Название это ему дали за три венчающих его башенных купола). На их профессиональном языке это называлось «профилактировать». Вел я себя с чекистами, как храбрый портняжка, еще не представлявший всех последствий своего «безумст-

ва храбрых». «Профилактика» не помогла. С работой на телевидении (и вообще со всякой работой) пришлось надолго расстаться, а отсутствие работы стало основанием для отчисления с заочного отделения. Таким образом весной 1970-го года мне пришлось расстаться со студенческой отсрочкой и на два года примерить кирзовые солдатские сапоги в стройбате. Кажется, именно в стройбате я написал стихи про «ЧУЖОЙ СОН».

Один и тот же сон чужой / Меня преследует упорно: / Шаги на лестнице ночной – / И в дверь звонят фигуры в черном. / Как будто то пришли за мной / Послы 37-го года, / Чтобы прервать мой срок земной / Дежурным бредом «враг народа»./ Я просыпаюсь весь в поту / Но до конца себе не верю. / И вслушиваюсь в темноту: / Какой там нынче год за дверью? / И размышляю без конца: / Чей сон опять меня наведаль? / Оговоренного отца / Или замученного деда? / Давно «Вождя народа» прах / Обрел в земле покой непрочный, / Но в наших жилах дремлет страх / Перед чужим звонком полночным. / Пока почетным палачам / За кровь не воздано сторицей, / Их тени бродят по ночам / И время может повториться. / Сомкнется в мертвое кольцо – / И сон продолжится воочью... / Я даже знаю их в лицо, / Тех, кто придут за мною ночью.

Восстановился я на филфаке уже через несколько лет «карантина». Правда, филфаковский диплом мне пригодился всего один раз в жизни: для поступления на Высшие театральные курсы при ГИТИСе. (А диплом об окончании курсов не пригодился мне ни разу). Но еще долго в спину мне иногда посылали змеиное шипение «Диссидент!» Я ничуть не огорчился, поскольку это была чистая правда. Но, отказавшись от «революционных» методов, я перешел на легальные подрывные. В 1976 году я создал на базе Дома журналиста городской клуб книголюбов, где с участием лучших филологических умов университета и пединститута, продолжались посевы свободной литературной мысли. Я стал активистом Всесоюзного общества книголюбов, и по его линии мы приглашали в Пермь многих известных писателей. С одним из них – знаменитым историческим романистом Юрием Давыдовым – я много лет поддерживал дружеские отношения.

Клуб проработал без малого десять лет и возродился с началом «перестройки» в форме дискуссионного клуба «Диалог» весной 1988 года, после публикации знаменитого антиперестроечного манифеста Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Поскольку я к тому времени уже был членом Союза писателей, то есть достаточно независимым человеком, то сознательно взял на себя роль «ледокола».

В «Диалоге» зародились организационные зачатки будущих политических партий и общественных движений в Перми. Меня увлекла

идея создания пермского «Мемориала», который и организовался в декабре 1988 года. А в январе 1989-го мы с журналистом Александром Калихом приняли в Москве участие в создании Всесоюзного «Мемориала». Я считал это своим личным долгом перед памятью своих репрессированных предков и тех жертв политических репрессий, которые еще были живы к тому времени. А таковых в нашей Пермской области был добрый десяток тысяч.

Пять лет я был одним из сопредседателей пермского «Мемориала». В те годы он был неформальной, но довольно влиятельной политической силой. Мы, например, задолго до принятия российских законов добились на местном уровне некоторых льгот для жертв политических репрессий, стали публиковать в газете «Пермские новости» списки невинно репрессированных, провели в июле 1992 года первый съезд узников пермских политических лагерей, один из которых стал впоследствии знаменитым музеем политических репрессий «Пермь-36».

Кстати, в сентябре 1990-го мы с группой журналистов создали первую в области независимую газету «Пермские новости», которая в лучшие годы достигала тиража в 140 тысяч. В ней я проработал восемь лет, написав (по моим подсчетам) более двухсот статей в поддержку демократических реформ. Театром в те годы я почти не занимался, поскольку репертуар заполнили коммерческие поделки, а финансирование заказов на новые пьесы прекратилось. Да и все мои помыслы и силы захватила публицистика, точнее политика, которая была увлекательней любой драматургии.

Я был парламентским корреспондентом газеты на съезде Народных депутатов и в Верховном Совете РФ, близко наблюдал кипевшие в них политические страсти. Белый дом в те годы я изучил, как свой собственный. Приходилось близко общаться со многими звездами политики. А депутата четырех созывов – пермяка Виктора Похмелкина – я и все члены «Мемориала» считали просто «своим» постоянным делегатом в Законодательной власти России.

Это были годы подлинной свободы слова, которой, увы, мы недолго упивались. Со сменой президента России начался демократический отлив. 90-е годы объявили «лихими», и почти все провинциальные СМИ вернулись к привычному сервильному состоянию. В общем, происходит обычная для России «смена вех», которую по привычной для России парадигме ученые и политики называют «заморозки». Я же по своей поэтической шкале называю наступившую эпоху началом очередного краткого средневековья (по меткому афоризму Станислава Ежи Леца «У каждого века свое средневековье»). На моей жизни это

уже третий цикл после сталинского и брежневского (точнее, сусловско-андроповского). Может быть, поэтому я не воспринимаю так драматично наступление новой политической реакции. Тем более, что пока хотя бы в стихах я могу называть вещи своими именами и даже доводить их до общественного внимания. Эти чувства и мысли я уже однажды выразил в программном стихотворении

«МОИ РОДНЫЕ СРЕДНИЕ ВЕКА»:

Мои родные средние века, / Тянувшиеся два десятилетия, / Из современников наверняка / Не каждый ощутил или заметил. / В мои родные средние века / Все было, как всегда на белом свете: / Молчал народ, покорный жожакам, / Дряхлели догмы, подрастали дети. / И слабо освещали полумрак / Случайные костры воображенья. / И все же жизнь гудела, как кабак, / Творя в умах неясное брожение. / В мои родные средние века / Святая инквизиция радела / Инакомыслящим еретикам, / Чтоб слово их увенчивалось «делом». / В века родные средние мои / Я был подвергнут каре плутоватой: / Изгнанию со студенческой скамьи / На пару лет в чистилище стройбата. / И силой образумленный юнец, / В неравном споре с беспросветным веком / Я предпочел вино, а не венец / И стал «нормальным» средним человеком. / И все-таки душой не покривлю – / Я вспоминаю с грустью и любовью / Надломленную молодость свою – / Родимое мое средневековье, / Где я свою свободу сочинил, / Где я отважно лбом о стену бился, / Где я во тьме надежду сохранил – / И в будущее все-таки пробился.

Поэзия и политика стали двумя рельсами, по которым изначально покатила моя жизненная и творческая судьба. Хотя ныне я полностью отошел от активной политической деятельности, отдавшись целиком литературе. Возраст требует сбавить прыть и подумать о вечном. А вечна в этой жизни только смена поколений. С начала двухтысячных я занимаюсь в основном детской литературой, издав уже восемь книг для детей. Началось все с книги «Ваше мурлычество и все аномальчики» (Сказки Смешанного леса). Рассказывать о ней долго и непросто, поэтому приведу только отрывок из предисловия к ней.

СТРАННАЯ СТРАНА АНОМАЛИЯ

На свете много странных стран. НА ЧУЖОЙ ВЗГЛЯД ЛЮБАЯ СТРАНА СТРАННАЯ. Поэтому и слово «СТРАННАЯ» образовалось от слова «СТРАНА». А самая странная из всех стран – АНОМАЛИЯ. Но о ней не все знают. Только те, кто читал эту книжку.

Расположена Аномалия в Атлантическом океане между Австразией, Африкой и Европой и тянется от берега моря до самого Нового года. Круглый год там стоит лето, а все остальное время – утро.

При этом на небе одновременно светят и солнце, и луна, и звезды. Такой вот странный факт.

Вся Аномалия покрыта СМЕШАННЫМ ЛЕСОМ. Его сокращенно называют СМЕШЛЕСОМ. А в нем все невероятно смешалось. На березах растут яблоки, на елках – бананы, на соснах – финики, на липах – сливы, а на пальмах – зеленый горошек и цветная капуста.

И в этом Смешанном лесу живут очень странные звери – аномальчики и аномалочки. Или, проще говоря, разные помеси, такие как Тигрова, Бегенот, Уткопес, Мухлон, Щурел, Свингвин, Тюлань. Кенгурак, Ежутка, Воробелка, Козаяц, Лягусьи Кротодил. Вот почему эта страна и называется АНОМАЛИЯ.

В этой стране свой аномальский календарь, в котором дни недели называются совсем не так, как у людей: полудельник, вздорник, сбреда, чудверг, спятница, любота, воспаренье. А названия месяцев каждый год меняются. Например, один год они называются: юнварь, всевраль, кошмарт, капрель, зимай, поюнь, смеюль, травгуст. стихабрь, грустябрь, сноябрь, дикабрь. А на другой год по-другому: гулянварь, блинварь, цветябрь, игрунь, рисунь, танцуль, смехабрь, лентябрь, трудябрь, гостябрь, дождябрь. Такой вот странный календарь. Но вы уже поняли, что на чужой взгляд любая страна кажется странной...

Приложением к этой книге стал сборник «Песни Смешанного леса», для которых написал музыку композитор Виктор Архангельский. И тут уж сам бог велел сделать инсценировку и поставить спектакль-сказку для детей. Что я и сделал в созданном авторском театре «СМЕШЛЕС» с режиссером Мариной Оленевой и студентами актерско-режиссерского отделения Института культуры и искусства. Я назвал ее весело и пугающе «Не ешьте друга на завтрак». С этим спектаклем мы выступали три года в воскресном театре-кафе, а потом выиграли грант на конкурсе социальных проектов «Лукойла» и летом объехали с гастрольями половину Пермской области. Вот так в конце жизни у меня сошлись воедино поэзия, проза и драматургия.

А потом пошли сборники стихов для детей. За один из них «День дарения или Добро побаловать» в 2012 году я получил всероссийскую литературную премию имени П.Бажова и теперь с гордостью называюсь «бажовским лауреатом».

В книгах для детей я исповедую три главных принципа: поучение, развлечение и воспитание, но стараюсь всемерно сдобрить их юмором. Для иллюстрации приведу несколько стихов.

БЛИНОПЕК

У Гаврюшина из глотки, / непонятны и смешны, / как с горячей сковородки, / с языка летят блины. / Он мальчишка от природы / не

болтливый, но чудак, / и любые эпизоды / пересказывает так. / «— Я вчера гулял, блин, в парке, / вдруг бежит навстречу мне, / блин, огромный пес-овчарка, / шерсть, блин, дыбом на спине. / Подбежал ко мне, блин, близко / и, блин, грозно зарычал. / Ну а я присел, блин, низко / и, как бык, блин, замычал. / Пес, блин, сильно удивился, / хвост поджал, блин, и ушел. / Вот такой, блин, получился / интересный, блин, прикол. / У доски Гаврюшин этот / в целом верно отвечал, / но при этом все ответы / он блинами уснащал. / — Семь прибавить, блин, тринадцать, / а потом, блин, три отнять. / Будет ровно, блин, семнадцать. / Это просто сосчитать. / Он в комедию сплошную / превращал любой урок. / И ему за речь смешную / дали кличку «Блинопек». / И тогда решила мама: / — Сколько скажешь «блинных» слов, / столько вечером тем самым / на-стоящих съешь блинов. / — Я, — ответил сын,— согласный. / Я блины люблю, блин, есть. / Договор такой прекрасный / разве может на-доеть? / В воскресенье посчитала / мама «блинные» слова. / Их ни много и ни мало / вышло восемьдесят два. / Вот за стол Гаврюшин сел / и блины охотно ел: / с маслом, с медом и сметаной / поглощал их неустанно. / Ел, ел, ел, ел... / А потом вдруг заревел: / — Больше есть блины не буду... / Слово «блин» навек забуду! / Есть немало слов подобных: / не одно, увы, не два. / До чего же несъедобны / эти «блинные» слова!

Или такое, которое я называю из филологического цикла. Оно родилось из оговорки моего младшего внука Пашки.

«СТАРУХ СО СТАРИКОЙ».

Жили-были старух со старикой / В шалаше у веселой реки. / Был старух музыкант превеликий, / Целый день он на скрипке пиликал. / А старика пекла пироги. / Между прочим, с разной вкусницей. / Рыжий пес у них нежно мурлыкал. / Поросяенок протяжно мычал. / Как собака, барашек рычал. / А козел голосисто чирикал. / Только кот недоверчиво хмыкал. / Но, заметьте, никто не молчал. / Был старух небольшого роста, / На вершочек выше цветочка, / И старике даже с пенечка / Доставал до груди едва. / А была она ростом точно / Метра три. Ну, может быть, два. / И старух взбирался на бочку, / Чтобы чмокнуть старику в щечку / И шепнуть дорожному дружочку / Очень ласковые слова. / И старике эти слова / Были сладостней, чем халва. / Всем делились они пополам, / Всякой радостью, каждым кусочком. / И, гуляя по летним лугам, / ворковали, как два голубочка. / И плели друг другу веночки, / воздавая хвалу богам. / А когда старух уставал, / Он, свернувшись теплым клубочком / И, накрывшись ее платочком, / На коленях старики дремал. / Но не больше, чем полчасочка, / А потом, как птичка, вставал. / Все соседи над ними хихикали, / Иногда даже пальцами тыкали: /

– Посмотрите, что за курьез! / Но веселый старух со старикою / Никогда не грустили, не хныкали / И любили друг друга до слез. / Так прожили они, не печалясь, / Триста лет в шалаше у реки... / Вот какие вещи случались, / Если правилам вопреки / Люди суффиксами менялись. / В мире всякие есть чудачки... / Ну, а вам такие встречались?

Приятно было узнать, что некоторые мои детские стихи учителя используют как пособия на уроках. Например, к теме омонимы:

«ДОГАДАЙКА»

Косил косой косой косой / траву, покрытую росой, / в родном лесу сосновом... / А кто рассказ не понял мой, / пусть помотает головой / и прочитает снова. / Косил косой косой косой / траву, покрытую росой, / на солнечной лужайке... / Вы догадались, кто такой / был тот загадочный Косой? / Конечно, это... Зайка! / Какой косой косил? Вот тут / двух мнений нет, конечно. / Не той, что из волос плетут / в тугой красивый длинный жгут, / а той, что в кузнице куют – / стальной, остроконечной. / Теперь ответьте: почему / притом нужна была ему / коса совсем косяя? Да потому, что в том лесу / Трава была... какая? Неправильно – густая! / Итак, читаем снова. / Косил косой косой косой / траву, покрытую росой / в родном лесу сосновом... / А кто рассказ не понял мой, / Тот пусть мотает головой. / и все читает снова. / У этих строк секрет простой: / три смысла есть у слова... / Какого? Правильно – косой!

Для развития речи и артикуляции у детей я сочинил целую художественную методичку стихоговорок и языколомок. «ЕСТЬ НА СВЕТЕ ВРИЛИПУТЫ». В нее вошли стихи на все согласные звуки алфавита. Эту книжку охотно используют учителя и родители. Например, для разработки звука шэ я сочинил веселое стихотворение «ШВЕЯ-СКОРОСПЕШКА».

Швея шила шубу шилом / из шикарной шиншиллы. / Только шибко поспешила / и ошибку совершила. / Ширину приуменьшила – шика шубу всю лишила. / Шесть толстухек насмешила. / Шиш за это получила.

Иногда я пытаюсь усложнить задачу и включаю в стихи элементы математики. Как например, в стихотворении «СТАРУШКА-ВОСТРУШКА» (за(в)нимательная задача)

У резвой старушки-вострушки / в кривой развалюшке-избушке / на правом краю деревушки / был 1 каравай с горбушкой / и 11 круглых краюшек, / 22 ватрушки с петрушкой, / 33 пирога рядом, / все с грибами, один с творогом. / 44 блина в кружочек / и к ним сметаны горшочек. / И еще 55 пряничков – / все для милого сына Ванечки. / А еще 66 пампушек, / 77 маковых сушек, / 88 галушек / и 99 плюшек. / Но голодному вечно сыночку / это все на четыре глоточка. / Сколько же

пышных ватрушек, / караваев и вкусных горбушек, / пирогов, блинов и краюшек, / галушек, пампушек и плюшек, / а так же сушек и пряничков / съел прожорливый Ванечка? / Четыреста девяносто шесть! / А сколько ты можешь съесть?

А случаются просто ненавязчивые дидактические стихи, как например, «ПРАВИЛО ПРОГУЛКИ»:

Если вы гуляете в лесу, / редко встретить можете лису. / Но гораздо чаще встретишь белку. / Или просто птицу-свиристелку. / Можно встретить изредка зайчишку. / И всегда – трудягу-муравьишку. / Но итоги этих встреч случайных / иногда для муравья печальны. / Страшно муравьишке жить на свете. / Для него гиганты даже дети. / И, гуляя по лесу, друзья, / помните всегда про муравья!

Как сказал когда-то Виктор Гюго, «Мыслящего человека узнают по благоговейному отношению ко всему живому». И это отношение складывается с детства. Его я и стараюсь заложить в своих юных читателей, первыми из которых (а иногда и соавторами) становятся четверо моих внуков. Семья, дети и внуки составляют главное содержание и счастье моей сегодняшней жизни. Как говорил известный киногогерой, «Хорошая жена, хороший дом – что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?»

Беда лишь в том, что домом своим я по-прежнему считаю не только свою квартиру или дачу, а всю Россию. А она снова втягивается в замкнутый круг своей недоброй истории, актуализируя мои старые диссидентские стихи...

ПОЗДНЯЯ СВОБОДА: Становится яснее год от года, / Когда осели пыль и пыл борьбы: / С приходом незаслуженной свободы / Свободней не становятся рабы. / И песнею свободного народа / Становится привычный стон мольбы. / Когда приходит поздняя свобода, / Свободней не становятся рабы.

РУССКАЯ ТРИАДА: Сквозь войны, смуты, перестройки / С неотвратимостью судьбы / Россию тянет та же тройка: / Бояре, стражи и рабы. / И под трехцветным новым флагом / Царит, как прежде, на Руси / Незыблемый закон Гулага: / Не верь, не бойся, не проси.

МОЯ РОССИЯ: Родина – холодная земля, / Давшая приют случайным всходам, / Тягостно просторна, как петля / На гортани своего народа. / Затопив тоскою оком, / Разметалась в горе и бессилье / Имя позабывшая свое, / Кровью опоенная Россия. / В рай земной ведомая штыком, / Многотерпеливая рабыня, / В бунте опьяняющем, слепом / Сокрушила все свои святыни. / И лепечет «Боже, Сохрани!» / На обломках попанного духа, / Словно доживающая дни / Нищая забытая старуха. / Кто же ты – ненужный черновик / Древнего великого творе-

ня? / Или впрок забытый материк / Для рывка иного поколения? / Но каким бы ни был жребий твой, / Словно крест, приму его на плечи. / Волею природы и судьбой / Мы с тобою связаны навечно. / Дай же сил мне, Господи, стерпеть / Роль свою – в родной семье уродом / Вместе жить, а выйдет – умереть / С этим неприкаянным народом.

Контрасты сегодняшней жизни не дают почитать на лаврах, но все чаще напоминают бессмертные Некрасовские строки: «Кто живет без печали и гнева, тот не любит Отчизны своей». А поводов для печали Отчизна дает все больше и больше. И, как говорится, «за державу обидно!» Можно было бы убаюкать себя хрестоматийным утешением «Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть». Но я придерживаюсь своей формулы: «Коли стал дедом, не прячься под пледом».

История событиями злободневной политики снова властно стучится в дверь, напоминая, что если ты не хочешь заняться политикой, она займется тобой. Как говорил один русский классик, «Чтобы России стать нормальной страной, нужны всего два непоротых поколения». Мы не дали встать на ноги даже одному, а его уже снова пытаются пороть. Вот почему я считаю своей жизненной задачей на весь оставшийся жизненный срок воспитание нормального свободного поколения и делаю это по мере своих способностей. Например, всемерно распространяя свою сказочную звериную «Таблицу уважения» из книги про аномальчиков, которую для этого даже издал массовым тиражом в виде веселой художественной открытки: «Одиножды один – не пыжись, как павлин. / Одиножды два – выбирай слова. / Одиножды три – с другом не хитри. / Одиножды четыре – живи со всеми в мире. / Одиножды пять – стремись других понять. / Одиножды шесть – нельзя соседа есть. Одиножды семь – улыбайся всем. / Одиножды восемь – совет у старших спросим. / Одиножды девять – старайся честно делать. / Одиножды десять – все надо трижды взвесить.

С годами всякий нормальный человек умеряет юношеский оптимизм (или, напротив, пессимизм) и становится реалистом. А чувство реальности давно продиктовало мне такие строки: «Быть может, все наступит в свой черед: / богатство и законность, и свобода. / Но движется история вперед / со скоростью прозрения народа...

В НЕБЕ, ВЫПАВШЕМ ИЗ ГНЕЗДА

Гонщик-лешегощик

Филолог-приготовишка бодался во мне сызмальства.

Выхожу я за ручку с родной теткой из нашего двора на Кирова, а там – по мелким земляным впадинам, по сколотым булыжникам лихо гонит увалистой улочкой шумный и страшный мотоциклист, яростно приплясывая на своем железном попрыгунчике. Тетка среагировала на него: «Едет на лешегоне, только башка закидывается».

Лешегон с необыкновенной живостью испарился за зданием суда на углу, там, в крепдешиновом тумане 50-х, а словцо, изобретенное теткой, осталось.

Диковинная узорчатость простонародной речи росла прямо под окнами нашей коммуналки.

Филолог-приготовишка вылезал из меня, как солнечный луч из-за домашней занавески, как слабый огонек из фитиля керосиновой лампы на общей кухне, как оживший плюшевый мишка из трехэтажного детского универмага, забитого мертвыми игрушками.

По вечерам мой папа, инвалид еще недавней войны и веселый стихотворец-импровизатор, с трогательным вятским завыванием читал мне русские сказки. Не умея читать, сам же я сосредоточенно приходил в агитпункт 21-й школы (через два дома и через дорогу от нас), где притворно, **якобы по-взрослому**, читал журнал «Огонек» – по жирному свежему запаху типографской краски. Домашним наказанием мне было – по причине частого стояния в углу – чтение по легким трещинкам на неровной серой стене, а во дворе – по рассыпному живому алфавиту, черным блестящим жукам, барахтающимся за отвороченным отсыревшим кирпичом по периметру клумбы с маргаритками. Жуки, трещины, типографские знаки, запахи, живые литеры с лапками – странно, но уроки универсального чтения дали свой результат.

В первом классе я уже притворялся, что не умею читать, чтобы не идти вразрез с прилежной школьной хронологией (раннее дошкольное всезнайство не поощрялось). Зато дома, прячась от родителей, читал по ночам при свете маленькой настольной лампы-грибка, наглухо укрывшись одеялом. Старшая сестра язвила: «Вот расскажу про тебя!» А я прочитал ее учебники и записался в городскую библиотеку – а там катакомбы, умные штреки, углезалегающие пласты книг, хоть вагонетками выкатывать. И я выкатывал. Приносил в растянутой авоське по несколько тяжелых книг с огромно выпирающими на волю углами

– на неделю хватало. Библиотекарша сначала снисходительно покачивала головой, как мерно тюкающий метроном, проверяла, все ли прочитал, потом удивлялась, потом метроном с дымчатым начесом и волнистым гребешком в волосах тюкал все реже и вовсе заглох.

Вот так, по-нашему, по-шахтерски.

По-лешегонски, значит.

Ночь длинных гвоздей

Все эти предварительные дофилфаковские опыты завершились тем, что в некую отдельно взятую чудесную ночь с весны на лето, с девятого класса на десятый, у меня потоком пошли стихи – трубу прорвало. Сантехника не вызывали, поэтому поток продолжался. Выпускное школьное сочинение я написал исключительно в стихах, чем обескуражил одноклассников, они только перешучивались между собой и сочувственно улыбались мне, как над постелью тяжелобольного. Скоро литературной наковальной стал для меня часовой завод – среди трех десятков учеников токаря я оказался самым тупым и не сдал экзамен на самый низший разряд, по причине резкой смены планов. Зато за семь месяцев выточил на станке под тыщу стихотворений, пока не поврвал палец (мастер участка поменял заготовку на заранее отрегулированном карусельном станке и не предупредил меня). Тогда папа по родственному благу устроил меня к себе на строительный заводик – там я носил на плече ящик с гвоздями через весь цех, сколачивал каркасы для прокатных перегородок, научился забивать 4 гвоздя одним ударом. По ночам в бытовке читал Лермонтова. Кавказец из стройбата, мантуливший по соседству, пришел туда, нагло расселся и воткнул ножик в стол. На следующий раз мы с напарником пришли, жонглируя длиннющими заточенными гвоздями. Больше никаких кавказцев мы в нашей бытовке не видели.

Оставалось неизбежное – поступить на филфак.

Синее небо и красные носки

И вот я в распахнутой световой синеве и осенней теплыни университетской аудитории в географическом корпусе. Первое занятие (по-моему, Гашева что-то говорила, а потом Станкеева вела литвед). Первые впечатления, что я внезапно оказался в какой-то другой **Перми, может**, в другом времени, с другим русским языком.

После занятий мы с ребятами-однокурсниками не расставались, шли в общагу-«восьмерку» или закрывались **там же, в одной из аудиторий** тогдашней резиденции филфака. Болтали о жизни, поэзии, планах на факультетский литературный журнал, запивая весь этот теоре-

тический винегрет пенистой шипучкой в старых стеклянных бомбах – резво скачущим под пробками советским сидром по рубль 05 копеек. В «восьмерке» собирався наш творческий кружок. На первой же встрече составили иерархию современных поэтов, лучший – Владимир Высоцкий.

В костюме, футболке-сеточке и красных носках, ярко семафорящих из сквозных штиблет, я стоял под летней синевой университетского неба после экзамена Мурзину. Он мне свою книжку подарил с надписью: «(Такому-то) в память о совместных студиях». Я пообещал, придет время, ответить тем же. Опоздал.

...А тогда я стоял под столбовой солнечной синевой и думал: «У неба нет предпочтений, нет ни своих, ни чужих. Ему все равно, Бразилия или Китай, или университетская улочка по соседству с привокзальными пирожками. В синем воздухе нет ни изгнанников, ни эмигрантов».

2000 карточек

В летние каникулы я заканчивал свою первую поэму «Небовоскресенье», способом покадрового монтажа. Материала было стихийно много, он не поддавался линейной логике и не умещался, как сказали бы сейчас, в оперативной памяти, необходимой для прогона вариантов развития большой вещи.

Сначала письменный хаос будущей поэмы я записывал четверостишиями на отдельные бумажные карточки. А потом, сидя на полу, как в центре своей маленькой домашней вселенной, раскладывал из них своеобразный карточный пасьянс. При удачном соединении выбирал подходящее для продолжения линии монтажа четверостишие – так построил всю поэму.

Тема неба там главная.

Кстати, о карточках. Нина Горланова, работавшая тогда лаборантом на кафедре, не моргнув глазом на полыхнувшей голубизне, подкинула мне заданье: в качестве летней отработки диалектологической практики изготовить 2000 (!) заполненных по письменному образцу оригинальных карточек с разными фразами для составления Акчимского словаря. Причем, Нина торопила по срокам. Откуда она взяла эту тараканью, разбегающуюся во всю ширь цифирь, неведомо. На изготовление одной карточки у меня уходило минут 10-15. Умножал на 2000 – получалось: лучшие годы жизни.

Когда я потащил на кафедру всю эту карточную чешую для словаря, Нина удивленно, на том же глазу, встретила меня и сказала, что зачет мне бы и так поставили.

Зато подвернувшийся карточный метод я успешно использовал для «Небовоскресенья».

На разборе поэмы в творческом кружке мой однокурсник Сережа Финочко – нога на ногу, с выбросом правой руки вперед – непрерываемо скажет с рокотанием Левитана: «У каждого большого поэта есть главная тема в творчестве. У Дрожащих это небо». Не я сказал, Сережа.

Через несколько лет некий действующий большой поэт и классик современности отзовется так, почти в финочковскую рифму: «Дрожащих – это воздух, **полет, движение** воздушных масс».

Финочко

С Сережей мы сошлись на Вознесенском. Курсовые я тогда писал исключительно о поэтах: Веневитинов, Тютчев, Фет, Тарковский, Вознесенский. Для Шеншина сделал какой-то сумасшедший разбор Пушкина по линии звуковой формы, несущей первую волну смысла, адресованную еще к довербальному распознаванию. Долго спорили с Финочко в трамвае о свойствах двоемирия в поэзии Лермонтова, зачитывались в трамвае последним Вознесенским. С виду так, тихие химики, если дело касалось литературы.

А вот с общественными поручениями как-то не очень ладилось. Я был избран от факультета в трудовой сектор, но на университетские заседания не являлся, так как там все время говорили о стройотрядах, а стройотряда у нас на факультете не было.

В политике, общественных науках и ответственных праздничных демонстрациях мы были махновцы или камикадзе с филфака. В ноябрьскую демонстрацию нам с Финочко поручили нести какой-то транспарант. Мы честно пронесли его половину пути, от «восьмерки» до улицы Попова, а там бросили двуручное полотнище в заброшенном доме, готовом к сносу. В теплые майские праздники поступили гораздо хитроумнее: прозрачной пустынной ночью, возвращаясь из Подкамника (пивбара под рестораном «Кама»), тайком перевешивали красные флаги с дома на дом, проявляя чудеса балансировки на кирпичных выступах стены и железных оградах, предполагая, что мы революционеры-подпольщики, выполняем важное поручение и прячемся от конной полиции.

Мало того, курсе на четвертом Финочко перекинул на меня обязанности редактора факультетской стенной газеты «Горьковец», хотя ничего и не изменилось – мы дневали и ночевали в «Горьковце» вместе, спали на столах, иногда вывешивая номер за пять минут до появления первого студента в коридоре «восьмерки». Свежий номер сбе-

гался посмотреть весь университет. Курировала «Горьковец» от преподавателей Комина, и у нас как-то сразу хорошо сложилось взаимопонимание. Комина предложила поместить мои стихи в новогоднем номере. Так что мой публичный литературный дебют произошел в «Горьковце» с подачи Коминой, в декабре 1975 года:

Иллюзион сластей

*Игольчатые патефоны
завозят в колкие леса.
Глаза – сластей иллюзионы,
где обезглавлена слеза.*

*А там – звенят трамваи чинно;
а там – по-старому, на круг
несут последние витрины –
и свят рождественский испуг.*

*Вы опоздать на миг боитесь,
у дома ловите такси.
Самим себе сквозь иней снитесь –
и город реет, снег сгустив.*

*Зеленый, сиплый, красный, гневный,
снег мельтешит, спешит во мглу.
Вот-вот, под обновленным небом,
хлопушкой грохнет на углу.*

*Где новогодних елок лики,
смех циркулирует ночной,
и поднимает город лифты –
как будто в тосте над собой!*

Музыкальные волосы

Я любил «Битлз», «Роллинг стоунз» и «Лед зеппелин», даже строчкой отметил в их честь: «струноволосые ангелы Англии». И, понятно, на филфаке нарисовался при полном длинноволосом сиянии. Меня даже фальшиво узнавали: «А-а, да ты, парень, играешь на танцах в Мотовилихе». На парикмахерской теме сначала зубами повисла военная кафедра. Я отказался стричься под устав – «не в армии, а в университете»; сердце подполковника дрогнуло от такой филологической

наглости: «Тебя же выгонят». «Выгоняйте». Какая-то долгая история там вышла, на грани, двух дней не хватило до полного финиша, а потом от военки меня уже почти в безвыходной ситуации освободили официально, по справке из студенческой поликлиники. Вспомнил, в девятом классе – ревматизмом болел, ноги мочить нельзя. В военбилете так и записано: «Годен к нестроевой, кроме Военно-Морского флота».

То ли все учебные планы в университете были выполнены, то ли еще что, но вдруг – бац! – на третьем курсе откуда-то из воздуха во всех закоулках началась большая антиволосая кампания. На улице ко мне подошел длинноволосый преподаватель французского языка с вечернего отделения, бывший артист балетной секции, и стал стыдить меня за длинные волосы. Я сказал: «А сам-то какой». Тот обозлился и отстал. Видимо, побежал докладывать, сгущая парикмахерские краски, или просто краситься. Скоро через малоразговорчивое факультетское партбюро мне передали вкрадчивое приглашение к ректору с неразглашаемой целью: оторви голову студенту. Я предусмотрительно убрал длинные волосы сзади под воротник и шагнул в прохладный ректорский кабинет, как в прорубь. Ректор встретил меня как родного, на столе у него лежал журнал «Крокодил» с антиволосной карикатурой на обложке. Широко улыбаясь лиловыми африканскими губами, обладатель журнала пригласил меня к столу, довольно приговаривая: «Ну, теперь совсем другой вид». Поговорил со мной ни о чем, о жизни, например, и по-отечески отпустил с Богом. При выходе из кабинета, на самом пороге я нехотая тряхнул головой и прическа рассыпалась.

Но это уже отца всех студентов не интересовало.

Ночные прогулки

Часто мы возвращались домой по ночам с Лешей Антоновым. Это было пешее продолжение университета. Расставаясь, делали отмашку на стыке улиц Мира и Советской армии и шли по своим углам. Леша был студенческим чемпионом по шахматам, давал сеансы одновременной игры, а вслепую, по памяти, мог успешно двигать фигуры сразу на двух досках и побеждать. Именно Леша, уже после филфака, в должности рабочей лошадки – инструктора обкома комсомола, вклинил меня в число участников первого областного семинара молодых литераторов. Полезный опыт: махровая, как боксерское полотенце, литературная любительщина – до первой крови, разве что ногами не били. С Лешей, не договариваясь, мы могли легко встречаться – один шанс на миллионы – и в Перми, и в Москве. А те далекие ночные прогулки, ночные ходячие **университеты**, помню больше всего.

Сияющий Шеншин

Идеальная акустическая дисциплина, благоговейная безглагольность обволакивала каждого из нас до нежного мизинчика, до **отдельно** вскинутой бровинки – все наше громогласное русско-литературное отделение на лекциях тишайшего Шеншина. Он говорил очень негромко, рассказывал нам о ведомом только ему, о драгоценно-важном, будто себе самому, себе под нос, стеснительно почесывая щеку и периодически улыбаясь в коротких паузах. Словно извиняясь кроткой улыбкой за сказанное накануне – будто пришел в булочную за **горчицной** сайкой, а ему предлагают велосипедную цепь и он не может отказаться.

Как-то на перемене я попросил у Славы Полунина гитару (он ходил с ней на занятия с первого курса) и под шумок пытался изобразить музыкальную тему из «Битлз». Увлёкся и не заметил, как в аудитории все стихло, перемена закончилась. Я поднял голову – сокурсники коротко, вразнобой заржали. А за кафедрой в вежливом ожидании стоял сияющий Шеншин.

Стихи сочиняли меня

Что ждал я от университета? Системности и свободы. Казалось бы, противоречивые, полярные вещи, но сфокусированы они были для меня в одной точке – точке выхода за пределы утвержденного круга русского литературного опыта. Там начиналось творчество.

Для начала сжег несколько тетрадей с сотнями своих стихотворений, чтобы не возвращаться к ним, не зависеть от собственной тени, от юношеских редутов, укрепленных густерней метафор без лирического продыха («клёны, шурша, надевали плащи»), от милых, но дикорастущих стилистических заблуждений. Хотелось схватки, с самим собой.

Главным предметом моих занятий в университетские годы легко и безоговорочно стали стихи.

Стихи волокли меня крюком, были исправительной нежностью и безлюдной ссылкой, настигали повсеместно.

Стихи обычно вышагивал, сочинял на ходу, часто – пешком от университета на Перми-II до родного дома на остановке Стахановской. Это минут 45 ходьбы и непрерывного потока стихов. Уже в районе шоссе Космонавтов я понимал, что забываю первоначальные строфы и не могу управлять дальнейшим потоком. Стихи изменяли меня, складывались сами по себе, и казалось, не я сочиняю их, а стихи сочиняют меня.

Спасительная гармония языка приходит как источник жизне-творчества и собственного пути, когда ты загнан в угол, приходит, не взирая на слова и буквы, на шелест и шторм родной речи. Мы пи-

шем не словами, а некой энергией в них. Мы пишем стихотворение, но и оно каждый раз пишет нас. Мы доходим до невозвратной точки гармонии, и стихотворение уже **принадлежит не нам**, а равноправно – всему и всем.

Живое слово

На сдаче старославянского у Адливанкина, делая вид, что все еще готовлюсь, я сидел перед ним и преспокойно записывал приходящие неведомо откуда стихи (а они в тот час нацелены были приходить ниоткуда, но именно на второй этаж «восьмерки», где застали меня в ответственный момент сдачи предмета обучения). Адливанкин, почуяв некий подвох, разыграл богатырскую сцену, расправил плечи, гневно глянул и с подозрением спросил: «А вы что там еще пишете?» – «Да так, чтоб не забыть, эти листочки никому потом не покажу». Адливанкин удовлетворенно кивнул и стал спрашивать по билету.

Он вытягивал меня на пятерку, а у меня колом в башке стояли стихи.

И все-таки уроки старославянского не прошли даром. Адливанкин преподавал курс по своей оригинальной монографии. У него я научился видеть и слышать слово изнутри, в его обратной исторической перспективе, звуковой праистории и новейшем развитии. Это был фонетический литейный цех, где кипящее слово мощностью в несколько солнц переливалось в новые формы, живое, растущее на глазах слово, пригодное для поэзии и музыки.

В защиту докторской

Необыкновеннейший Мурзин. Его почитал весь филфак за исключением некоторых бесцветных неандертальцев из худшей преподавательской когорты, что приписывали себе не то часы, не то века до нашей эры. Человек необыкновенной внутренней свободы и мужественной интеллигентности, что иногда становилось весьма опасным по тем временам.

Его определили куратором нашей последней студенческой весны на филфаке. Тогда, весной 1977-го, филфак был в университетских лидерах, и весь зал лежал, ушибленный смехом, во время нашего капустника по мотивам горьковской пьесы «На дне». Дело происходило, естественно, в ночлежке – народ потешался: в старых корпусах университета при царизме располагалась ночлежка. Перелицевали мрачноватую пьеску под местный колорит: «Филолог – это звучит гордо!» Я, например, Актера играл, с восторженно-расстрельным текстом: «А меня в **“Молодой гвардии”** напечатали! – у меня теперь руки по

локоть в крови». («Молодая гвардия» – официальный орган Пермского обкома ВЛКСМ; между прочим, в той самой «МГ» я потом работал вместе с Беликовым и Асланьяном). Юра Беликов, изображая рабочего Клеща, маячил на сцене в красной рубаше (не потому что какой-то политический пролеткультовский намек, а потому что другой рубашки у Юры не было).

После шумного успеха – тишина. И вдруг спустя недели на фил-факе заскрипели колеса, закашляли телефонные трубки, защелкали **гипсовые суставы ожившей скульптурной группы на постаменте у старого корпуса (Ленин-Горький без бутылки)**, восстали от мертвой спячки мастера эшафота. Говорят, нашелся какой-то червивый человек, заголосил, побежал, приспичило не то в органы, принимающие соответствующие решения («Мы вот тут с товарищами посоветовались»), не то в комитет, что съел не тот винегрет, не то в общество по греко-римской борьбе со студенческой самостоятельностью.

Нашу пьесу признали не соответствующей моральному и политическому облику тех самых греко-римских товарищей.

Крайним сделали куратора, Мурзина. Задвинули ему защиту докторской.

Нам, дипломникам, экзекуторы навалили во все карманы и отправились по домам досматривать программу «Время» под отчаянный чайный перезвон и талантливое поедание бутербродов с докторской колбасой.

Другой сферы для применения персональных талантов у этих мелких аллигаторов не было, как съесть человека вместе с докторской.

И колбаса тут не при чем.

Лампа-самоубийца

Перед госэкзаменами компетентным полушепотом в коридоре мне объявили, что в лучшем случае больше тройки по научному коммунизму не видать. А мне все одно, что сдавать: штиблеты в стирку, научный Ку или Вестсайдскую историю КПСС (видал я ее **в кружевных белых тапочках**). С КПСС у меня вообще цирк и цыганский табор. Преподаватели требовали от студентов конспекты ленинских работ. У меня конспектов не наблюдалось, перед зачетом взял в общаге на ночь переписать, чтоб завтра показать преподавателю. И надо сказать, мне не очень-то повезло с чужими конспектами: ленинизм из общаги был законспектирован бешено-неразборчивым почерком с преобладанием острых углов и сильным наклоном вправо, как падающие кости домино, хотя заголовки были изображены правильными квадратными буквами. Деваться некуда – только ночь впереди. Я бережно перенес всю

эту мутную готическую неразбериху в свою общую тетрадь, в виде медицинской кардиограммы с выпрыгивающими острыми углами, для убедительности отчетливо прописав несколько узнаваемых букв. Открыв тетрадь, преподаватель обалдел: «Что это? Скоропись? Вы хоть одно слово разобрать можете?» «Так я для себя конспектировал, и по черк у меня такой», – искренне соврал я. Преподаватель недоверчиво глянул на образцовое оформление конспекта, реализованное явно с любовью: заголовки выполнены четко черным, подчеркнуты по линейке красным, а вся остальная прыгающая муть изображена синим – и так вся общая тетрадь. Преподаватель посмотрел на меня, посмотрел на увесистую тетрадь и, тихо сокрушаясь, согласился с предьявой. Не мог же он отвергнуть заветы Ильича, тем более завещанные персонально студенту филфака в столь индивидуальной форме.

Так вот, моя дипломная работа по современной поэзии где-то в мае повисла, повисела и чуть ли не повесилась на волоске. Вдобавок к этому по филфаку поползла информация, что, мол, студенты Дрожащих и Гордеева создали на факультете антисоветскую организацию. Так в деканате и партбюро позиционировали наш творческий кружок, в недрах которого и был написан сценарий переложения «На дне» **(Надо заметить, что основной горьковский текст мы только слегка раскрасили веселыми фразами. Хлебнул с нами горя великий пролетарский писатель, признали его антисоветчиком).**

Первым информацию доставил мне прямо домой мой однокурсник Леша Антонов. За ним появился Борис Кондаков. Мы сидели втроем и молчали, как заряженные батарейки. Крошечные молнии ласково потрескивали в набежавшем откуда-то из собрания сочинений И.С.Тургенева тумане, где-то на горизонте реальных присутствий. И тут наэлектризованную тишину прервала настольная лампа, стоявшая рядом на тумбочке. Каким-то образом она качнулась, оказалась на краю полированной поверхности – никто к лампе не подходил – и самостоятельно повалилась на паркет. Упала и не разбилась.

«Это знак», – переглянулись мы.

Стекло-электрический суицид не удался. Но и настольные лампы просто так **по комнате не перемещаются и не падают - головой отчаянно вниз.**

Пермь без мягкого знака

В середине жаркого лета застать поэта в городе практически невозможно, особенно в Москве. А на что игольчатая прохлада Переделкино, сияющие пляжи Калифорнии и прочие потусторонние гавайи?

В каникулы после третьего курса, с огромной красной авоськой, набитой ворохом черновиков (с авоськой я не расставался, полагаясь на внезапность вдохновения), двинул к Вознесенскому.

Отправился к его дому, знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной, наобум, как повезет. Зашел в сумрачный гулкий подъезд с вертикальным эхом до восьмого этажа. В ту же минуту прямо передо мной распахиваются дверцы лифта, а из него со скоростью катапульты выстреливает джинсовая фигура с размытыми очертаниями пилота гоночного снаряда. Окликнул наугад. Пилот оборачивается – Вознесенский. Выходим на улицу. Разговариваем. «Я из Перми, стихи привез». Вознесенский шуруется: «Перм? У меня там сестра». «Пермь» у него выходит без мягкого знака... И добавляет: «Такси приедет. У нас 10 минут. По дороге поговорим». За стеклами «волги» кружится Москва. Вознесенский листает мою новую поэму, точно фиксирует пристрастия: «Маяковский. Сила. Нужны более сильные магниты, чтобы вытащить из Маяковского: Пастернак, Мандельштам».

Летняя жара, а я в нелепом черном костюме жениха, как будто со свадьбы не снимал, что прошла у меня ранней весной, еще когда снег лежал (нормальная студенческая свадьба, как у настоящих, умных, начитанных, душевно чутких филологов; без рукоприкладства, но с дракой – студента Егорова пытались забить в углу стулом, а пьяный сосед неожиданно снял с себя военно-морские часы и при всех подарил молодым, а потом долго плакал, сидя на лестнице, вспоминая, что учился в одном классе с Газмановым и они часто перезваниваются, «Вот и сегодня...»); я пытался вернуть соседу часы, но он так и не взял их обратно, даже на следующий день).

...Доехали до ЦДЛ на улице Герцена, а там черный человеческий муравейник, семинар молодых писателей со всего Союза. И все предварительно парятся, как самоубийцы с револьверной жарой у виска, в одинаковых черных похоронных **костюмах – у самого входа** в главный писательский дом.

Вышли из такси. Вознесенский под обалдевшим прицелом мокрой толпы, по-боксерски покачиваясь и непроизвольно жестикулируя правой, проговорил со мной дополнительно еще минут 10. Я только периодически кивал. Все пялились на нас, особенно на мой костюм. На прощание Андрей Андреевич сказал: «Пришли пакет, только напиши, что был». Пакета я почему-то так и не прислал.

В следующий раз мы встретились в том же ЦДЛ, в начале 90-х. Поэт обратился к учредительному съезду обновленного Союза писателей с призывом: «Нам надо вернуть долги русским писателям и поэтам

внешней и внутренней эмиграции». Долг вернули трем десяткам литературных эмигрантов со всего света, в их числе и нам, пермякам, университетским поэтам.

Фотографическая память

В детстве у меня была забава: выбрасывал на стол горсть спичек и смотрел, как они рассыпаются по столешнице с миниатюрным бревенчатым грохотом. Секунду смотрел – и тут же накрывал спички носовым платком. По памяти пытался восстановить картинку и назвать число закрытых спичек. Так я тренировал фотографическую память.

И вот в университете к нам на лекцию явилась Наташа Гордеева, с младшего курса. Села поблизости и протянула тетрадный листок, исписанный с обеих сторон своим новым стихотворением. Я пробежал строчки глазами и вернул листок со словами: «Сейчас свое напишу». И написал, с обеих сторон. В переменку отдаю и говорю: «Вот, недавно сочинил». Наташа берет листок, а там – ох и ах! – то самое стихотворение, что она показала, но воспроизведенное моим почерком.

«Ну вот, – говорю, – мои стихи мне же показываешь».

Фотографическая память.

Да нет, скорее профессиональная, на стихи.

Опережающее зрение

И не все так просто с картинками. В определенных обстоятельствах можно с опережением увидеть то, что никогда не видел. Однажды я написал стихотворение, а потом стал путешествовать по нему наяву: Берлин, Будапешт.

Рембо я впервые прочитал в пермском трамвае, не раскрывая книги. Первую книжку поэта Петра Вегина, вплоть до расцветки обложки, увидел во сне и в тот же день набрел на нее в огромном городе.

Ничего особенно, это как сфотографироваться с потусторонним сиянием на **память - при** помощи дождевой капли.

Линза

Маятник поэзии, зазубренной звенящей секирой пролетев над Пермью в нулевых годах и упав в затухающем полете куда-то за пределы туманной видимости, возвращается преображенным и еще нераскрыто крылатым. В новейших десятиях интерес к поэзии вернулся. Стихи в Перми сегодня востребованы, пермское человечество продолжает писать стихи, тем самым идеально увеличивая наш общий мир и свой прожитый опыт. Именно здесь, у нас, на месте древнего столкновения континентов, **вздывивших каменную пену Уральских гор**, на

месте тектонического континентального разлома, возникла особая энергетическая подпитка. Живое излучение **смещенных пластов** геомантии напрямую соединилось с энергетическими сигналами космоса.

Уникальные ландшафтные координаты – земные и небесные – создают силовое поле творчества, эффект поэтической линзы пространства. Чтобы увидеть и услышать в творчестве то, что практически невозможно увидеть и услышать в обыденных обстоятельствах, надо жить с учетом своих ландшафтных координат.

Именно здесь своеобразная наведенность **местного ландшафта и звездной карты неба**. И все эти космические и подземные нити энергии на поверхности земного ландшафта взаимно **реагируют, закручиваются так, что частная авторская мысль становится удачно реализованной, когда полностью совпадает с огромной пространственной и похожей мыслью**. Вот тогда и возникает резонанс, и на страницах маленькой домашней вечности, заставленной чаепитиями, Интернетом и детьми, выжигаются некие знаки твоего беспрдельно творческого присутствия на Земле.

Знаки присутствий

В филфаковские годы поэтическим самообразованием занимался подробно долго (Рембо, Уитмен, Лорка, Сандрар, Мандельштам), пока не понял, что можно читать, не раскрывая книг, когда это книги судьбы; можно выращивать изумительные цветы воображения, не записывая их в обескровленном, анемичном виде привычной протяженности письменной речи, никаких стихов и поэм. Типография – гильотина для воображения. Интернет – сломанный детский велосипед для поэтов с пирамид Марса или из полости Луны. Подержав в руках оплавленный миллионами космических лет очерский метеорит величиной с ржущую межгалактическую лошадиную голову, чувствуешь, что ты сам являешься продолжением лучей, скрытых в нем, начинаешь видеть события по другую сторону ясно освещенных предметов и явлений.

Прощеный воздух

Университет резкой увеличительной линзой приблизил ко мне русский язык во всех его подробностях и структурных построениях – мельчайшей звуковой фактуре, перекличке смыслов, магическом излучении неожиданного сцепления слов. Язык стал для меня главным героем моего частного художественного строительства. Творчество стало необычайно легким, стихи любого объема приходили стремительно быстро и практически целиком.

Филологические штудии к финишу университетского курса привели меня к осознанию того, что за пределами университетского познания лежит неведомая, темная область языка: заключенная в нем силовая энергия способна управлять миром, событиями и людьми. Но это захватит потом.

А пока университетом, как рубанком, по слову, а там – мироточит иная жизнь.

А пока светило прощальное университетское солнце 1977 года, грело филологическое просвещение, и какой-то придурок в лакированных башмаках и с дипломом в кармане отплясывал лезгинку с элементами гопака на нашем прощальном вечере в кабаке «Кама».

На пятки лакированных башмаков наступала другая эпоха.

Мимолетность

*Сиюминутны мои печали,
те, что в сумерках опознали
очертанья мои едва ли.
Твоя нежность сиюминутна,
и к своим очертаньям смутным
несводимы ее детали.*

*Тело к телу сиюминутно
и к своим очертаньям смутным,
убегающим, бесприютным –
несводимо. За это свыше
ясный месяц кровищей свищет
и не менее ясным утром*

*несводима улыбка к телу,
тело к телу, что то и дело
улыбалось, смеялось, пело
в полумгле, несводимой к чаше
что разбита, к печали нашей,
потому что свеча сгорела*

*возле губ, что к виску взлетали
с узким пенъем кровавой стали -
и в висок поцелуй вонзали.
Эй, горбатый, смежсай лопатки,
червь бескрылый! Пора манатки
собирать и крутить педали.*

*У вождя и у мопса что-то
общее есть, есть одна забота
подавлять, как мятеж, зевоту.
И - счастливее свиноматки
и щетинистей - каждой складкой
прикрывать свой путь к эшафоту.*

*Все смешалось в ночной клоаке:
в небе свищут по-рачьи драки;
буераки, кусты, бараки.
Я сижу с тишиной у рта,
строит бельма мне пустота.
Ирреальна лишь мышь во мраке.*

*Усмехайся, такое дело:
я свое не покину тело,
ибо то, что во мне, истлело
раньше смерти и позже века
моего. Не вкушать мне млека,
что на божьих устах кипело.*

*Не грозит небесам попса.
У архангела и у пса
с бодуна не проси овса,
зверь нагорный, рифеец грубый.
Огонь трепещет, луна на убыль
на губах – как ничья роса.*

*Я свое не покину тело,
ибо то, что во мне, воспело
очертанья печали; дело
в том, что печаль не шире
очертаний дыры в сортире.
Лишь луна вовсю леденела*

*по кладбищам и по кустам.
Поднималась к твоим устам,
несводимая к небесам;
в полнолуние, как страх итога,
обретая сиянье бога.
Что вы, деточка? - сам с усам.*

*Под землею нет ни черта,
как и в небе, чья пустота
с воплем ржавым свои врата
отворяет; и ты - опознан;
и зияет прощенный воздух
в небе, выпавшем из гнезда.*

Иван Гурин,
Союз писателей России

Совість болящая

В запасниках души Николая Кинёва, рожденного 23 мая 1942 года в суксунском селе Ключи, а жившего в Кишerti, хранилась благодарная память о людях, сделавших его тем, каким он был. Был, потому как 22 июня, в День памяти и скорби, когда в России отмечали семидесятилетие со дня нападения германских фашистов на нас, Николая Георгиевича Кинёва, сына фронтовика, выпускника филологического факультета Пермского государственного университета, прозаика, поэта, по горестному совпадению, сбила в Перми, на пешеходной дорожке, машина.

Смерть ходила за ним по пятам с детства, полного лишений. Он сам дивился: «И как мы только выжили в военные года?» В детстве Коля и его друзья ходили в атаки, что «по палисадникам велись», и, «как умели, помогали на фронте бившимся отцам». Позже Николая, попавшего в непростую жизненную ситуацию, вынули из петли мужики, увидев невзначай висельника, о чем мне поведал Иван Ёжиков, бывший однокурсник прозаика.

Между тем, именно Страна Детства и знания, полученные на филологическом факультете, сделали Николая Кинёва прекрасным писателем.

В пору нелегкого взросления он видел вокруг себя и немало доброго, светлого. Круг его общения составляли душевные, незлобные люди – не такие, каких во множестве вскармливает нынешняя российская действительность. И один из таких выкормышей, ни во что не ставящих других людей, в тот памятный день растер по асфальту моего давнишнего талантливой близкого друга.

Выкормыш этот – наркоман, работал в автосервисе. По характеристике, выданной с места работы, он – «трудолюбивый,

честный, дисциплинированный человек». Покрывали его нынешние менеджеры и не краснели. А он только с января по июнь того года совершил на дорогах города около сорока различных нарушений. И что горько: не чувствовал он за собой никакой вины, ссылаясь на плохую видимость и старый асфальт. Не осознал и того, что нанес колоссальный материальный ущерб, моральный вред не только родным Николая Кинёва (перед ними он не соизволил извиниться), но и всей русской литературе: она никогда уже не получит от талантливого писателя новых произведений. От рук подобных «суперменов» ранее убиты поэты Николай Бурашников и Борис Гашев... Неужели так устроен мир, что люди, воистину отмеченные талантом, идут на крест словно бы в искупление чужих прегрешений? Наркоману-преступнику присудили всего три с половиной года поселения.

...На зарождающийся в детстве Колин талант повлияла, вероятно, необычная его родословная. Дед Николай Грейнерт был немец, бабушка Анлиза Фрицевна Розенталь – латышка. Отец Георгий Кинёв – выходец из кержачьей среды. Мать Лидия Николаевна – русская.

Анлиза Фрицевна знала четыре языка. Она приобщила внука к богословию, церкви, научила читать и писать задолго до того, как он пошел в школу. За всю жизнь бабушка ни разу не обращалась к врачам и прожила сто четыре года.

От матери, Лидии Николаевны, Коля пытался обрести лучшие ее душевные качества: добросердечность, благорасположенность к людям и всему живому.

Лидия Николаевна выходила замуж за Алексея Чикулина, человека отчаянного и смелого. Он за отказ подписаться на заем угодил в воркутинские лагеря. Там и сгинул. На родине, в Ключах, умерли от дифтерии его двое детей. Немало горя пережила Лидия Николаевна – санитарка курорта «Ключи», ставшего в грозные годы госпиталем. В начале войны она сошлась с Георгием Петровичем Кинёвым из села Женёва.

Осенью мужа взяли на фронт. Воевал он отважно.

Узнав на передовой о рождении сына, Георгий устроил от радости пальбу.

– Кинёв, со страху бьешь?! – крикнул ему командир.

– Никак нет, товарищ капитан. Даю салют в честь сына! Колькой нарекли!

Батальонный улыбнулся и приказал открыть в честь новорожденного прицельный огонь по врагу, и бойцы расстарались. Довольный командир подошел к солдату.

– Пропиши жене, – сказал он, – как мы отметили рождение вашего первенца.

Лидия Николаевна, получив с фронта добрую весточку, поделилась ею с сестрой Верой, жившей в суксунском селе Брёхове. Вера тоже работала в госпитале. У нее был сын Витька – двоюродный брат Коли Кинёва. Оба – одногодки. Голодные, они на печи поджидали матерей то в Ключах, то в Брёхове в надежде на то, что им принесут по котлетке или кусочку хлеба, и от тоски пели:

Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля...

Выводили славно, голоса им передались от чрезвычайно голосистых матерей, певших в церковном хоре. Николай Кинёв посвятил Витьке рассказ «Слети к нам, тихий вечер», давший название первому сборнику рассказов.

Творить Николай стал рано. Стихи сочинял с семи лет, рассказы – чуть позже, и уже к четырнадцати годам составил четыре рукописных тома под заглавием: «Николай Кинёв. Полное собрание сочинений». Самомнение, однако, какое было, а?! Тщеславен был. В мой первый приезд к нему он задумчиво произнес:

– Ты посетил меня словно Пушкин Пушкина...

– Не скрою, приятно было такое высокое сравнение. И еще один любопытный штрих к его мнению о самом себе. В письме ко мне, редактору «Маяка Приуралья», Николай переживал: «Там, в Чернушке, коллеги не судят тебя за то, что ты меня, “иностранца”, печатаешь? Но я не кишертский, а великий уральский...»

Эти слова я напомнил ему в одну из наших встреч. Он усмехнулся:

– Может, это и пахивало тщеславием, но я всегда видел себя писателем. Мне хотелось им быть. Я ведь не знал, чем это чревато. Я думал: это благодать Божья, а это – наказание одно. Иногда на сердце тяжело, не пишется. Все чаще в голову приходит мысль: какой резон в нашем письме? Мы не умеем изменить жизнь, не можем противостоять неизвестному нам предназначению. Одно оправдание: писательство – это болезнь, которую почему-то не хочется лечить.

– Кто же способствовал развитию твоей болезни – писательству?

– Школьный учитель Мельников, Анатолий Николаевич, – один из тех, чье имя я тоже храню в запасниках своей души, – ответил Николай. – Его библиотеку, в которой книг было больше, чем в

сельской и курортной библиотеках, вместе взятых, я рано освоил. Незвестные мне слова я выписывал столбцом на бумаге, и учитель давал к ним пояснения. Как-то Анатолий Николаевич, прочитав мое «полное собрание сочинений», сказал: «Коля, возьми Чехова, сравни, как он пишет и как ты». Учитель не убивал во мне желание писать, а советовал совершенствоваться в писательстве. Он приобщил меня также к запретным тогда Бунину и Есенину. Я стал учиться у них, а также у Гаршина, Куприна, Андреева, Платонова.

Здорово мне помогли и преподаватели филфака университета, расширившие мой кругозор, интеллект, и писатель Владимир Черненко. Он давал рукописи своих книг, отредактированных собственноручно, чтобы я мог видеть, как нужно работать со словом. С тех пор я стилизационно, грамматически – чистюля. Сам себя много раз, так сказать, резинкой стираю, правлю...

И это – правда. Произведениям Николая Кинёва присуща точность каждого слова.

Коллеги по перу, студенты, школьники пытались вникнуть в творческую лабораторию писателя. Ученица Кишертской школы Юлия Арефина, работая над рефератом «Детство как исток и источник творчества Николая Кинёва», поинтересовалась у него, какого метода он придерживается: критического реализма или социалистического.

– Придерживаюсь... лирического реализма, – ответил Николай Георгиевич.

Юля была обескуражена. Недоумевали и его друзья-писатели, которым он давал подобный ответ, ведь в литературоведении такого термина нет. Однако ответ Николая Кинёва принимали все. Может, этот термин и войдет в обиход критики.

– Под лирикой, – убедительно говорил Николай, – я подразумеваю не письмо о цветочках, любви и ягодах, не сантименты как таковые, а способ предельного самовыражения, творческого самоизъявления. Поэтому для меня лирический реализм – это пропущенные через собственное сердце объективные реалии действительности. Для меня это еще и поэтическое отражение мира. Меня долго не признавали как поэта, а я им изначально себя чувствовал, и потому поэтическое «нетерпение» зачастую переношу на прозу, что, надеюсь, обогащает ее...

Несомненно, обогащает. Одухотворенность, образность присуща всем произведениям Николая Кинёва: «Черным мелкозвездным вечером звякнуло кольцо калитки». Это – из рассказа «Незабудки». А в «Пролетке», как и в рассказе-реквиеме «Своих попроведать», отдельные страницы вообще читаются как стихи: «Эх, раз цыгане шли

по густой траве, расцыганы-солнышко в голове!...» Цитировать можно долго.

Не могу не остановиться подробнее на рассказе-реквиеме «Своих попроведать». Он автобиографичен, о близких ему людях. Иван Иванович Соколов, похоже, – это первый муж его матери, непокорный Алексей Чикулин, умерший от чахотки в воркутинских лагерях. Среди героев повествования есть и обрусевший латыш – Эрнест Давидович Розенталь. А Андрей, сын Соколова, смахивает на самого автора рассказа, который, узнав о березовой роще, подлежащей выкорчевке, пришел к ней и услышал сначала шелест, потом – наступательный речитатив ее листьев:

«Мы, березы, – лесные люди: мы такие ж, как вы, живые... Если вы себя приучили справляться друг с другом кровью, если вам друг друга не жалко, если жизнь вам не дорога, нам оставьте планету эту, пусть цветет она белой рощей, мы сумеем землю украсить до пришествия лучших людей!.. Мы, березы, – живые люди; мы к вам снова придем на помощь – образумьтесь, пока не поздно, – мы просим вас, мы вас просим. Вы поймите: ведь мы недолго, все мы с вами совсем недолго – это кажется лишь, что долго, – на прекрасной земле гостим!»

Николай понял язык белостовольных дев, запомнил «сказанное» ими и затем использовал их плач в рассказе-реквиеме «Своих попроведать», названный мною небольшой повестью, – настолько он многослоен по сюжетным линиям и глубок по содержанию. Этот рассказ вошел в сборник произведений Николая Кинёва «Вот тот мир, где жили мы с тобою...». За него писатель получил Всероссийскую литературную премию имени Д.Н.Мамина-Сибиряка. А до этого он издал сборники рассказов и повестей «Слети к нам, тихий вечер», «Белая роща», был победителем Всесоюзного литературного конкурса на лучший рассказ, объявленного редакцией центральной газеты «Сельская жизнь». Николай Кинёв впрямь стал известным не только уральским писателем, но и российским.

Особую окраску произведениям придает его совесть болящая, пронизывающая их насквозь. У многих персонажей душа, что называется, не на своем месте. Они болезненно переживают свою личную и социальную несправедливость, мучаются сознанием греха, пытаются помочь всякому в том нуждающемуся.

...Березовую рощу Николай Кинёв тогда отстоял как общественный инспектор по охране природы. И, конечно, не без помощи пера.

С Николаем мы спознались осенью 1981 года. Прочитав в коллективном сборнике «Молодой человек» его повесть «Старая баня», я отправил ему восторженный отзыв. Вскоре от него пришел ответ: «Село Кишерть, 6 октября 1981 г. Здравствуйте, Иван. Я отчества Вашего тоже не знаю, и разузнать негде, так как отпросился у редактора на два дня – перепечатать новый рассказ. Печатаю я быстрее, чем пишу, потому и Вам отвечаю на машинке – не посетуйте.

Мне радостно было получить Ваш отзыв о “Бане”. Рождалась она в муках: сами понимаете, газетная работа не больно-то высвобождает нашего брата для литературного творчества, все мы заражены штампами, и когда, несмотря на это, что-то получается и нравится коллегам, – не может не радовать. Все мечтаю когда-нибудь “не работать” несколько месяцев подряд, чтобы пописать вволюшку, но никак не получается. То хвори, то редакционная необходимость, то просто не пишется, хоть плачь. Ну, умрем – отдохнем. А мне понравился Ваш очерк (в сборнике была и моя публикация о буровиках “Восхождение к глубинам” – И.Г.). Он, правда, не свободен от газетных приемов, но и литературные достоинства у него есть. И я Вам тоже желаю творческой неустанности и всяческих благ. Ранее читал Ваши вещи в периодике. Правда, я не знал, что Вы редактор. Тем более лестно было для меня получить Ваш отзыв...»

Переписка ширилась, дружба наша крепла.

Весной 1986 года я неожиданно встретился с ним в моем городе. Он отыскал меня, чтобы свидеться – и ехать дальше, в Куединский район, по своим писательским делам. Я уговаривал его ночевать в Чернушке, но Николай не остался.

Позднее от него пришло письмо: «Село Кишерть, 11 апреля 1986 г. Дорогой Иван! Ну вот “вернулся я на родину, шумят березки стройные”. В тот день, когда мы с тобой так скоростно увиделись и расстались, в Большие Кусты я не попал, а попал только на следующее утро, так что и надо было мне у тебя остаться, чтобы поговорить несуетно и по душам. Но теперь того момента не вернешь, и тебе спасибо хоть за короткую встречу. Необходимый материал насобирал и для “Звезды”, и для души. Не знаю, что получится: за выходные надо сделать. Пытаюсь. А пока высылаю тебе подборку стихов, объединяемых ненавистью к войне и любовью к земле и звездам... Суди сам, печатать, не печатать. Во втором случае – возьми на память. Если я помру первым, прочитаешь потом на помин моей души. Помирать все мы горазды, жить же на этом свете затруднительней. Во всяком случае – мнение свое о стихах вырази, хорошо?

С первого взгляда мне очень понравилась ваша Чернушка. Хотелось бы всмотреться в нее попристальнее. Может, приведет Бог еще когда-нибудь побывать. А пока – приглашаю тебя в Кишертъ. Засим – до свидания. Желаю тебе здоровья, равновесия души. Николай».

Стихи я опубликовал – и прислал ему хороший отзыв, но при этом отметил, что проза у него намного сильнее. Сейчас же, по прочтении поэтического сборника «Грань», говорю, что и стихи его мало в чем уступают прозе. Он, несомненно, – и поэт.

В Чернушку Николай Кинёв больше вырваться не смог, а я нередко бывал в Кишерти, в гостеприимном доме Алевтины Сергеевны, работавшей редактором газеты «Сылвенские зори», и Николая Георгиевича; узнал их детей – Ладу и Дениса.

Одна из встреч на загадочной кишертской земле произошла осенью 1988 года.

Тогда я заразился уфологией и отправился в аномальную Молебскую зону повидать неопознанные летающие объекты. Веря в существование чего-то там неземного, Николай, отговаривая меня от той поездки, ссылаясь на рассказы знакомых людей о происходящих в глухом углу странных явлениях. Там ломались высококачественные электронные часы (даже швейцарские), у машин выходила из строя электроника, выкипали аккумуляторы. Я все-таки отправился туда. До аномальной зоны доехал в сопровождении Николая на редакционной машине, выделенной Алевтиной Сергеевной. Он вернулся в Кишертъ, а я, примкнув к уфологам из Свердловска, подался в «М-ский треугольник».

Обратно из Молебки Николай забрал меня, заросшего щетиной и пропавшего дымом костров, спустя три дня.

Я заночевал у Кинёвых. Об «М-ском треугольнике» рассказывал скупое. Обо всем увиденном, о собственных впечатлениях и ощущениях я поведаю в очерке «По следам неведомого», и Николай включит его в НЛО-шный сборник «Тайна».

В писательской среде пошли толки о якобы моих необычных способностях, приобретенных мною при посещении аномальных зон, включая Крайний Север (Мурманск, Сафоново, Североморск), и Николай, раз вечером, позвонил мне в Чернушку.

– Ваня, – сказал он, – говорят, ты стал экстрасенсом.

– Правильно говорят.

– Какими же ты обладаешь способностями?

– Я стал видеть на большом расстоянии, – ответил ему без раздумья.

– Тогда скажи, в чем я сейчас стою?

– Ты, Коля, стоишь в майке.

Он замолчал, будто воды в рот набрал. Значит, я угадал, чем и поверг его в смятение. Помолчав, Николай спросил:

– А какое платье на Ладе?

– Она в синем платье, – опять же, не задумываясь, ответил я, запомнив его цвет в один из прошлых приездов.

Тут я Колю совсем сразил. Он надолго замолчал и, наконец, задал новый вопрос:

– Скажи, какая у Лады в косичке ленточка?

– Тоже синяя, – ответил я.

– А вот и нет, – раздался его веселый голос. – Алая! Никакой ты, Ваня, не экстрасенс!

Мы посмеялись и пожелали друг другу спокойной ночи.

Затем он пригласил меня на уфологическую конференцию. Она была хорошо им подготовлена. Научные сообщения делали и взрослые, и школьники. Я тоже выступил. К важному событию я нацепил на лацкан пиджака значок НЛЮ. На нем изображена белая «тарелка» на фоне синего-пресинего неба. Этот значок я после конференции потерял и обнаружил пропажу уже в Чернушке. Понятно, сильно расстроился: как же не уберег его?! Ведь он был мне подарен в Москве, в Уфологическом центре, самим Владимиром Ажажей! Пришлось позвонить другу.

Николай мою озабоченность разделил, но попросил не волноваться и заверил:

– Никуда он не денется. Здесь у нас живет честный народ.

Я успокоился. И верно: друг позвонил неделю спустя и сообщил:

– Значок найден.

Оказывается, потерял я его в магазине, где мы с Николаем после конференции покупали продукты. Значок нашла уборщица. Она отдала находку продавцу, а та – Кинёву, выпускавшему в газете «Сылвенские зори» тематическую страницу «Гайна».

Потом в Кишерти стали проводиться межрегиональные уфологические конгрессы «Молебский (М-ский) треугольник: миф и реальность». Собственно, почву для их проведения в селе подготовил Николай Кинёв. Мы с ним присутствовали на первом конгрессе, сидели вместе и весь день тепло общались. Он, глубоко религиозный, искренно, как ни странно, верил в НЛЮ и во внеземные цивилизации. Меня за эту веру батюшка одной из церквей предал анафеме.

Не одну белую рошу, всю землю, с риском для жизни, защищал писатель, верный своей давней клятве: «Вот вырасту, всех от беды

спасу». И спасал, не щадя себя. 21 октября 2000 года в Кишертском районе прогремел взрыв на трансконтинентальной газовой магистрали. Николай Кинёв с товарищами выехал к месту аварии. При возвращении назад, чтобы дома «сопоставить все факты» и «оформить их в акты», за спиной внезапно раздался второй мощный взрыв. Машина вспыхнула от жары. Обжигаемые огнем люди, выскочив из нее, бросились врассыпную. Кинулся, не ведая куда, и Николай Кинёв.

Он метался в огненной стихии. Выползая из бушующего пламени, Николай, «будто ранен был на поле битвы», твердил: «Я с судьбой своей расстаюсь...» Но не расстался, выжил, хотя раньше заклинал: «Дай, судьба, мне такой погибели, // Чтобы тела исчез и след!» Его долго искали, думали, что сгорел...

Узнав о той беде, я навестил друга в больнице.

Коля сидел со мной в коридоре и рассказывал, как спасался и как спасали его хирурги – Николай Рыжков и Михаил Кабалицкий. Поведав о них, он заметил:

– У меня теплилась надежда на какую-либо компенсацию за причиненный здоровью вред, а меня газовики унизили. «Тебе, – сказали, – нечего там было делать». Так ведь я, прибыв на место первого взрыва, как корреспондент и общественный инспектор по охране природы, не знал, что попаду с друзьями под новый взрыв. Трудно что-либо доказать иванам волковым, ставшим чиновниками иного пошиба...

Я отвлекусь от разговора и поясню, с кем Николай сравнил их, чиновников.

Иван Волков – одиозный герой из его рассказа «Причастие», которому, по словам писателя, «не давали двадцать лет высунуться из сундука».

Николай Кинёв, бунинской силы таланта, с трудом пробивался к читателям. У него мариновали и другие произведения, рукописи сборников: то не та «струя в литературе», то по идейным соображениям. По навету недоброжелателя была разобрана верстка его первой книги «Черемуховые холода», не вышел в свет сборник «Птицы в феврале». И «Белую рощу» ждала та же участь: ее рецензировали двадцать человек. В набор рукопись пошла после выводов рецензентов: Владимира Соколовского и Владимира Черненко.

Рассказ «Причастие» я опубликовал зимой 1987 года в «Маяке Приуралья». О той истории пусть расскажет он сам. Прочтите его письмо:

«Кишерт, 22 февраля 1987 г. Дорогой Иван Петрович!

Получил от тебя хорошее, подробное письмо о моем рассказе. Спасибо за то, что подготовил к печати, спасибо и за некоторые резонные советы.

За годы работы над рассказом я слышал разные упреки. Самый главный был – от воинствующих безбожников: что я-де пропагандирую религию и отказ от активной жизни, смирение и богобоязнь. Упрек поосмотрительнее был от верующих людей: зачем я в таком неприглядном свете нарисовал отца Василия? Упрек от советских работников: что это за Иван Волков – такой нетипичный, такой мироед? И так далее. Читатели словно забыли, что я хотел показать. А показать я хотел причастие юной души к реальному послевоенному миру, с его людьми верующими (всяк по-своему!) и невераи, с клопами-кровососами и птицами небесными. Пусть причащается мальчонка, пусть набирается содержания душевного: здесь ему жить и проявлять себя. Я вовсе не хотел ответить на вопрос: есть Бог или нет, один он или много их, который лучше, хороша ли Советская власть, а видения детские – ущербность души или ее наполненность... Одно я хотел сказать со всей определенностью: война – это зло, дьявольщина, ад посюсторонний, и пусть опосредовано, но как далеко, как долго, как больно она откликается!..»

Прерву на чуточку письмо друга. Война-то и в нем, Николае, откликалась до часу последнего. Его отец, вернувшийся с фронта замкнутым, мрачным, раздражительным, однажды ушел из дома, пообещав забрать семью, как только устроится на новом месте. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Николай всюду искал отца: ездил в Шали, Шамары, ходил в Женёво, откуда он родом, в Брёхово... Всю жизнь поэт маялся, сокрушался, «...что тебя никогда не увижу. И ни здесь. И ни там».

Продолжу цитировать письмо Николая Кинёва с его пояснениями отдельных мест в рассказе «Причастие»: «Что же касается Бога, то я, как микрочастица, живущая на песчинке Бесконечности, в отличие от частиц-атеистов, считаю, что Он должен быть, иначе мы все копошимся бессмысленно, иначе действительно вся жизнь наша – это активная плесень, и ничего более. Я не сторонник только канонизации веры, ее бюрократизации, национализации, захватнического мещанского присвоения, отторжения от соседнего Бога. Это – тоже война, еще более серьезная, чем физическая, и она мне никак не может нравиться. Потому я мало испытываю уважение к церкви как к аппарату бюрократическому, она почти всегда – проправительственна. В минувшую войну и немецкие, и русские церкви просили одного у Бога – Христа – о победе. А церкви разные. Каждая считала себя

правой... Бог, прежде всего, – это добро, свет в душе, совесть болящая, а откуда и кем даны – откуда нам знать? Но как только эти душевные качества начинают оформлять... в орудие практической жизни, появляются уродства: в рассказе пример тому – отец Василий, тот же – Иван Волков (в Бога не верит, а в Советскую власть верит, – но что он из этой веры сделал?!).

В общем, тут много можно рассуждать, никаких писем на это не хватит. Одно хочу сказать: что меня удивил твой упрек (первый!) – будто бы семья эта богомольная, о которой речь, не нашей, не русской, не христианской, не православной веры. Там Саваоф, там гора Синайская... Так вот, во-первых, дело не в этом. Хоть в Магомета они верь, хоть в Будду, лишь бы совесть, душа, свет сердечный был у них. А во-вторых, они самые что ни есть наши, славянские, христиане. Никаким иудаизмом тут не пахнет. Бог-Саваоф здесь – не родственник или оборотень бога Яхве, а первая часть христианской троицы... Гора Синайская тоже пришла к нам вместе с христианством из Иудеи, она – неотъемлемая часть Нового Завета... Синайская гора – гора святого духа, исповеди, откровений, гора, где горный дух указывает Христу дальнейший земной путь. Он там молится перед «арестом» и казнью. Отец Василий оперирует этой горой и другими словесами из Евангелия не напрасно: перед причастием они куда как уместны.

Конечно, если ты рассказ еще не опубликовал, то в нем можно сделать некоторые изменения. Чтобы не смущать народонаселение разными еврейскими категориями, можно перед именем Саваоф поставить слова Бог-отец, там, где их нет, и тогда верующие поймут, о чем идет речь, а неверующие пусть просвещаются. А то у нас такие атеисты пошли, что знают лишь одно: бога нет, бога нет, бога нет..., а из богословия ничего не знают, верующих боятся, как черт ладана, говорить с ними не о чем... Презираю наши газетные «Атеистические страницы», обращенные не к верующим, а к безбожникам, которые и без того выразительно умеют «в бога мать!» произносить. Чему мы радуемся, нищие духом, – что ни во что не верим? Ни в Бога, ни в царя, ни в светлое будущее, ни в жизнь на других планетах! Честное слово, оторопь берет и хочется крикнуть: «Господи, помилуй!»

Из других желательных поправок. На пятой странице рассказа абзац, начинающийся словами «Когда он появился под окном...», где бабушка убирает прялку на полати, следует вычеркнуть. Я согласен, что этот эпизод не уместен и не прописан. Сейчас прямо, на ходу, я не могу его переделать и предложить взамен бывшего; оставить надо пока так: «Приходил он к нам как-то. – Абзац. – Я хорошо слышал чужие шаги по двору...» Хочу объяснить будущую необходимость этого

абзаца. Бабушка прячет прялку на полати потому, что боится Ивана Волкова. Она же варежки-носки не только по договору с сельпо вяжет, а и соседям, ребятишкам – подпольно, так сказать, через страх, но и через совесть. Она помогает жить людям. Это у нее трудовой доход. Не доход даже, а прожиточный минимум, добытый кропотливым трудом. А Волков – агент, доморощенный сельский каратель: он может обложить штрафом, может отослать-сослать-выселить. Если бы ему самому не нужны были бы эти самые варежки, уж он бы потянул душу из рукодельниц. Скотинка, в общем, та еще. Сейчас, после твоего письма, я думаю о том, что неплохо бы выписать эту скотинку вообще особо, крупно, чтобы гадко было читателю от этого. Тогда, сорок лет назад, боялись этих людей, и сейчас нам их тоже бояться? – не напиши о них ничего, предупредительным к ним будь, носочки им вяжи! Вот эта вот жизнь по блату, по страхогонству и есть ведь нетрудовой-то доход. Как хорошо во все времена этот класс эксплуататоров и мироедов приспособливается к жизни...»

Такое, чувствуете, жгучее письмо.

Он, этот класс, и сейчас на коне. И нынешние волковы гребут все под себя. Нет им дела ни до здоровья, ни до жизни Николая Кинёва. Нынешние чиновники и «новые русские» отобрали у него родной дом в Ключах, и, не предупредив писателя, пустили избу под нож бульдозера. Уничтожили все: вещи, семейные реликвии, рукописи, школьное «полное собрание сочинений», – и на том месте отстроили особняк.

О таких иванах волковых и вспомнил Кинёв в больнице.

Я принес ему конфет, печенья, яблок, соку и еще чего-то. Он, перебрав содержимое пакета, просто, по-приятельски, спросил:

– А пива, Ваня, купить не мог?

– Разве можно?

– Нужно даже, – сказал он, улыбаясь, и добавил с уверенностью врача: – Для душевного уравнивания.

Я сбегал за пивом, и Николай, отнеся банки в палату, вернулся ко мне.

– Ты первый, – заметил он, – навестил меня, спасибо.

Пришлось возразить:

– Коля, я не ради благодарности приехал.

– Извини, – смутился друг, – по инерции так сказал. Мы многое чего делаем созерцательно, походя, не задумываясь над сутью сказанного и происходящего. Вот взрыв на магистрали. Мощнейший!!! А нам говорят обыденно: авария. Ничего, мол, особенного, страшного, и стараются утаить, замолчать катастрофу.

- Напишешь о ней?
- Уже пишу. Балладу.

Я попросил что-нибудь прочесть из нее, если помнит. Он взялся читать вполголоса:

...Нервной судорогой прошла
По округе волна взрывная.
Что же – общая смерть пришла?
Что же – бомба пала шальная?
Иль успели мы навредить
Небу так, что пора ответить?
Век XX не проводить?
XXI же век не встретить?..

И сразу стало ясно: новое произведение поэта – острое, социально-проблемное.

Николая вдруг позвали на перевязку. Он оборвал чтение: ничего, мол, не напишешь, надо идти. Мы тепло расстались. Обнять его я не решился – боялся причинить ему боль.

От ожогов Николай Кинёв лечился долго. Были обострения, критические моменты. Однако к своему 60-летнему юбилею полностью поправился. Мы приехали на юбилей (он отмечал его дома 23 мая 2002 года) с Виталием Богомоловым. До вечернего застолья оставалось много времени, и мы втроем (Алевтины Сергеевны, Лады и Дениса дома не было) сидели на кухне и вели неспешные разговоры за жизнь, о литературе. Виталий Богомолов то и дело, как и я, восхищался местной природой, и беседа наша естественным образом коснулась темы ее защиты. Тут-то я, помня про его обещание написать балладу о взрывах на газопроводе, спросил о ней.

Николай принес газету с опубликованной балладой «Аномальная зона» и стал читать:

...По горячей кружа чашобе,
Выбираюсь на каждый просвет:
Вот чуть-чуть пробежать еще бы...
Прибежишь, а просвету нет...
...По-над озером у горы –
Пар от ярого кипятка.
Кверху брюхом плывут бобры,
Птицы вжарены в облака...

Он пытался читать сдержанно, но у него перехватывало дыхание, словно снова блуждал по горящему лесу.

В пяти главах баллады поэт, переживший страшное событие, в центр его, однако, не себя ставил, а планету Земля, по которой «в нитках безаварийных» газ на Запад идет, минуя людей из глубинки. Они же надеялись:

«Будем жить по дешевке!
Нам никто не указ!»
Им отвечали:
– Цыть вы там, шалашовки!
Этот газ – не про вас!
Шиш вам – инфраструктура,
Шиша с два – соцкультбыт!
Всё мечты! А в натуре
Ваш уклад сбит и сбит.
Где еще у вас недра?!
Мы взорвем ваш уют!..

Николай, дочитав балладу, перевел дух.

– Замечательная вещь! – отметили мы с Виталием, сожалея, что она, актуальная, остросюжетная, не дошла пока до широкого круга читателей.

К Николаю Кинёву заглянул глава администрации Кишертского муниципального района Виктор Кондаков. Не каждый чиновник такого ранга снизойдет до журналиста, писателя, а Виктор Васильевич счел за честь поздравить Николая Георгиевича с юбилеем. (Местная власть ценила талант земляка, помогла издать книгу «Тайна»; ему присвоено звание почетного гражданина Усть-Кишертского района, и недавно, 23 мая 2013 года, в день его рождения, в райцентре, на здании библиотеки для семейного чтения, в торжественной обстановке была открыта посвященная писателю мемориальная доска).

Виктор Кондаков – трезвенник. Выпив за юбиляра бокал минералки, он, ссылаясь на занятость, откланялся. Проводив Виктора Васильевича, мы вернулись на кухню и продолжили разговор.

Подводя как бы черту сказанному, я заметил:

– Бог, Коля, видит, кто добро, а кто зло творит, и каждому воздастся по заслугам, в том числе и в поэзии, и в прозе. У нас говорят, будто и пермская литература испарилась, одна, мол, Нина Горланова осталась.

– Горланова – молодец, – сказал Николай, – куда-то прорывается, печатается за рубежом. Другое дело, как она пишет и кому это интересно. А вообще, литература не может остановиться, пока есть пишущие люди. Остается в силе патриарх Лев Правдин. А эти люди, питанные жизнью и литературой, – Анатолий Гребнев, Виталий Бого-

молов, Федор Востриков, Валерий Возженников, Юрий Калашников, Юрий Марков, Дмитрий Ризов, Геннадий Солодников, Валентина Телегина, Игорь Тюленев... Да и ты, Иван, не лаптем щи хлебаешь. Появились молодые поэты и прозаики: Андрей Зеленин, Алексей Иванов, Алексей Мальцев... Я прочитал отрывок из романа Алексея Иванова «Чердынъ – княгиня гор». Хорошо пишет. Правда, я не разделяю восторга Димы Ризова по поводу того, что он писатель чуть не астафьевского таланта. Во-первых, надо прочитать роман целиком, во-вторых, познакомиться с другими произведениями. Посмотрим. А Татьяна Соколова? Это же прекрасный прозаик. Рассказы ее психологически выверены, интересно, грамотно выстроены.

– А что еще тебя радует? – спросил Виталий.

– Радует появившийся альманах «Литературная Пермь». Хорошо, что выходит «Лукоморье» – приложение к «Звезде». Все же есть площадки, где писателям можно выговориться. Я признателен моим коллегам по кишертской газете, ее редактору Алевтине Кинёвой, которая многие годы несет тяжкий крест издательских, хозяйственных и иных забот и выдерживает еще несносную жизнь мужа-писателя.

Зная, как важна в литературе поддержка, – продолжал говорить Николай Кинёв, – я помогаю во всем талантливым людям. Их произведения публикую в газете. Подготовил к изданию книгу стихов кишертских поэтов «Голоса над околицей». У нас живут талантливые поэты: Михаил Вилисов, Иван Башкирцев, Елена и Татьяна Крохалевы, Анатолий Малмыгин, Юрий Мильчаков... Это тоже целый пласт пермской литературы. А сколько еще таких пластов «залегает» в Прикамье!..

...Хорошо мы поговорили на кухне, а вечером дом наполнился гостями. Поздравить Николая Кинёва с юбилеем пришли родственники, соседи, друзья.

Алевтина с Ладой накрыли стол, и пришлось Николаю выслушивать многочисленные поздравления, как в прозе, так и в стихах. Читал стихи и юбиляр...

...Гости разошлись далеко за полночь. Со своими друзьями уехал в родные ординские места Виталий Богомолов. Я заночевал у Кинёвых.

Утром проснулся рано – привычка давняя – и пошел в баню. Когда ее успела истопить Алевтина?! Нисколько, поди, не спала.

На крылечке и в огороде бодрила свежесть.

Дом моих друзей стоял на берегу реки. Однажды весной вода вышла из берегов и сильно подтопила избу Кинёвых. В воде оказались

книги, рукописи, вещи. Николай и Алевтина в сапогах бегали по комнатам и спасали все, что можно было спасти.

К Николаю Кинёву я всегда относился с уважением. Еще больше уважал после разговора со Львом Кузьминым. В 1999 году на писательском собрании, перед моим приемом в Союз, ко мне подошел Лев Иванович и спросил о поручителях. В числе их я назвал Николая Кинёва. И тут он, сам дававший ему рекомендацию, воскликнул:

– А, мой «крестник»! Ему можно доверять!

Так высоко ценил он его талант, и я понял: Лев Иванович проголосует за меня.

Про тот случай я, придя из баньки, поведал за ароматной ухой, под чарочку «светлой» Николаю и Алевтине. Об этом же, помню, рассказывал как-то читателям в Кишертской библиотеке, и они были рады за писателя-земляка.

В Союз писателей Николая Кинёва приняли в 1988 году.

– На том собрании, – сказал Николай, – обо мне сильно говорил Лев Давыдычев, а через неделю его не стало. Столько потерь подряд: Радкевич, Черненко, Давыдычев. – Коля вздохнул. – А ранее – Байгулов, Домнин... Сейчас и Кузьмина нет. Вот в каком сиротском доме мы теперь. Помянем всех.

Мы выпили, помолчали.

За окном тоскливо, как показалось, скрипнули тормоза редакционного «уазика». Он должен увезти меня в Орду, откуда на автобусе отправлюсь домой. Уезжать не хотелось...

Через несколько дней юбилей Николая Кинёва отметили в Доме писателя. Вечер доверили вести мне, приехавшему в Пермь из Чернушки. Вначале я рассказал о жизни и творчестве Николая Георгиевича, а потом его поздравляли писатели: Виталий Богомолов, Владимир Виниченко, Роберт Белов, Татьяна Соколова, Владимир Киршин, Нина Горланова и бывшие однокурсники по филфаку: Иван Ежиков и Надежда Гашева.

Вечер затянулся, транспорт уже не ходил. Я позвал Колю на квартиру моей дочери Аллы, учившейся в Пермском филиале Московского коммерческого университета. Дочь жила в Мотовилихе, и мы пошли пешком по безлюдным почти улицам.

– А как нападут на нас, чем будем отбиваться? Этим? – И он потряс легкой сумкой.

Ею мы бы не отбились. К счастью, защищаться не пришлось.

Скромней отметили 65-летний юбилей Николая Кинёва. Ограничились моей статьей и подборкой его стихов, опубликованных в

газете «Звезда». Зато готовились широко отметить 70-й май талантливому поэту и прозаику. О грядущем юбилее мы говорили с ним в тот печальный день, 22 июня, перед писательским собранием.

Приехав в Пермь, он позвонил мне с вокзала. Я пригласил его к себе домой (к тому времени я перебрался жить в краевой центр), объяснил, как доехать до моей квартиры. Николай отказался:

– Буду я кружить по городу, давай пораньше встретимся в Союзе.

Мы встретились в 13 часов. Сидели в скверике. Николай выглядел рассеянным. На вопросы отвечал невпопад, с задержкой. Я спросил, почему он такой заторможенный.

– Я не спал всю ночь, – ответил он, – работал над статьей.

– Не бережешь ты себя, Коля.

– Иначе бы я сюда не приехал...

Вдруг ему позвонила Алевтина. Он заверил ее: «Я тотчас сообщу тебе, как только закончится собрание». Значит, подумалось, она сегодня же ждет Николая домой, и никакой складчины с ним не должно быть. Хотел сделать как лучше, а все обернулось хуже некуда. В тот день он в Кишертъ не уехал.

Николай Кинёв всегда, даже крепко выпив, держал ситуацию под контролем. А тут расслабился донельзя. Да еще наркоман в судьбу вмешался... У писателя столько было потерь, что он, кажется, и свою-то жизнь, прости меня Господи, не боялся потерять.

Год тому назад глубокой ночью у Николая и Алевтины, ко всем прочим несчастьям и потерям, сгорела усадьба в Кишертке. На этот раз рукописи, архив, книги, ценные вещи – все, что осталось у них от прежних крушений, уничтожил огонь. Ладно, хоть сами не сгорели. Как можно было пережить все эти кошмары, преследуемые и его, и Алевтину из года в год?! Алевтина признается, что даже она после всего пережитого стала совершенно другим человеком. А каково было Николаю? Он же – поэт, натура чувствительная, и, будучи человеком застенчивым, все переживания таил в себе.

Загнала его жестокая жизнь в угол. Николай сопротивлялся, как мог. С помощью друзей он и Алевтина подняли новый дом на том же месте. «В одну воронку, – сказал Коля, начиная стройку, – два снаряда не падают».

В нем, обустроенном не полностью, он пожил всего полгода. «Второй снаряд» достал его вдали от родного очага.

...Поставив точку в 5 часов утра, Николай Кинёв чуть не опоздал на электричку. Отстал бы лучше. И вот «чудовищная чернота все краски света поглотила». Так рано и так несправедливо. «Сколько дел недоделал, // Сколько долга за мной! // Это что ж я наделал... //

Отпустите домой!» – писал он в стихах, душа которого летала легче ангела вокруг земли. То был сон – сон, ставший явью. Кто теперь отпустит его доделывать дела?

А. Антонов

Рыцарь звучащего слова

Сколько помню студенческие вечеринки – Слава Полунин всегда был на них с гитарой. И громоздкая она и неудобная, особенно в транспорте. Слава все это безропотно терпел, поскольку Слава был не просто филологом, он был бардом.

«... Справа, слева, сзади – гибель.

Крест тяжелый на груди.

А гитара как вериги...

Не дойти, не донести...»

Может быть, социологи еще заинтересуются успехом авторской песни в СССР. И вроде бы тексты не лучше, чем у профи. Голоса или музыка – и подавно. А интерес неподдельный был. Сказать, что все дело в политике, – тоже нет. Многие авторские песни были намного патристичней официальных. Однако наверху все равно безошибочно чувствовали – «контра»...

Да и как иначе! Ленин в свое время писал: «Нам нужны не лозунги, не истерические порывы, а железная, мерная поступь коммунистических батальонов». А кому же в голову придет маршировать под гитару! И ведь нет, чтобы искать себе место в рабочем строю, – Окуджава бречит совсем про другое: «Мне надо на кого-нибудь молиться. Помилуйте, простому муравью...» Ну какая же это антисоветчина! А муравьиное сознание все равно раздвигало. Вот эту-то «инаковость» и несли людям барды. Не только народные любимцы, вроде Б.Окуджавы или В.Высоцкого, но и великие в масштабах отдельного университета, отдельного региона, такие, как Слава Полунин...

Понятие «филолог» в разные годы было собирательным для разных качеств. Но для «семидесятников» прошлого века трудно было даже представить себе филолога, ни разу не слышавшего «Битлз» или рок-оперу «Иисус Христос Суперстар». И это тоже была «инаковость». Можно сказать, прорыв в иное измерение, который чувствовали в ту пору не только студенты...

Помню, Соломон Юрьевич Адливанкин привез из командировки заветную кассету с только что появившейся тогда рок-оперой. После

занятий и стар и млад едва ли не подпольно набились в одной из аудиторий географического корпуса. Слушали прекрасные мелодии Андрея Ллойда Вебера... Стемнело, но свет никто не включал. Так и сидели в темноте наедине с музыкой...

Оно и понятно. Пластинки с «Битлз» или рок-оперой, которые в то время назывались дисками, достать было невозможно. Да и стоили они очень дорого, не для студенческого кармана. Выручал Слава Полунин, который пел и «Битлз» и рок-оперу, без разбора, мужские и женские партии.

В ту пору с английским «на ты» были единицы. Но, к счастью, родители в детстве подарили Славе комплект из 3 книжек с картинками: «Обучение дошкольников английскому языку». И Слава так наводстрился в нем, что на практике по английскому его даже освободили от посещения занятий. А славин перевод рок-оперы «Иисус Христос Суперстар» мне и сегодня кажется лучшим из имеющихся. Во всяком случае, только он устраняет прозаизмы, которыми грешит текст самого Тима Райса. Впрочем, судите сами:

1. У Тима Райса (Иуда):

*«All your followers are blind.
Too much heaven on their minds.
It was beautiful but now it's sour.
Yes it's all gone sour...»*

У Славы:

*«Твои последователи слепы,
Слишком много небесного в их головах.
Когда мы начинали, это было прекрасно.
Но теперь это не стоит ничего.
Да, это все стало ничто...»*

Сравните с переводом Кархародона (литературный псевдоним):

*«Все твои последователи слепы
Слишком небом их головы полны
Это было прекрасно,
Но теперь это кисло...»*

2. У Тима Райса (Иисус):

*«Think while you still have me!
Move while you still see me!
You'll be lost, you'll be so sorry when I'm gone...»*

У Славы:

*«Думайте! пока вы еще слышите меня,
Действуйте! пока вы еще видите меня.
Вы будете потерянными,*

И будете так сожалеть, когда я уйду...»

А вот то же место в переводе Григория Кружкова и Марины Богородицкой, с которым Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» и сегодня колесит по стране:

«Помните, внимайте!

Зрите, понимайте!

Ибо скоро я покину всех вас навсегда!...»

Репертуар «Битлз» Слава вообще освоил полностью. Правда, исполнял только те песни, которые можно было переложить для простой гитары: «Strawberry fields forever», «All my loving», «Yellow submarine» – все и не упомнишь. Впрочем, я, конечно, оговорился, сказав «для простой гитары». Потому что гитара у Славы была непростая. Он ее переделал в 12-струнную. И для неискушенного уха гитара звучала не просто красиво, а прямо-таки благородно...

Это благородство, невесть откуда взявшаяся порода, были неотъемлемой частью самого Славы. Недаром с легкой руки Лёши Челознова он носил почетное прозвище «Граф». И, кажется, повод-то для присвоения титула был выбран пустяковый. Подумаешь, во время первого выезда «на картошку» Слава появлялся к завтраку в деревенской столовой позже всех, или, как выражался Лёша: «к какао». Засыпал тоже не как все, а накрыв голову подушкой, чтобы мы своей болтовней не мешали Славе вращать перед сном в голове аккорды и образы. Спрашивается, ну и что? Ведь если бы в Славе впрямь не было ничего «графского», – прозвище это тут же бы забылось. Мало ли какие ассоциации приходят в голову людям.

Ан нет. В стройотряде от тяжелой работы и бытовых неурядиц, чего греха таить, народ заметно опростился: одни растеклись как студень, другие вернулись к армейским привычкам, третьи и вовсе обратились в первобытное состояние – без зазрения совести купались нагишом на глазах у всей деревни. Один только Слава Полунин каким был, таким и остался, даже лексикон не поменял...

Похоже, что это благородство вело Славу и в творчестве. На чьи стихи сочинял он песни?! Если на английском, то это – Томас Мур, Джон Донн, Перси Биши Шелли. На русском – опять одни классики – Марина Цветаева, Юнна Мориц... Но, разумеется, в ход шли и свои заначки:

«...Соловьем бы засвистать

Так, чтоб стены треснули,

Чтоб последняя верста

Обернулась песнею...»

Слава постоянно создавал какие-то ансамбли. На первых курсах это было трио «As you like it» («Как вам это понравится»), где Слава

пел вместе с Галей Балкичевой и Светой Михеевой. Правда, название ансамбля никто не помнил, и на филфаке он был больше известен как «Графские девки». Позже, вместе с Лёшей Челозновым, Слава принял-ся за народные песни: «Ушиб, убил лебедь белую...»

Параллельно с этим, в качестве ритм-гитариста, Слава играл в одной из лучших рок-групп Перми того времени – «Каравелле». Базировалась «Каравелла» в Детском доме культуры в Мотовилихе, потому и концерты проходили обычно там же, с неизменным аншлагом. А если позволяла погода, то группа играла рядышком – на танцах в саду Свердлова. Неудивительно, что и репертуар «Каравеллы» был в основном рассчитан на подростков. Те же «Битлз», советские песни о любви, не забывали ребята и собственные сочинения...

Эта тяга к коллективной игре и общению с подростками остались у Славы на всю жизнь. Трижды в составе разных дуэтов он становился победителем городских конкурсов авторской песни. Семь раз лауреатами этого конкурса становились его ученики и воспитанники. Слава и сейчас продолжает работать с выпускниками школы № 31. Вот только собственные песни ушли при этом на задний план.

Отчасти потому, что не вписалась в новую эпоху и сама авторская песня. Казалось бы, чего проще. Ведь люди и раньше занимались этим бескорыстно. Однако песня – это в первую очередь аудитория. А вот она-то изменилась капитально. Туристов, к примеру, стало даже больше. Но они уже не поют, как прежде, «Солнышко лесное» под гитару, а грузятся в караоке-барах под обычную попсу. На месте авторской песни расцвел лишь один шансон...

К сожалению, мало что осталось и от самих славиных песен. Увы, как и многие по-настоящему талантливые люди, Слава безалаберно относится к результатам своего творчества. Вот и получилось так, что часть его песен оказалась напрочь забыта. Другая осталась в клубе авторской песни «Макушка» Челябинского политехнического института, куда на время Славу забросила судьба. И только немногие, к счастью, живут уже собственной жизнью, в том числе и звучат на знаменитом Грушинском фестивале.

*«Прилетали два грача
От крыльца с подковой
Только где им вращевать
Ниточкой шелковой...»*

Оставив авторскую песню, Слава, разумеется, не расстался с творчеством. На этот раз его увлекла так называемая компьютерная музыка. Причем, Слава самозабвенно занимается не только разного рода аранжировками, но и сочинением собственных композиций. Мно-

гие из них, такие, как «Somewhere in the World», «Hi, Baby», «For your Love», «Living in the Dream», прямо-таки просятся в эфир. Однако на всех радиостанциях для Славы звучит лишь один ответ: «Не формат».

*«... Ах, что первое крыло
Заломили нечисти.
Кабы руки не свело,
Головы б им с плеч снести...»*

Немногие знают, что Слава – великолепный художник. Он не только много экспериментирует с малой пластикой, в основном с керамикой, но и всю жизнь пишет оригинальные картины в разной технике. Славины композиции одновременно причудливы и лаконичны. Часть из них – «Колесо судьбы», «Натюрморт с древней маской» производят угнетающее впечатление. От других, например, от картины «Кувшин» веет теплом и полнотой бытия. Но и тем, и другим на выставках нет места – «не формат». Так и пылятся картины в дальнем углу...

*«Разменяй мне жизнь, меняла
На кабак, да на погост.
В этой жизни запоздалой
Я чужой незванный гость...»*

Музыка – не формат, картины – не формат. Вся жизнь – не формат. Во всяком случае, сегодняшнего дня...

*«... Цыгане шумною толпою
Бредут мне душу бередя.
И то, как зверь, она завоеет,
То заплачет, как дитя...»*

01.08.2013

Сергей Чилейшин

КТО В ОБЛАКЕ?

**(Юрий Беликов в перекрестии пристальных взглядов:
от Марии Серовой до Евгения Евтушенко)**

«Голос компенсирует его шероховатую внешность боксера супертяжелого веса. Поэтического во внешности Беликова – разве что кудри. Но они никого не обманут. В нем есть немедленная готовность дать в морду. В Юрии Беликове живет матерый зверюга...»

Светлана Федотова,

журналист, писательница
(«Футурум арт», № 3, 2007)

«На раменах таких атлантов, как Юрий Беликов, – Небо-Свод русской поэзии со-держится и, как Покров (Б-цы!) – окормляет и Душу русского народа, и его Логос, и все это вместе взятое равно Слову России!»

Георгий Гачев,
философ, культуролог
(Переделкино. Май 2007)

«...и со временем людей, смотрящих на мир так же, как Юрий Беликов, станет намного больше».

Константин Уткин,
критик
(Из ст. «Белый воробей в
обычной стае». «Ex libris
НГ» от 23 августа 2007)

Творчество живущего в Перми поэта Юрия Беликова, выпускника университетского филфака образца 1980 года, отмечали самые полярные критики – от Владимира Бондаренко из «Дня литературы» до Евгения Минина из «Литературного Иерусалима», от новосибирского «евразийца» Владимира Яранцева до шведа «туркменского разлива» Ак Вельсапара. Генрих Сапгир называл Юрия Беликова «легкой бабочкой и поэтом весомым», Георгий Гачев сравнивал со «взрывом и прорывом Духа через вязкость энтропии», Ольга Ермолаева – с «голосом чистой, сильной и красивой провинции», Андрей Вознесенский углядел в нем «талант шамана, заклинателя и пророка», а Евгений Евтушенко – способность «в отличие от многих почвенников, не замыкаться на чувстве родного края и России, а могуче и естественно сливаться с космосом, общим для всего человечества». Он же включил стихи Юрия в антологию «Десять веков русской поэзии». Заметьте: наряду – со «Словом о полку Игореве», стихами Пушкина, Блока, Есенина и Мандельштама.

Знаменитый основатель Чусовского этнографического парка и «Музея писательских судеб» Леонард Постников посвятил его «живому экспонату» вышедший в серии «Люди реки Чусовой» красочный и оригинально выстроенный фотоальбом, названный строчкою из Бели-

кова: «Чусовой – это совы на сучьях сосновых...». Здесь, так или иначе, представлены все его книги. Их у Юрия немного: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой» и «Я скоро из облака выйду». Между первой и второй, как водится в русском застолье, был промежуток небольшой. А между второй и третьей – молчание длиною в семнадцать лет. В эту пору Беликов становится «вождем дикороссов», или, как отрекомендовала их поэтесса Анна Павловская, – «кочевого племени, жившего на территории России в начале XXI-го века», поэтов «края бытия», чьи стихи на протяжении последнего времени усилиями Юрия Беликова публиковала «Литературная газета». Он же составил их «сборную» антологию «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)», увидевшую свет в московском издательстве «Грааль» в 2002 году. Четвертая же книга про облако (простите за невольный каламбур и некоторую тавтологию!) на момент, когда будет издана эта книга о выпускниках филфака, надеюсь, появится на книжных прилавках.

Кроме того, Беликов – страстный публицист и «штучный» собеседник самых ярких и угловатых современников наших дней. Среди них – Виктор Астафьев и Эдуард Лимонов, Александр Проханов и Дмитрий Быков, Станислав Куняев и Андрей Битов, Георгий Гачев и Константин Кедров, Александр Дугин и Валерия Новодворская, Сергей Глазьев и Наталия Нарочницкая, Исраэль Шамир и Ирина Хакамада, Вадим Абдрашитов и Павел Лунгин... Эти беседы, перерастающие в диалоги, печатали в разное время та же «ЛГ», журналы «Юность», «День и Ночь» и «Дети Ра», столичные газеты «Трибуна», «Труд» и пермская «Звезда».

Но сегодня мы не будем касаться ни диалоговой грани дарования Юрия Беликова, ни его общественной деятельности, получившей почти «гулливеровскую» оценку одного из читателей «Труда»: «Вы делаете для современной отечественной литературы больше, чем несколько Союзов писателей, вместе взятых». Не будем касаться также его достижений в прозе (он автор двух ярких повестей «Изба-колесница» и «Игрушки взрослого мужчины»). Сосредоточимся на главном проявлении Беликова – поэта.

В этом смысле характерно письмо (а с разных концов России, ближнего и дальнего зарубежья к Юрию Александровичу их приходит немало) уже упомянутой московской поэтессы Анны Павловской – своего рода нынешнего камертона гражданской прямоты и искренности: «То, как вы живете в литературе и для литературы, то, как вы помогаете талантам (часто наперекор чиновникам и их фаворитам), делает вас одним из выдающихся поэтов современности. Когда я унываю и малодушие толкает меня к пустому, мне стоит только вспомнить вас,

подумать о том, что Юрий Александрович так бы никогда не сделал, и вера возвращается ко мне, и я снова чувствую судьбу, путь, что ли...»

Поразительно: человек живет в Перми, а знают его и ценят в других городах – Екатеринбурге и Красноярске, Омске и Новосибирске, Ставрополе и Великих Луках, Москве, Киеве, Иерусалиме, Стокгольме и даже в Талсе штата Оклахома. Приведу лишь один пример: в 2005 году за «верность идеалам великой русской литературы» творцами Великих Лук Юрий Беликов был награжден Орденом-знаком Велимира «Крест поэта». Каково расстояние от Перми до этого древнерусского города? Вопрос излишен. Впрочем, еще Леонид Мартынов по этому поводу сказал:

*Расстояние не помеха
Ни для смеха и ни для вдоха.
Удивительно мощное эхо.
Очевидно, такая эпоха!*

Применительно к герою наших заметок и особенностям нынешней эпохи с ее вымороченной иерархией ценностей эти слова звучат с обновленным и даже providentialным оттенком. Насколько мне известно, в Перми прошел лишь один творческий вечер поэта. А именно: 30 мая 2007 года, когда в малом зале драмтеатра состоялась презентация его книги «Не такой». На входе висела афиша, на которой было обозначено: «Не такой, или Раз в столетие». С вызовом (в первой части) но и с грустью (во второй). На сей счет обладатель «Креста поэта» однажды весьма образно пошутил: «Пермь для меня – как ракушка для улитки. Телом я – в “домике”, а рожками-антеннами – в других городах и иных мирах...»

В Союз российских писателей Юрий Беликов был принят в 1991 году по устной рекомендации Андрея Вознесенского, когда тот вышел на трибуну ЦДЛ и заявил: «За бортом нашего творческого союза остаются писатели либо волею судеб оказавшиеся за границей, такие, как Василий Аксенов и Юрий Кублановский, либо живущие в провинции, такие, как пермяк Юрий Беликов...». Его письменные рекомендателями стали Кирилл Ковальджи, Ольга Ермолаева и Валентин Курбатов. В 2002 году Беликов принят в члены международного ПЕН-клуба, а в 2011-м становится членом Высшего творческого совета Союза писателей XXI века.

Его стихи публикуют самые разные журналы – от «Киевской Руси» (Украина) до «Иерусалимского журнала» (Израиль), от «Зарубежных записок» (Германия) до «Флориды» (США), от журнала «ПОэтов» Константина Кедрова до «Академии поэзии» Валентина Устинова, от «Знамени» до «Юности», от антологии «Самиздат века» Генриха Сап-

гира до антологии «Молитвы русских поэтов» Виктора Калугина. Однако эта полярность свидетельствует не о пестроте вкуса и принципов, а о диапазоне личности автора, диафрагме его поэтических легких. К тому же публикации не были множественными и назойливыми. Мало того, не мешало бы посчитать, от участия в каких антологиях, фестивалях и тусовках отказывался «гордец Беликов».

Ни к какой УПШ – уральской поэтической школе – куда едва ли не всех, сколько-таки заметных виршеписцев региона рекрутирует челябинец Кальпиди, Юрий, упаси Боже, себя не причисляет. Да и стихи его в «СУПе» («Современная уральская поэзия», антологическая серия, которую готовит тот же Кальпиди) вы найдете разве что только в первом ее выпуске. Далее следуют беликовские отказы.

Так же в свое время он отказался издаваться в сборнике «Поэты Перми» в знак протеста, что из него были исключены стихи его друзей-соратников – Владислава Дрожащих, Юрия Асланьяна и Анатолия Субботина. В дальнейшем Беликов занимал стойкую и резко отрицательную позицию относительно всех горе-проектов небезызвестного галериста Марата Гельмана в «культурной столице Европы». Как ни уламывал Юрия гельмановский посланец, «собирающий стихотворческую дань» с городов «Культурного альянса» критик Вячеслав Курицын, передать стихи в альманах «Поэтический путеводитель» или – войти в один из «ханских» шатров бесконечно «Белых ночей», – лауреат «Чусовской подковы» – (награда от Леонарда Постникова тем, кто «любит Чусовую, Урал и Россию»), «Махатма русских поэтов» (Алтай, 1989 год), остался себе верен. «На твой безумный мир ответ один – отказ!», – писала Марина Цветаева.

А вот что сказал о личности и творчестве Юрия Беликова на вручении ему всероссийской литературной премии имени Павла Бажова за свод избранных стихотворений «Не такой», его екатеринбургский собрат, нынешний заведомом поэзии журнала «Урал», известный лингвист, профессор филологического факультета Уральского госуниверситета имени Горького Юрий Казарин: «Поэт всегда за границей: за чертой обыденной речи, пахнувшей жратвой и гламуром. Таков Юрий Беликов: его стихи сотрясают мозги обывателя и вправляют их. Его стихи – это грозная, мощная нежность, колеблющая сходящий с ума мир, как пульс птицы небо. Именно так – «Пульс птицы – называлась первая его, вышедшая в Москве книга – ладонь можно было обжечь. Я еще тогда изумлялся: откуда у Беликова такая поэтическая сила, оказывающая на людей прямо-таки физическое воздействие? Конечно, нельзя сравнивать поэтов вообще, но мне даже кажется, что Юрий Беликов – поэт такой же стихии, как и Николай Клюев: та же скрытная, сжатая

энергия, которая в любой момент может навалиться на тебя в неожиданном месте, разорвать тебя изнутри до всех твоих артерий и преобразить! Юрий Беликов – в полном смысле этого слова – поэт XXI-го русского века, когда поэзия, излечившись от социальной функции служения – в особенности, государству с его идеологией, сумела сохранить в себе религиозные, духовные и философские функции. Его книга «Не такой» – это сгусток чудовищно сжатых поэтических смыслов, выделяющих в процессе восприятия мощную энергию нежности и любви, боли и совести, жизни и смерти, гнева и доброты, голоса и тепла, взгляда и света...».

В начале 90-х, познакомившись на одном из московских квартирников с беликовскими стихами и их автором, легендарный подпольный поэт Юрий Влодов, запустивший в народ ставшее фольклорным двустишие «Прошла зима. Настало лето. Спасибо Партии за это!», недоумевал: «У тебя же две книги! – я возмущенно пыхаю в собеседника сигаретным дымом. – Ну, пермская – “Прости, Леонардо!” – могла остаться неведомой. Но *эта* – “Пульс птицы”! – я потрясаю перед Юрой его же книжкой. – Это же Москва! – “Современник”! И не организовать ни одной статьи...».

Да, таким он был и остался: «не организовывающим ни одной статьи» про себя и постоянно организовывающий их в поддержку других. И если первые две названных книги Юрия Беликова для критических радаров нашей словесности прошли почти бесследно, то третья – «Не такой» – стала буквально урожайной на всевозможного рода отклики, статьи, эссе и даже студенческие работы. В этом смысле нам представляется любопытным предложить читателю некий «парад планет» из заметок и размышлений различных авторов, пытавшихся очертить поэтический феномен Юрия Беликова, иногда даже вступая в полемику друг с другом. Итак...

В 2007 году в еженедельнике «Литературная Россия» вышла статья известного сибирского критика, литературоведа и историка литературы Владимира Яранцева, озаглавленная им строчкою из беликовского стихотворения. С этой статьи все и началось...

**ВЛАДИМИР ЯРАНЦЕВ:
МЕНЯ ЗАПОМНИЛА ВОЛЧИЦА**

Юрий Беликов не пишет, а сотрясает. Ударяет, припечатывает, валит с ног – тут подойдут все глаголы прямого действия. Он будто не

стихи пишет, а бьет, пробивает, бурит, как шахтер или буровик-взрывник, взрывающий тяжелую породу поэтической словесности. Близкий, на первый взгляд, А. Вознесенскому, он невольно тяготеет к Маяковскому, комплекции и стати его убойных стихов.

Читаешь Ю. Беликова с постоянно напряженными мускулами. И не только рук и ног, которыми обороняешься или атакуешь. Но и с теми, которыми плачут и глотают обиды и горе. Уже первое стихотворение напрягает глотательной конвульсией: «Русский запой» – это когда пьют вместо русской водки русскую судьбу. И не замечают, как выпивают Россию: «Как тут с остановившейся у горла / отчизною отчаянной не спиться? / Я пью, чтоб окончательно не сбыться / и покатиться с черного угора». На то он и запой, чтобы пить все подряд, без разбора. На то он и Беликов, чтобы все в него вошло, вместились и стало материалом для стихов.

Этот «материал» ворочается в нем, в его сознании, тяжкими жерновами, выдавая на-гора мУку и мукУ его грубо помолотых стихов. Скорее, грубого помола солью, от которой читателю и солоно, и горько, будто его огорчили, обругали, избили. Распятым трамваем чувствуешь себя в одноименном стихотворении вместе с его лирическим героем: «Мне плюнули в лицо юнцы вон те, / из темноты. Казалось, их плевки / Текли и по стеклу, и со щеки. / Мне плюнули в лицо. И я не мог / разбить стекло. Но и стереть плевков». Тема плевок в стихотворении патологически разрастается (9 глаголов, 3 существительных, 1 причастие), обретая структуру и консистенцию плевок. И это стихотворение-плевок ползет и по щеке читателя, отчего делается гадко и оскорбительно. А потом больно – и за себя, и за поэта, оплеванного всем, что его окружает – Родиной и Москвой, людьми и природой, в целом и в частности.

Отсюда и кулаки, и тяжкие камни его слов и строк и вся та агрессия его поэзии, которая отвечает на агрессию мира здешнего, отсеченного от мира Божьего. «Но Родину я видел потому, что мне она выкалывала очи!». Потому и зрение у поэта особое: его глаза выхватывают все «колющее» и «колющееся», мускулы его глазных яблок напряжены, скашивая обостренный взор долу, к земле, ее земной, «слепешарой», вечно провинциальной жизни. Только таким, отяжеленным, выколотым Родиной взглядом, можно было узреть инвалида-«обрубка» из одноименного стихотворения, от которого разит мочой опившегося и опустившегося человека. И вновь гадко и стыдно – не за поэта, а за такую Родину, в которой такие ущербные люди на каждом шагу. Эту дурнопахнущую родину-обрубок невозможно изображать по-иному, чем таким вот выколотым, косящим взглядом.

«Анатомические» стихи Ю.Беликова сплошь ущербны именно с этой, специфической точки зрения. И поэтому все стихи поэта – о родине, лесе, реке, женщинах и т.д. – анатомичны. С той же, уже отмеченной, агрессивной беспощадностью – к себе и стране, плюющимися и оскверняющимися – рисует он и народ этой Родины. Той, которая рождает либо инвалидов, либо олигархов, бедность либо роскошь в качестве уродливых экспонатов Кунсткамеры. «Народ валит глазеть на олигарха, / из сауны который, без портков, / идет сигать с расхлябаных мостков». Анатомия этого стихотворения, рассеченного на олигархов и зевак, уж, конечно, не блещет гармоничными пропорциями: «Люб олигарх мне, а народ отвратен. / И даже отвратителен народ».

Поэту гадко и отвратительно, но он вновь и вновь пишет о дисгармонии мира, основанного не на ценностях, а на неполноценностях. «Мне страшны красноватые шеи в шинельную скатку, / эти пролежни правды, что била штыком под лопатку, / эти рытвины веры, разломы цепных кадыков, / эти синие слепки застегнутых воротников, / застигавших врасплох!». Ассоциации этого стиха под названием «Посвист пуговиц» вводят поэта и на войну, и на пуговицы мундира изображаемого поэтом ветерана, надстраиваясь этажами ассоциаций про «суку, трясушую сосцами ослабших медалей», и про маршала Жукова, и, наконец, обо всем «мире подноготном», который «трещит, потому что пришит» и постоянно рвется.

Эта дикорастущая (см. сборник под редакцией Ю.Беликова «Дикороссы», М., 2002 г.), как неполютый огород, образность выдает в поэте еще один дар, симметричный его анатомической оптике – многословия. Но не графоманского, с его неживыми, пустыми словами, а органического происхождения и произрастания. Слова у Ю.Беликова плодятся и размножаются от соития смыслов и звуков, согласно симметрии корнеслова и корнесмысла. А также благодаря поэтике агрессивного, мускульно напряженного взгляда на мир, который столь симметричен самому поэту, его анатомии и физиологии. Созвучия в стихах поэта пружинят словами-близнецами, раздвигая границы и строк, и смыслов. Бросается в глаза их обилие: едва ли не в каждом стихотворении можно найти такие перекликающиеся слова: «на угоре – с кагором», «окалина – околица – калина», «дыры – дары», «космическом, косматом», «плещет плащ», «ни пяди – дай пять», «трещит – пришит» и многие другие. В идеале Ю.Беликов хотел бы, наверное, превратить весь стих в одно созвучие: «Инесса – иней на осоке, / звон колокольный, сон глубокий, / Инесса – иноки в тени, / Инесса – значит, осе-иИ...» Но чаще ограничивается одной строфой: «Оборотив для матуш-

ки в жар-птицу / всяк персик, а наперсницу – в сестрицу, / сестрицу же в черницу, а черницу – / в чернильницу под нимбом ободка».

Во многих стихах подчеркнут доминирующий звук: «И, **п**равя **ч**опорную **р**ечь, / там в **п**евчую швыряет **п**ечь / отец твой книг моих дощечки, а мать **п**ечет на той **п**ечи / причудливые куличи / и кличет дочь **п**лясать от **п**ечки». Или: «мне надобно прошлым, поросшим быльем и порошей задавленным стать... / по мне, **ш**аровому, что ниши для вздохов, как слепнувший **Ш**ива, **с**шивал, / **ш**ипя, расползались по дому лампы **ш**ироких моих **ш**аровар». Кажется, что у Ю.Беликова звук рождается прежде смысла, совсем по-футуристически, и в этом есть свой особый смысл. Нагнетая согласные одного регистра, поэт словно вызывает к жизни стихии давно обездвиженного мира, стараясь удержать их в упряжке единой мысли. В этом трудном деле нужен не только дар (такое удавалось лишь Хлебникову, Маяковскому, Пастернаку и Вознесенскому), но и безусловная уверенность в своих поэтических силах. Не зря он поэт-«супертяж», готовый «сойтись» на поэтическом ринге не с «легковесом Кушнером» или «средневесом Рейном», но с «Павлом Васильевым и Леонидом Губановым, Пабло Нерудой и Шарлем Бодлером». Но главным соперником и собратом, а может, и кумиром – по нашим читательским ощущениям – остается для него Маяковский с исполинской образностью его «Облака в штанах».

Это легко подтверждается то и дело возникающими образами-гигантами: «ящер, влетевший в гусиное время с размаху», «мужчина, как огромный красный дом» и др. Сам герой поэта то «небо до дыр затяжною молитвой истер», то «по космосу шагает взад-вперед», то утверждает, что «здешним солнцем дыру заварю». Написав «Я продолжаю нести бытие братцев моих нареченных...», Ю.Беликов проговорился о ключевом для него. О том, что готов нести бытие как такое, во всей массе, тяжести и тяготе взваленного на себя супертяжелого веса.

В этом, по Ю.Беликову, состоит суть, путь и миссия поэта-мессии в мире. Назвался поэтом – соизмеряй себя не меньше, чем с Богом, испытай на прочность свое слово, которое, по Библии, должно быть тождественно Богу. Поэту еще предстоит осознать эту диалектику Бого-словия, по крайней мере, он задал себе такую задачу на будущее, как когда-то Маяковский провозгласил себя тринадцатым апостолом: «Он свой оставил знак, / и звуком обволок. / Бог – Слово. Это так. / Но Слово-то – не Бог». В конце стиха, однако, совсем по-галилеевски, звучит обратное: «И все-таки Он – там». Поэт верит в это, вопреки бессловесной эпохе, назло тому, что слово его «не сбылось», разминувшись с его временем. Ибо те, чье слово по-настоящему не совпало с эпохой,

как А.Тиняков, – либо в Чистилище с заклинанием «Подайте бывшему поэту!», либо, как И.Тюрин, в Раю («он мог звенеть бы райскими ключами»). Те же, которые совпали с эпохой, как А.Вознесенский, уже ее пережили, оставшись в своем переделкинском сосновом прошлом, остальные для них – «из тюрем». Ну а те, которые еще не сдаются на ринге поединка с веком и со своим Временем, как Ю.Беликов, по-«супертяжски», по-маяковски грозно вопрошают: «Кто ж там, совея от пиршеств, / клича парчою паршу, / Словом отринутым пишет, / ежели я не пишу?!».

Он готов быть нашим проводником по Аду всех мерзостей здешнего мира, когда пишет об «оплеванных трамваях» или «обрубках». Но только не сторонним наблюдателем. В его стихах цикла с красноречивым названием «... Человек уходит Божий» есть образ китайской розы, которой «чудится», что своим распахнутым бутонем она «всю мерзость мира» поглощает. Или еще более внушительный образ возвращения «матушки», которое означает очищение мира и влечет за собой библейское возвращение блудного сына-поэта в лоно гармонии: «возвращается сын – завершается мира картина».

Но он не Вергилий – это имя уже скомпрометировано в стихотворении памяти В.Астафьева. Там герой не хочет быть экскурсоводом по усадьбе покойного писателя, где «завывают пииты, как черти в аду». Он – сталкер, который ведет читателя по кругам ада и рая своей души и родной земли. Стихи этого раздела под названием «Стихи старого сталкера» – самые, можно сказать, беликовские. В них есть и боксерская мускульность «удара по печени», и грубый помол с «непереваренными кусками» косного бытия, и дикорастущая, непрополотая гладкописью, образность, и всепроникающая рифмовка-переклик смыслов и слов. И, наконец, глубина (она же высота) микро- и макробытия. Столь же неугомонно-маяковская, вызывающе эгоцентрическая, сколь и своеобразно-почвенная, мучительная, а значит, подлинная.

Даже чисто визуально эти стихи напоминают контурные карты материков как результат кропотливого обследования местности. Неравнострочные, часто без рифм-ограничений и регулярной метрики, они будто дублируют пермские ландшафты, географию физическую и метафизическую этих мест. Ведь Ю.Беликов именно здесь сталкер, поисковик-махатма. В одном из недавних интервью он, автор новой книги, так и сказал: «Литературный ландшафт формируется под воздействием геолого-географического... Пермский ландшафт как раз и обусловлен взлетами и пропастями шиханов – береговых скал». Своими учителями он называет «леса и реки», которые и наполнили «корзину» его метафор. Эти метафоры становятся соединительными мос-

тами между ландшафтами Перми и души поэта, через телесное посредство самого автора.

Так появляются гибридные стихи с участием лица, глаз, ладони поэта. В одном лице лирического героя отражает «дорогу, перекрученную, как простыня, / и надгробные плиты враскид, / чтоб колеса не буксовали». В другом глаз гипотетически усопшего поэта становится универсальным связным с покинутой природой («чтобы я понимать научился таежные реки») и обретенным потусторонним космосом собратьев-творцов с «виноградным градусом косинки» в глазах (Моцарт, Гумилев, Астафьев и др.). В третьем космос размещается на его ладони, где некогда, на холмах Луны и Венеры, на долине Марса и т.д. кипела земная жизнь, а теперь «космоса вкрадчивый жидкий азот / продолговатую рану ладони / лижет».

На наших глазах создается целый универсум равных возможностей для любых видений и фантазий поэта, подхватываемых его зазеркальными визави. «У меня исчезает имя», – видит или придумывает он. Следует стихомедитация и в итоге – «сквозь имя твое просвечивают / звезды, звери, свистящие травы, / подбородки других имен». Все здесь находится под воздействием силового поля своих и иных энергий, в причудливой оптике «с толкунцами изменчивых стеклышек». И вот уже НЛО представляется автору как «Нимбы Людского Отступничества» – аурами, потерявшими своих хозяев. Боксер Тайсон расшифровывается как «сон Таиланда», «равный голубке» и, может, самому Христу. А сам поэт мнит себе «всего лишь пугливой тенью собственных стихотворений».

Ю.Беликов рискует, героически творя на грани бреда и меньше всего сверяя строки и строфы со здравым смыслом и с учтивостями школьной метрики и метафорики. Стоит ему ослабить цензуру здравого поэтического смысла, и ему является – из шиханов пермской земли, магмы собственной неупокоившейся души или космической плазмы НЛО – что-то явно нездешнее. Посреди не очень-то древней Греции ему встречаются лох и Архилох, в зоосаде его «запомнила волчица», а в родном доме «иконы излучают», темнея от «запекшейся молитвы».

Так поэзия перерождает поэта, а он – ее, и этот почти химический процесс перерождения, благородной мутации, мы и видим, читая книгу Ю.Беликова. По его словам, «возможно, в их (поэтов) организме какой-то особый химический состав. Например, растворены жидкие кристаллы». Эту-то процессуальность перерождения мы и наблюдаем в «жидких кристаллах» стихов поэта. Он «не такой» – и это тоже «жидкокристалльная» самохарактеристика, состояние субстанции его души, тела, поэзии на сегодняшний день и год.

«Не такой» – значит, еще и всякий, разный, полярный. На одном полюсе он срывается на крик – так что хочется подсчитать частотность этого словоупотребления, дающего соответствующий эмоциональный фон целому ряду стихов. И видно, что это вещий крик пророка, Маяковского «крикогубого Заратустры», пермского махатмы. На другом полюсе – лирическая тишина водной или небесной глади, удивительные строки: «Небо одно лишь не выпустишь в небо, / чтобы опомнилось в небе оно». И тут же он может ошеломить дико эротической сценкой с участием «цветочницы из Михайловского: «Я вые... ее, поставив к дубу раком». На этом фоне раздел «Неперечтенное» со стихами 30-20-летней давности – кажется попыткой вернуть потерянную поэтическую девственность, угостить опресноками после острых переперченных блюд. Это напрасные строки взрослого поэта, редко выпускающего свои книги и потому чувствующего себя обязанным напомнить о своей юности.

Но таков уж Ю.Беликов – поэт разнообразных состояний и настроений, пермяк до глубины души, «избранный» друг сибиряка Миши Тарковского и столь же «избранный» недруг Москвы и москвичей, вроде Ю.Кублановского. Тот Беликов, который, в опровержение своей чеховской фамилии «человека в футляре», начал свою книгу почти по Достоевскому: «Меж Банною и Белою горой...» (т.е. между психушкой и монастырем) и закончил совсем не по-ангельски: «Не трепещи, ангелочек, / и за меня не моли / Времени для проволочек: / то еще не перечли».

Впрочем, в конце книги Ю.Беликов поставил большую и многозначительную точку-стихотворение «Упряжка бабочек», выделенное в особый раздел «Перечтенное». И заставил нас вспомнить авторское определение жанра книги – «свод стихотворений», подразумевающее что-то архитектурное, христиански соборное либо, наоборот, хладнокровно рассчитанное, маяковски монументальное. Вышло же, как мы видели, нечто из «другой оперы», из смежных жанров и наук, и, с позволения сказать, других менталитетов. С этой «сводчатой», архитектурной точки зрения массив стихотворений Ю.Беликова предстает действительно «объектом», только далеко не опознанным – поэтическим НЛО. То появляясь, то исчезая на радарх нашего восприятия, он взрывается протуберанцами вспышек и выбросами магмы, посылает нам лирических героев-гуманоидов своей беспокойной мысли, чертит неведомые знаки на полях. Таким особой сложности знаком и явилось финальное стихотворение (точнее его вторая часть), представляющее собой трансмутацию образов: от пыли захлопнутой (результат «перечтения»!) книги до какого-то феноменального сада. И все это дело рук

«упряжки бабочек», которая «с каждым взглядом / сдвигает мир, и он в ее лице / становится и всадником, и садом». Вместо монументального Маяковского тут (в первой части стиха) – «фосфорный» Фет и «набокий» Набоков как предтечи чего-то нового, удивительного. Потому и вместо махаона здесь – махатма, заставляющий вспомнить «Сад разбегающихся тропок» Х.Борхеса и «философскую» бабочку из китайской притчи, которая снится Чжуан Цзы и которой все мы остальные сним-ся. Если все это и точка, то далеко не завершающая. Скорее, запятая.

Таким и «не таким», «перечтенным» и «неперечтенным» поэт Юрий Беликов и запоминается нам – Махатмой и Заратустрой своей глубинной, как недра Перми, поэзии.

Новосибирск

Небезынтересно будет сопоставить, как эта, напечатанная в «Литературной России» статья, аукнулась не где-нибудь, а в Святом граде – Иерусалиме. Здесь давно уже живет в ранге главного редактора журнала «Литературный Иерусалим» поэт, критик, автор нескольких книг литературных пародий и член редколлегии альманаха «День поэзии. XXI век», уроженец псковской земли Евгений Минин. В стихах доселе неизвестного ему пермяка Юрия Беликова он услышал совершенно другое. Во всяком случае, совсем не то, что представилось Владимиру Яранцеву, окунувшемуся в книгу «Не такой». В 2008 году этот отклик был опубликован в 6-м номере международного журнала поэзии «Дети Ра».

ЕВГЕНИЙ МИНИН:

ОН МЕЖДУ УДАРАМИ СЕРДЦА РОССИЮШКУ СХОРОНИЛ

Эта гордая фраза кочует по страницам газет и литературных журналов: «Настоящий поэт должен быть всегда в оппозиции к власти, хочет он того или не хочет». Наблюдая за творчеством поэтов разных стран и материков, убеждаюсь, что, увы, на современном этапе сей обращенный к ним посыл не вырывается за пределы узкого пространства кочующей фразы, за исключением двух случаев – в меньшей степени – Израиля и в большей степени – России, где поэт ощущает себя частицей страны, говорящей с ним на одном языке, тем более, если он в ней живет. Может ли он не быть в оппозиции к стране, которая не жалуется поэтов, или, точнее, жалуется не всех? Юрий Беликов находится в стане тех, кого не очень жалуют. И, как мне кажется, он – один за всех, а вот чтобы понять – все ли за одного? – для этого надо открыть

свод его избранных стихотворений, увидевших свет в минувшем году в московском издательстве «Вест-Консалтинг».

Моментом же, побудившим меня взяться за написание этого эссе, послужила рецензия новосибирского критика Владимира Яранцева, опубликованная в «Литературной России» 7 сентября 2007 года и посвященная как раз книге пермского поэта Юрия Беликова «Не такой». Ощущение, что рецензент, насмотревшись боевиков типа «Экшн», вывел Юрия Беликова Шварценеггером от поэзии, с большими кулаками, ведущим бой с тенью. Я уже не говорю об эпитетах – «агрессивной беспощадностью, мускульно напряженного» и боксерскую лексику рецензии, искажающих, на мой взгляд, образ автора книги, превращая его в эдакого супермена от поэзии. Признание Юрия Беликова в стихотворении-верлибре «Супертяж»:

*Я и впрямь читаю стихи,
при помощи рук,
словно провожу хуки и апперкоты, –*

еще не повод причислять его к стихотворным киборгам. У него совсем иное амплуа. Или, лучше сказать, стезя. Приведенные строки – не синоним агрессии в самом поэте. Он – добрый русский мужик, родившийся на берегах Чусовой, любящий Родину, но не Отечество, болеющий за нее, но которому, может, не повезло – родился ПОЭТОМ, со всеми вытекающими отношениями к поэтам в России:

*Старче, в России рыбой надобно быть поэту,
чтоб укрупнять молчанья синюю чешую...*

Можно ли быть наделенным Божьим даром и молчать о том, что видишь кругом? В России, где немало желающих заткнуть рот поэтам, даже молчание красноречиво:

*А ну замолчим, если нам надлежит замолчать,
да так замолчим в буреломных лесах без названия,
чтоб все, что звучит, продолжало бы дальше звучать,
но было слабее, чем наше молчанье.*

Беликов живет не только в настоящем – он постоянно заглядывает в прошлое своей страны, представляя ее не очень лучезарное будущее, укладывая все в единую плоскость, соизмеряя тональность своей лиры с тональностью разных времен:

*Каждый день собираю дань.
Порох есть, но куда он уходит?
Тохтамыш, на протягивай длань.
Я служу не на ханской охоте.*

Или:

Кто-то вспомнит, что видел меня в последний раз

*переходящим в Перми из борделя в бордель.
Или как первым делом я поминал Колчака
у зрачка Ангары на виду Иркутска.
Или нет – будто мне Андрей Вознесенский
орден вручал в Золотой Орде
за высшие достижения
в области литературы и искусства.*

Я давно знаком с творчеством Юрия, что дает мне право не только не согласиться со многими выводами рецензии Яранцева, но и кое-что в них опровергнуть. Полагаю, чтобы писать о чем-то творчестве, а тем более, о творческом диапазоне Беликова, надо обладать базовым уровнем знаний о жизни этого автора, попытаться совпасть с ним по фазе мышления, хотя бы в период написания о нем, понять и принять его идеи, как свои, независимо от места и условий проживания. Книга поэта похожа на кардиограмму – выхватить из нее пиковые точки и по ним ставить диагноз не решиться ни один врач. В противном случае, искажается образ поэта.

Окидывая пронзительным взором быстродвижущиеся тени нынешнего российского бытия, Юрий Беликов видит, как вокруг все меняется, и, кажется, не в лучшую сторону:

*Где друзья? Где жена? Где БГ? Где ГБ?
Побренчим же, страна, брынь-брынь-брынь, на губе,
на небритой, брынь-брынь, побренчим, брынь да брынь.
Вдруг Добрыня придет из чукотских пустынь?*

Книга «НЕ ТАКОЙ», определяемая автором, как «Свод избранных стихотворений», при первом прочтении представляется эмоциональной мозаикой чувств наподобие картин импрессионистов, и лишь подойдя ближе и взглядевшись, можно увидеть мазки мастера, и узнать, чем и как живет его душа. И мне ясно, что фундаментом, доминантой книги Юрия Беликова является **БОЛЬ** – боль за Родину, за страну, за постыдное существование достойных людей, ставших отбросами общества, его затопленными подлодками:

*Во сне моем космическом, косматом
всплывают не безмолвные колодины –
подлодки, переполненные матом,
который не дойдет до Родины.*

Итак, боль и, может, в какой-то степени бессилие. Такое у автора книги даже не мироощущение – я бы назвал это чувство родиноощущение – что отсутствует у многих русскоязычных поэтов, живущих

далеко от метрополии. И понятно: когда болит, думается не столько о красках мира, сколько о причине, вызывающей эту боль:

*Съезжал я в Потьму, уходил во тьму –
который путь в отечество короче?
Но Родину я видел потому,
что мне она выкалывала очи!*

Разве не болью вырваны из сердца эти строки? А посему:

*Осталось дослушать перестрелку поленьев в печи
и, как крутят барабан с единственным патроном,
приблизить лицо
к раскаленному морозу глинобитной исповедальни,
и спокойно дожждаться,
когда красный, прицелившийся уголек
выстрелит тебе прямо в лоб...*

Или вот эти слова, как предсмертный хрип:

*Но есть последняя строка:
– Подайте бывшему поэту! –
в хребтину мира острога
за то, что был поэт – и нету...*

Лирический герой книги «Не такой» в моем представлении – **Витя-иннок**, пытающийся докричаться до спящей обдурманенной Родины, не надеясь разбудить, но в попытке раскрыть ей глаза, чтобы оглянулась она на то, что кругом творится:

*Россия – спящая красавица.
Свою беду она заспит.*

Да, автор понимает: «Даже если прочтут, не прочтут все равно». Но, может, услышат! Возможно, если приглядеться внимательно, он – в накидке Герцена, наделенного хромотой Байрона. Горькая ирония сквозит в строках:

*Потому что, ежели я паду за свободу Греции,
кто же тогда падет за свободу моей России?*

Но, если его ПРОЧТУТ, то появится чувство, что жизнь надо менять в корне! Слова, составленные в строки, просто информативны, как не получившие приказа солдаты в строю. Строки, составленные из тех же слов, но поэтом, у которого плачет сердце о многом, пронзительны, и способны изменить мировоззрение читателя. Разумеется, того, кто ПРОЧИТАЕТ:

*Если б вы представляли, как это невыносимо,
когда дятел вечности
долбит твою сердцевину*

и там ничего не находит...

Владимир Яранцев, рассматривая стихотворение Беликова «Баллада о распятом трамвае», помещенное в начале книги, пишет: «Тема плевка в стихотворении патологически разрастается (9 глаголов, 3 существительных, 1 причастие), обретая структуру и консистенцию плевка. И это стихотворение-плевок ползет и по щеке читателя, отчего делается гадко и оскорбительно. А потом больно – и за себя, и за поэта, **оплеванного всем, что его окружает – Родиной и Москвой, людьми и природой**, в целом и в частности».

Категорически не согласен! Не поэт, «оплеванный Родиной и Москвой», **а поэт, окруженный оплеванными Родиной, природой и Москвой, и всякого рода подонками**. Это очень важно, а иначе, я полагаю, искажает для читателей концепцию книги. Каковыми должны быть житье и окружение, чтобы вырвалось подобное:

*Я хожу в магазины
остывшей одежды. И в них
ледяной гильотины
свободный ищу воротник!*

Вот бы Яранцеву обратить внимание на следующее за «Балладой о распятом трамвае», уже цитируемое мной стихотворение с кричащим названием «Увидеть Родину». И подсчитать, сколько в нем, как «упрек к равнодушной отчизне», взвизгивающийся дикой мандельштамовской уткой, упоминается слово «Родина»! 5 раз! То есть оно знаковоуказующее в творчестве поэта. Ни Родина, ни люди не виноваты, что поставлены в такое положение, когда надо не жить, а выживать. И, чтобы покончить со «статистикой», хочу сказать, что слово «Родина» в «Не таком» встречается 13 (именно 13!) раз, а слово «Россия» – 35(!). И если кто-то, прочитав строки: «*Мы все эмигранты, какой, не припомню, страны. / И рады бы съехать, да только откуда съезжать?..*», – обвинит автора в непатриотизме – пусть бросит камень в меня. А то, что слово «отечество» упоминается 1 (один!) раз – то об этом отечеству с маленькой буквы следовало бы глубоко задуматься:

*Вот так звонишь в Россию из России –
на ту ли уместилась глубину? –
а там роятся голоса другие,
и трубку ты бросаешь, как страну!*

Еще один посыл от Яранцева: «*Народ валит глазеть на олигарха, / из сауны который, без портков, / идет сигать с расхлябанных мостков*». Анатомия этого стихотворения, рассеченного на олигархов и зевак, уж, конечно, не блещет гармоничными пропорциями: «Люб олигарх мне, а народ отвратен. / И даже отвратителен народ». Но, по мо-

ему ощущению, не антагонизм вычерчен в стихотворении об олигархе, а тоска по народу времен Пугачева и Стеньки Разина, который когда-то поднимался против олигархов тех далеких столетий, пуская красных петухов в их дворцах-теремах, по сегодняшнему – коттеджах-виллах. Я бы сказал, это затекстовый мотив многих стихов Юрия. И не письмом ли из прошлого становится крышка малахитовой шкатулки из «Монолога уральского камнереза»? И не оборачивается ли подобием малахитовой крышки сама книга Беликова, отсылаемая вдаль потомкам? Это не просто стихи. Это – шифр микроживописи, который – опять-таки – кому как ПРОЧИТАЕТСЯ:

*Я – резчик по малахиту.
Я – мастер уральского толка.
Гремите по монолиту, парчовые московиты,
вам – колокол, мне – молитва,
вы – молотом, я – иглой,
едучей зело, от плитки
ведущей чело на пытки!*

И дальше:

*Наверно, с судьбой не расстаться
и в дар переходит изъян,
коль видятся в пыли повстанцы,
в смолистых сучках – Емельян...*

(Когда слагались строки этого эссе, я еще не ведал – как не ведал и автор процитированного «Монолога уральского камнереза», – что его «приметит» сам Павел Петрович Бажов – создатель малахитовых сказов и певец Хозяйки Медной горы: «Не такой» получил всероссийскую литературную премию имени Бажова и, соответственно, Беликов стал ее лауреатом. Значит, в точку я мыслил, сравнивая книгу Юрия с крышкой от малахитовой шкатулки с ее тайной микроживописью?!)

Но вернемся к иным уподоблениям – яранцевским. Сравнение Беликова с Маяковским, Вознесенским и прочими – не корректно. Сказано же всем-всем заглавием книги – **НЕ ТАКОЙ**, нечего, значит, сравнивать – и ситуация у автора не такая, как у..., и страна не такая, как у..., и жизнь не такая, как у..., и судьба не такая. Правда, в конце своей рецензии Владимир Яранцев додумывается: если лирический герой книги НЕ ТАКОЙ, то, сориентировавшись на стихотворение «Вы думаете, это НЛЮ?», не приписать ли автора к инопланетянам?! А в стихотворении эта аббревиатура расшифровывается как «Нимбы Людского Отступничества» – то есть «ауры, потерявшие своих хозяев», которые, увы, – уже в далекой космической выси:

...Поверьте старому сталкеру

*с покрасневшими глазами
и хрустящими суставами ног:
НЛО – это Нимбы Людского Отступничества...*

Очень много сказано этим стихотворением. Очень оно глубоко. О тех, кто примерял нимб к себе, а вот носить – не довелось. Критик называет поэта сталкером, поисковиком-махатмой, но не замечает иную коннотацию этих слов. Если учесть, что с санскрита махатма переводится как «Большая душа», то это вполне заслуженно. Сколько Беликов набродил верст по забытым залежам поэзии, сколько возвратил из небытия и просто из неизвестности и забвения поэтических имен! Потому он и «Не такой», что думает – о друзьях, о Родине, о перекрученных судьбах, а не разводит философию на пустом месте:

*Я себе такой порой бессребренник,
баритон чужих стихов, облом
собственных...*

Геннадий Кононов из Пыталово Псковской области, Сергей Лузан из Норильска, Анна Павловская из Минска, Сергей Князев из Подольска, Юлиан Надеждин из Ярославля, Олег Балезин из Екатеринбурга, Георгий Степанченко из Ржева, Андрей Власов из Великих Лук, Сергей Сутулов-Катеринич из Ставрополя, Ольга Исаченко из Красногвардейска, Валерий Абанькин из Перми, Юрий Влодов из Москвы... Думаю, более сотни имен талантливых поэтов-дикороссов открыл в разные времена Беликов-поисковик и на страницах журнала «Юность», и в альманахе «Илья», и в журнале «День и Ночь», и – самое главное – в известной «соборной» книге «Приют неизвестных поэтов», вышедшей в 2002 году в столичном издательстве «Грааль». И очень печально, что остаются не востребованные нимбы. Вот и выплывают у автора строки – вдумайтесь: «*Так умереть, Учитель, если воздух шипит из нимба, / если поэта, как рыбу, жизнь завернула в газету...*» И сызнова бродят по России бесприютные нимбы. Как в концовке Юриного стихотворения:

*Значит, ищут хозяев. Жалеют.
А потом вдруг погаснут – ушли.
Снова ауру чью-то сманили...*

Жизненные коллизии Беликова, как и, собственно, его стихи, обоюдоостры. Но если острия разных стихотворений направлены в разные времена, в различные ситуации и события, то другие острия – все как одно – в сердце автора. Как та гейневская трещина – оттого и стихи кровоточат. Строфы «Не такого» необычнее айсберга – девять десятых того, что хочет сказать Юрий – под водой! Стихи Беликова – не просто для чтения. Это еще послания нам, и тем, кто будет после:

*Твой голос не пригодился
ни этому, ни тому
столетью. Он лился, длился
да впал в родовую тьму.
Теперь уж не стоит даже
собой голоса смущать
и мертвенные пейзажи
соцветьями замещать.
Но мимо – не есть без следу,
и тьма – далеко не мрак,
и то, что он канул в Лету,
не значит, что он иссяк.*

Как естественны в его творчестве слова, пригоршней взятые вроде бы уже из другого – бажовско-малахитового – века: «матушка», «Россиюшка», «земелюшка». Сегодня – очень редкие. Я много читаю стихов современников и могу заметить, что давно не попадались мне на глаза эти теплые, наполненные любовью, обращения. Они сразу мысленно переносят к Рубцову, помните?

*В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...*

И – далее к Есенину:

*Матушка в Купальницу по лесу ходила,
Босая, с подтыками, по росе бродила,-*

к поэтам, чьи имена ныне стали плотью и гордостью России. И звенят их колокольные била в унисон друг дружке. Но слышала ли Родина тех, кого уже нет? И прислушивается ли она к голосам тех, кто покуда жив? Хотя то, как живут многие поэты России, трудно назвать жизнью. Но хочется верить, что, хотя бы, прислушается – о чем это они?..

*Матушка носит по дому горшки
с комнатными цветами,
будто бы внуков и внучек своих нерожденных.
– Ой, вы, лапунечки мои золотенькие! –
шепчется с ними,
крики услышав раскрывающихся бутонов.*

Процитировал всю беликовскую строфу – не хотелось резать поживому. Иметь бы российским поэтам такую же любовь к себе от отечества, как у матушки автора к цветам! Хотя, и не только российским! А у Юрия эти две нити – боль за Россию и любовь к ней – сплетаются в одну щемящую тревогу от первой страницы книги до последней:

*из праха – блики,
пыльца, затрепетавшая в луче, –
и бабочек упряжка с каждым взглядом
сдвигает мир, и он в ее лице
становится и всадником, и садом.*

Когда закончил читать изданную в Москве под редакцией Евгения Степанова и дошедшую до меня из далекой Перми в Иерусалим, а к читателю добравшуюся 17 лет (!) книжку Юры, захотелось откликнуться стихом:

*Нынче время – я бы сказал, периода юродского,
И стихи не нужны в этом полчище видиков-теликов.
Правда есть, кто читает Ахматову-Пушкина-Бродского,
Много чудных стихов, но вчера я твои читал, Беликов!*

Настоящий поэт не принадлежит какому-то периоду времени – он заполняет собой все Время, у его творчества отсутствуют границы. И он сам живет в том измерении, где Тохтамыш, Гумилев, Колчак и утонувший в Кировском затоне Москва-реки 19-летний поэт Илья Тюрин как бы его СОВРЕМЕННОСТИ. Он общается с ними и слышит их голоса. Это непростая доля – распознавать одновременно голоса разных времен, сходящиеся в твоём сердце. Но таков Юрий Беликов. Отсюда его «нетаковость», глобализм и анализ событий и ситуаций. Отсюда возмущение и сомнение. Отсюда любовь и ненависть. Так рождается **БОЛЬ**. За все и за всех. Потому что миром забыты изначальные скрижали:

*Мир думает и должен думать вспяť.
Но, чтоб забыть заученные речи,
ему еще придется собирать
по буковкам скрижали человечья.*

Иерусалим

Конечно же, иерусалимский Евгений Минин и живущая в Омске поэтесса и выпускница Литературного института Вероника Шелленберг не могли сговориться по поводу своих общих оценок творческих особенностей Юрия Беликова, поскольку друг с другом не знакомы. Но те открытия на грани откровения, которыми они делятся с читателями, быть может, не прочитавшими или не ТАК прочитавшими Беликова, лишний раз свидетельствуют в пользу его поэтического магнетизма: завораживать и притягивать людей, становящихся его последователями и фанатами независимо от места проживания. Удивительно (впрочем, отчего же удивительно, если наверняка на это тайне надеялся сам автор?), что и

Евгений Минин, и Вероника Шелленберг, чье эссе о творчестве Юрия опубликовано в 12 номере журнала «Урал» за 2008 год, разглядели-расслушали, очевидно, один из осевых мотивов в поэзии Беликова, – когда «упряжка бабочек... сдвигает мир, и он в ее лице становится и всадником, и садом».

ВЕРОНИКА ШЕЛЛЕНБЕРГ:

УПРЯЖКА БАБОЧЕК, ВОЗВРАЩАЮЩАЯ В САД

Как читатель, стихотворные сборники открываю на середине, и вот, начиная вникать в книгу Юрия Беликова «Не такой» изнутри, хочу об авторской особенности сразу же сказать основное – это зримая метафорическая плотность. Предмет, как отправная точка метафоры, разворачивающейся в неуловимое, вечное.

Казалось бы, ясно:

*...И ничего нет проще,
нет ничего страшней:
выкурить пачку роуи
за день земле моей...*

Мгновенно видимое – бело-серые стволы берез, папиросные, прямые «Примы» с «легким дымком ветвей». Но – жизнь дерева «за день», – это отсылка к дням ветхозаветным, когда сотворение Мира исчислялось ДНЯМИ, метафорически вмещающими в себя миллионы лет. И тут беликовская роща перестает быть конкретным островком деревьев, а становится символом глобальных изменений вплоть до Потопа, и человек, осознав себя мгновенным и крошечным, просит на выдохе, шепчет, крича: «Делай, земля, что хочешь, / только оставь покурить!»

Подобная упругая «скрученность» («Так чувствует себя улитка / в винтообразной скорлупе»), многофигурность и в то же время – легкость, «летучесть» прочтения создает эффект как от картин Босха – цельно увиденное издали можно приближать в любом фрагменте, где каждая мелочь – отдельная небольшая история, вплетенная в основную канву.

Потому такую, «концентрированную», поэзию внимательный читатель воспринимает по одному, по несколько стихотворений за одно «открытие» книги, вот и я оставила специально некоторые стихи не прочтенными – на потом. С Беликовым не получается «галопом по Европам», каждое стихотворение призывает прожить в себе некое время, схватывает и долго не отпускает.

Реально объемную книгу стихов, как «Не такой», последовательно, от начала до конца, и не перечтешь. Тем и замечателен сборник, названный «сводом избранных стихотворений», что открывается наугад.

В книге вообще по местоположению важны первое и последнее стихотворения. У Юрия Беликова они предъявлены не случайно.

Первое – «Русский запой». Сперва своим названием и первой строкой («Спиваюсь посреди желтеющего леса») вызывает досадное разочарование: «Ну вот, опять «паровоз», только по-современному – негативный! «Паровозом» в советские времена называли «головное» стихотворение в сборнике, и должно оно было быть непременно о Родине, «тащить», так сказать, за собой всю книгу, о чем автору, конечно, известно. Тем более убедительна смелость поставить «Русский запой» первым. Стихотворение само разворачивается в трагический пафос «не на показ»:

*Я Родину свою не пропиваю –
ее давно пропили за угором.
пью на краю. И нет России с краю.
И под угор я царственно шагаю,
сгущается Россия под которм.*

Сгущается (*концентрируется, уплотняется, утаптывается*) ЦАРСТВЕННО УХОДЯЩИМИ людьми! Они же – «учителя слабейшие, косые» – здесь читается, скорее, *измученные, подкошенные*, неуютно и *косо* лежащие, не от бормотухи, так от пуль, которыми «прошит воздух».

Стихотворение поразительно трезво хрустально-ясным пробуждением как раз ПОСЛЕ запоя, который у Беликова метафоричен. Он символизирует помрачение рассудка как таковое: «...а клены в ноги / швыряют пламенеющее ухо, / отхваченное в память о Ван Гого». Опять же автор идет через зримую, многослойную и непрямолинейную метафору.

То, что на первом же развороте одно стихотворение – о России, другое – о Москве, – двойное преодоление показухи.

Не углубляясь в суть второго, отмечу лишь разницу в звукописи: с одной стороны разворота – раскатистое «о»: «...горестным угором», «укором», «кагором» и т.д. и с другой стороны – всем знакомое московское «аканье». Настолько автор точен в языке, во всех его слоях, включая звукопись, без которой стихи – просто текст. Настолько же Беликов и откровенен: «Но Родину я видел потому, / что мне она выкалывала очи!» («Увидеть Родину»).

Последнее в книге – диптих «Упряжка бабочек», составляющий отдельную, самую маленькую главу – «Перечтенное». Вот вторая часть целиком (В. Ш.):

– *Здесь нет садов! И бабочек в садах! –*
перечитав, свои захлопнул книги.
И от хлопков образовался прах,
из праха – блики,
пыльца, затрепетавшая в луче, –
и бабочек упряжка с каждым взглядом
сдвигает мир, и он в ее лице
становится и всадником, и садом.

Вот он, круговорот от черного Российского угора! Легкий полет, перерождение и возвращение: «хлопок – прах – блики – пыльца – бабочки – СДВИГ МИРА – всадник – сад». Здесь важен СДВИГ, когда *нечто* становится другим уже независимо от автора где-то там, в поле бокового зрения. Автор свободен от своего творения, чтобы обратить взор на что-то новое... но это уже другая история.

Историй, мотивов в книге столько, что приходится, как геологу, брать крошечные пробы грунта то тут, то там на огромном пространстве... Например – сад – завершающее во всей книге и не случайное слово. Само понятие сада вспыхивает как место необъяснимое, но сокровенное, здешнее и нездешнее одновременно, проявляется так, как это может уловить по-настоящему поэтическая душа: «Ищу я бабочек в садах. / Не наяву. Их наяву / добудешь ли? Ищу в стихах, / которыми живу» («Упряжка бабочек»). И это потрясающе перекликается с *видением* сада в другом, в одном из лучших, на мой взгляд, стихотворений Юрия Беликова – «Запирание дверей»:

Странный, Россия, ты все-таки сад:
снизу посмотришь и видишь в тоске,
как перезрелые двери висят,
чуть ли не каждая – на волоске.

И слышится нетленное: «Люблю Россию я, но странною любовью». А ведь стих-то совсем иначе начинался! С детали, мелочи, волоска, на который запирается дверь! С маленькой бытовой подробности. И среди всех этих «кощунственных синих слюней» и «возлюбленных шлюх» автор ПРОГОВАРИВАЕТСЯ о главном, как будто незначай, без всякой патетики. И – верится! Как по Станиславскому. Ведь в поэзии главное именно то неуловимое, от чего продирает до мозга костей и что другими словами, кроме как словами конкретного стиха, передать невозможно. Неуловимое, но важное, – подобно промежуткам на стыках рельс, зазорам, когда в жару рельсы расширяются, не повре-

ждая прямолинейность железнодорожного полотна. Зазорам, на которых стучат колеса. То самое – «между строк». А распространенная отговорка многих авторов – «Я так вижу, вы просто не понимаете» – коренится в неумении или нежелании поэтически точно вербализировать свою мировоззренческую находку, свой особый угол зрения.

И вот здесь, в пику другим, Беликов «Не такой», Беликов – мастер: он «развоплощает» предмет, делает его «прозрачным» настолько, чтобы сквозь все эти волоски и занозы светились звезды и в то же время оставляет сущность, узнаваемость, осязаемость предмета как реальной части бытия.

Или же стихия наделяется неожиданными предметными подробностями, «воплощается» и «...тайное ставит в сторонке тавро или просту щелкает клювом», как воздух в стихотворении «Предназначение воздуха». Здесь автором выявляются те самые «межрельсовые стыки» – «Если что-то и есть между мной и тобой – самопишущий воздух...». «Воздух делает вид, что им дышат», «самопишущий воздух себя выдает» – вот оно, мировоззренческое открытие, пространственная глубина, незаметная, пока поэт не заставил нас посмотреть его глазами. Вот они, не тривиальные свойства стихий! Действительно, все что происходит – любовь, молитва, – остается где-то – в параллельном ли пространстве, в памяти ли воздуха, в неуловимом «между вздохом и выдохом, кстати...», непременно остается, фиксируется, «пишется» где-то. Здесь есть аллюзия на известнейшее – «пишется, как дышится», произнесенное множеством авторов, но у Беликова это подано иначе и необычайно свежо.

Эта потрясающая точность метафоры – одна из главных особенностей его поэзии.

Поэзия вообще максимально концентрирует значение сказанного, ибо в метафоре «скручено» многомерное пересечение образа, чувства и мысли, а рифма еще больше усиливает воздействие стиха, заканчивая строку «семантическим, смысловым взрывом», как точно отметил Иосиф Бродский. Ему же принадлежит глубокая фраза – «Поэзия – видо-вая цель человечества». Одно гениальное стихотворение способно передать в душу человеческую целую концепцию, представление о мире, описание которого вместились бы в философский том!

Книга «Не такой» – выражение именно мировоззрения. И замечательно, что это мировоззрение не деструктивное, когда пережевываются и выплевываются на читателя мотивы самоубийства и жалости к себе, любимому, в таком жестоком мире, – подобная «поэзия», а ее достаточно, приводит гармонию души в хаос. Поэзия Юрия Беликова, напротив – «собирает» мир, обживает, выстраивает верную иерархию

ценностей: вот – помойка, а вот – небо над помойкой, – одно другого не исключает, но и не заменяет! Сквозь поэзию Беликова идет такая мощная позитивная энергетика, такое желание жить, что сколь бы ни был глубок тоннель трагизма, а Беликов трагичен, как истинный русский поэт, – в конце тоннеля виден свет и происходит катарсис.

Потому прочтенное даже один раз запоминается и остается: «Меня влекут затопленные лодки – / они, как те пробитые боксеры, в себя погружены, и сами реки / лежат в них, будто умерший удар...», «...О Каир, ветка розы в шипах минаретов / в длинной вазе ленивого Нила!», «...молитвы колодезный вкус», «...Соберите обломки России – возродите Блоку лицо!», «Сосны – не сосны, а Дмитрий Донской»... Перечислять-перелистывать книгу «Не такой» можно от корки до корки. Здесь, кстати, примечательность поэтического взгляда – определять зримое на вкус, осязательное – на цвет и так далее и тем более, бог знает, как, но чтобы оно запело! Об этом сам автор виртуозно (но не заморочено!) пишет в стихотворении «Звук и цвет запахов», где слегка ПРОГОВАРИВАЕТСЯ о своей технологии.

И все же это только нанизываемые бусинки, дабы каждое стихотворение стало одной расширенной метафорой и то, что первоначально представлялось чашкой, давшей трещину-молнию, – переросло в судьбу. Таковы многие стихи книги – «Посвист пуговиц» (чувствуете – опять толчок от предметной мелочи), «След Лермонтова», «Прикосновение во тьме», «Улитка соития», поэма «Корзина для удаленных» и т.д. Но обратимся к иному преломлению авторской «не таковости» – к интонации.

Интонация, а не тема – связующее вещество стихотворения. Кстати, разделение на темы как таковое (лирика философская, любовная, гражданская, пейзажная и т.д.) применительно к современной поэзии представляется мне устаревшей, однобокой, «заданной», как школьное сочинение на тему. Беликов предметен, но не тематичен, границы «тематик» размыты, одно переходит в другое. Как именно?

Откройте «Нишу для вздоха». Здесь несколько взаимодействующих, если так можно выразиться, жизненно-тематических пластов. (Разбирать стихотворение кратко – дело страшно тонкое, как хирургический скальпель, потому что к каждому произведению хотелось бы подойти вдумчиво, внимательно, медленно, бережно, как это сделал Бродский в лекции об одном стихотворении Одена. И все же рискну.). На фоне каких событий отпечатан любовный треугольник «Ниши для вздоха»? Август 1991, Москва: «Я с длинным стволом обороны / в числе фидайнов на русские пули ходил», «Как бабка учила, в тряпичного ворога иглы, / три ночи в Москву арматуру втыкал...». Кстати, как бы

нас ни учили в Литинституте отделять лирического героя от личности автора, здесь (и не только здесь, практически во всей книге Беликова) я этого делать не могу и не хочу – настолько реально проявляется судьба. И еще вопрос – личный ли опыт требует от одаренного человека воплощения в Слове, или наоборот – Слово требует личного опыта, как материала для воплощения? Вспомните, как Ахматова создавала «Поэму без героя», – переживала трагедию, и тут же писала о ней, и, как бы со стороны, отслеживала в строчках. Вот и в «Нише...» чувствуется – не написать было уже нельзя и все это реально настолько, насколько вообще могут быть реальны такие вещи, как любовь и поэзия. У Беликова все сплывилось в единый контекст – отсутствие и присутствие женщины, которые иначе как через метафоры бокового зрения и не передашь. «А нынче вытряхивай из башмаков золотые цепочки речного песка / (сорвал тебя с якоря?) и – в светляка-мертвяка...», ощущение потерянности в мире и в то же время осознание собственной цельности – «Я будущим побыл. Я был настоящим. Однако я прошлым не стал». Допущение ТРЕТЬЕГО, «соглядатая» и тут же – удивительный эротизм на грани трагического восторга – «... чтоб он, соглядатай, не смог / ступить астронавтом на лунный, на длинный, / на краткий, весь в кратерах, твой язычок. / Ныряльщик за жемчугом, пусть он тебе не расскажет, / исследовав море от мочек до пят, / как бедра твои, если по уши вжаться / в них, / раковинами шумят». Искать «тему» этого стихотворения – только обеднять его. Здесь дано не поддающееся прямому пересказу состояние души. Оно захватывает читателя, заставляет сопереживать и ощущать горечь и радость жизни каждой клеточкой... А это, на мой взгляд, в поэзии вообще – самое главное. А донести ощущение может только правильно выбранная интонация.

Из чего же «лепится» интонация Беликова? Здесь и легкая ирония, просто вальсирование словом, (но отнюдь не заигрывание!), и органичное соединение разных языковых пластов – от высоких, «скрижальных», до площадных. И все это пульсирует, живет, движется, дышит настолько, что в одно и то же стихотворение нельзя войти дважды – где-то сверкнет неожиданный ракурс образа, как в кусочке перламутра на свету. Мальчишеское озорство, как в «Танце с тетками» и ошеломляющая пронзительность «За оградой» (памяти Виктора Астафьева)... Но в том и примечательность интонации Юрия Беликова, что сквозь иронию – о глубинном, а о глубинном – не без житейской мелочи. В мире его книги, в его расширяющемся космосе, живут реальные люди, – там их дыхание, кашель и смех, топот сапог. Люди со всеми их высокими и сиюминутными порывами, ударами весла и топора. Там текут реки и голоса, летят птицы и шляпа Басе, там «дан проклятый

дар, как дырка в атмосфере», там Пермь, Каир, Флоренция, Москва соседствуют с медвежьими углами и сам автор –

*...Не такой (хоть все мы таковы!),
он забрел по горло, как на исповедь,
в речизу свирельной синевы,
будто бы хотел прощенье выстоять
в сапогах серебряных плотвы.*

А для меня, человека пишущего, поэзия Юрия Беликова стала открытием на уровне откровения. Явилась еще одним мощным утверждением русского языка и подтверждением нашей, писательской, причастности к его развитию и сохранению, а, значит, не бесполезности существования ПОЭТА. Мы все с рождения ПРЕБЫВАЕМ в языке, вырастаем в сказках Пушкина, в трагедиях Шекспира, романах Достоевского. Язык, который сохраняет и развивает литература – по большому счету – основа жизни. Наши границы осознания мира вмещаются в границы наших языковых возможностей, не более и не менее! Вывод известный, но в повседневной жизни мало кто об этом задумывается. Вот так не замечают воздуха, которым дышат, пока его не забудут... Не зря же в Книге притчей Соломоновых сказано: «Жизнь и смерть – во власти языка, и любящие его вкушают от плодов его».

Омск

Еще будучи студентом филфака ПГУ, Юрий Беликов сформулировал, а затем подтвердил всем своим творчеством метод ТЕНЕВОГО МЕТАФОРИЗМА. Мало того, им была написана дипломная работа на эту тему. Говорят, что текст ее (тогда не было компьютеров, даже с печатными машинками было туго), написанный от руки, утерян. Но мне посчастливилось беседовать на сей счет с самим автором, и вот о чем он рассказал: «Где-то на излете «глухих» семидесятых, тогдашний декан филфака Римма Васильевна Комина, которой в той или иной мере признательны многие поколения пермских филологов, молвила, оценив очередной выпуск стенгазеты «Горьковец», чьим студенческим редактором в ту пору я был: «Надо как-то иначе!» То есть – не в лоб, чтобы не получить по лбу: ни мне, ни моим товарищам, ни декану... Я призадумался... И однажды обратил внимание: чем ниже солнце, тем тени, отбрасываемые от предметов, длиннее. Природа как бы сама подсказывала: если солнце над моей страной и над словесностью русской почти никогда не бывает в зените, значит, человек читает не стихотворение, а тень от него, не повесть, не роман, а тени от них... Собственно, это ощущение посетило не только меня одного.

Его следы проступали то в прозе Чингиза Айтматова, вдруг ушедшего в мифы, то в поэзии Юрия Кузнецова или Андрея Вознесенского, напитывающими стихи тeneвыми смыслами. Вот и я стал писать ТЕНЯМИ. Это не эзопов язык, а нечто универсальное. Возможно, даже способ постижения мира. Думаю, что нынешнее поколение меня и моих единомышленников не поймет, во всяком случае, – расслышит не сразу...»

У Беликова есть строки:

*И когда я уйду за последний редут,
все равно не почтят, все равно не прочтут.
Даже если прочтут, не прочтут все равно –
сквозь пенсне и монокль не читают давно...*

И здесь было бы уместно привести работу Марии Серовой, университетской студентки 3 курса специальности «журналистика», представляющей, по ее собственному признанию, поколение «соцсетей и фаст-фуда». Сначала она не прочла Юрия Беликова. Потом прочла. И вот что из этого вышло.

МАРИЯ СЕРОВА:

СЛАДКОЙ ЛЖИ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!

Предвкушая предстоящее удовольствие, с некоторым нетерпением начинаю чтение сборника стихов Юрия Беликова под интригующим названием «Не такой». «И чего же в тебе не такого?» – с иронией думаю я.

Мой мозг, привыкший поглощать информацию, которая подобна фаст-фуду или в лучшем случае традиционному классическому блюду, так вот: мой бедный мозг просто отказался от предложенного диковинного яства. В гневе я бросаю чтение этого чуждого, непривычного мне творения. Позже решаю, что рано сдаваться – надо «распробовать» беликовские стихи еще раз, и пусть неприятное послевкусие пока не покинуло...

Впиваюсь в каждую строчку, в каждое слово, медленно начинаю входить во вкус. Радуюсь. Восхищаюсь. Удивляюсь. Уже и сама не замечая, как ухожу с головой в этот странный и загадочный мир мужчины «наглого, никогда не лгущего».

Стихотворения Юрия Беликова держат в напряжении, заставляют думать как хороший психологический триллер с неожиданной развязкой, запутанным сюжетом и странными, порой не совсем логичными в своем поведении персонажами.

Увидеть Родину, какой видит ее поэт, не составляет большого труда, ведь он очень колоритно и сочно рисует читателю многоликий, дья-

вольский и одновременно святой, пусть и поруганный образ той, что «...выкалывала очи...». За маской циничности, а порой обнажающей, бесстыдной пошлости прячется боль, скорбь, глубокое сопереживание за судьбу страны: за всех искалеченных, за убитых, униженных и оскорбленных – за нас с вами.

Иронический пафос прячет от нас скупые мужские слезы, ведь смех Беликова подобен Гоголевскому «смеху сквозь слезы». И в этом смехе также подобно смеху классика есть гнев, ярость и огромный протест. «Мне красный – зеленый!» – говорит поэт в одном из своих стихотворений.

Стихи поэта, такие ненавистные, диковинные минуют стену непонимания, стоит в них лишь углубиться, осмыслить, ведь не зря же поэт рьяно утверждает: «А я взберусь по той стене хотя б трубою водосточной». «Пусть запретят меня в стране...» – и ведь правда: при инном политическом режиме бунтаря и правдолюбца Беликова вполне могли бы запретить, расстрелять или же отправить в ссылку.

Юрий Беликов – это, несомненно, будущая классика, ведь его самобытный талант не может кануть в лету, раствориться во времени, его еще будут цитировать и читать взахлеб!

Р. С.

Мораль сей басни такова: мы поколение фаст-фуда, соцсетей, бешеного ритма жизни вполне можем «пробежать» по поэту, по его стихам, не уловив сути, не поняв, но при этом он может стать для нас навсегда олицетворением чего-то неприятного, зловонного, чуждого нашей душе, а все потому, что многие из нас разучились читать между строк, тонко чувствовать и попросту не спешить!

Пермь

О Юрии Беликове пишут не только студенты, но и всемирно известные поэты, такие, как преподающий ныне в городе Талсе штата Оклахома Евгений Евтушенко, многолетний составитель отечественной антологии «Десять веков русской поэзии». Эти его заметки были сначала опубликованы в газете «Новые известия» от 12 мая 2012 года, а затем – отдельной главой – в его книге «Счастья и расплаты». Ведущий уже не один год в этом столичном еженедельнике рубрику «Поэт в России больше, чем поэт», Евтушенко не только представил в ней стихи Беликова, но и рассказал о его чувственных истоках, осмыслил природу таланта. Поскольку заметки стали своего рода предварением к новой книге стихотворений Юрия Александровича «Я скоро из облака выйду», резонно познако-

мать с ними читателей, чтобы подвести некий, пока, разумеется, предварительный итог ко всему сказанному и написанному.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО:

ЧАСОВОЙ ПОЭЗИИ ИЗ ГОРОДКА ЧУСОВОЙ

Редкий поэт входил в поэзию с такой, я бы сказал, корневой определенностью, как Юрий Беликов, будучи истовым почвенником и в то же время авангардистом, выросшим на впитанном с детства фольклоре:

*Я к вам пришел со стороны реки...
Меня уполномочили
подсудные теченью судаки,
гудки судов, мережи, мотыльки
и маяки полночные...*

А как чудодейственно Беликов сохранил в памяти некогда мальчишеских, но до сих пор не устающих ног, неповторимое ощущение щекочущих их пескарей, особенно когда заходишь с быстрины в неожиданно ласковую заводь:

*...Не такой (хоть все мы таковы!),
он забрел по горло, как на исповедь,
в речизу свирельной синева,
будто бы хотел прощенье выстоять
в сапогах серебряных плотвы.*

Но чувство родного края в отличие от многих почвенников не замыкается у Беликова на одной России, а могуче и естественно сливается с чувством такой же родственной связи с бескрайними просторами Земли и неба, с космосом, общим для всего человечества.

В поразительном по предсказательной силе «Марше долгового облака», давшем название этой книге, поэт отождествляет себя с пехотинцами, исчезнувшими с лица Земли в одном из многочисленных сражений в человеческой истории, иногда справедливых, но иногда и бессмысленных, никак не оправдываемых даже тем, что преподали нам горькие уроки. Думаю, именно поэтому автор несколько загадочно озглавил это написанное в традиции старинных английских баллад стихотворение, ибо наш долг помнить все, что случилось не только у нас, но и на всей планете, в согласии с бессмертным афоризмом Ольги Берггольц: «Никто не забыт, и ничто не забыто»:

*Я скоро из облака выйду
совместно с Норфолкским полком
и вынесу миру обиду*

*за то, что никто не знаком —
ни я не знаком, ни полк не знаком,
ни я полку не знаком.
То облако прошлого века.
И, если свидетелей счесть,
уж нет на Земле человека
такого, а в облаке — есть:
и полк в этом облаке есть,
и я в этом облаке есть.
А облако есть ли? Бог весть!*

Эту способность Беликова выходить с пермской почвы в космос как на территорию всеобщей памяти цепко ухватил Андрей Вознесенский: «Ударяя в бубен стиха, он вызывает звуками духов земли и неба, и слово его наливается сполохами северного сияния, исторгая из глубины своей дар предвидения».

Свод избранных стихотворений Беликова с характерным названием «Не такой» (2007) был удостоен премии имени Павла Бажова. Юра и в самом деле «не такой», сам по себе, неожиданный, непоседливый, упорный и разнообразный. Он организовал литературное движение «дикороссов», поэтов «края бытия», стал практически геологоразведчиком новых талантов по всей матушке России, выпустил антологию авангардной глубинки «Приют неизвестных поэтов», объединившую четыре десятка авторов от Ставрополя до Норильска.

С именем Беликова-журналиста связаны сбор и проверка свидетельств о таинственных появлениях НЛЮ близ деревни Молебка в Кишертском районе Пермского края. Он участвовал в экспедициях, искавших «клад Емельяна Пугачева» на реке Чусовой и «колокол семьи Романовых» в Красновишерских болотах. Он соратник легендарного Леонарда Постникова, создавшего Музей реки Чусовой, ветерана родиноведения, который в свои 85 лет остается любимцем романтической молодежи. В его заповеднике, прямо в реке Архиповке, на выступе скалы, установлен памятник Александру Грину, а неподалеку — знак в виде парящего самолета в память об одном из первых русских авиаторов, поэте-земляке Василии Каменском, чью «Сарынь на кичку!» я помню наизусть.

Зимой 2002 года Юра пригласил меня к Постникову вместе с тремя молодыми пермскими художницами, которые, надев варежки, в шесть рук рисовали три моих портрета в не отапливаемой избе при 40-градусном морозе. Я потом описал это забавное происшествие в стихотворении «Письмо в Пермь»:

А девчата, все втроем

*и с женщиной,
притулились под ковром
и овчиной.*

*Тот мужчина был поэт –
не чета мне.
Он, девчонками согрет,
вслух читал им.*

*И, стуча зубами в тьму,
как на льдине,
я завидовал ему
в холодине.*

*<...>
Но одна приподнялась
чуть на локте.
«Ой, да мы согреем Вас...
Рядом лягте...»*

*<...>
И краснел я в темноте,
как побитый,
на невидимой черте,
мною забытой.*

*Все легко, как в детском сне,
мне прощалось.
Целомудрие ко мне
возвращалось.*

Чем ближе я знакомился с Юрой, тем чаще он восхищал меня отсутствием ханжества и вместе с тем чудесным тактом в отношениях с женщинами. Несмотря на его образ могутного «дикоросса» и репутацию бунтаря, я не видел ни одного его грубого поступка, не слышал от него ни одного грязного слова, что, увы, можно услышать и от поэтов. Он подарил мне незабываемый рассказ об учителе истории из села Поستانоги, поэте Валерии Возженникове, чьим именем останавливали драки его бывших учеников.

В городе Чусовом есть Французская улица, напоминающая о французах, построивших здешний металлургический завод. На этом заводе работали предки будущего поэта. Но он лишь недавно, начав с

пятитомной книги Михаила Гернета «История царской тюрьмы», проследил свою родственную связь с самым удаленным во времени Беликовым – Филиппом, служившим при Анне Иоанновне в двух странных образом сочетавшихся тогда ипостасях – алхимика и экономиста.

Можно предположить, что алхимик иногда выпивал лишнего и тем самым вредил экономисту. Во всяком случае, императрица сочла, что больше пользы двуединый Беликов принесет, если будет трудиться за решеткой, и его посадили в Шлиссельбургскую крепость.

Обычно сажали, чтобы не позволить писать. А тут – напротив: посадили, чтобы арестант писал без помех. В камере его исправно снабжали гусиными перьями, бумагой и чернилами. Но, по-видимому, не справившись с вольготным характерцем и непредсказуемыми мыслями заключенного, его вместе с семьей сослали на Урал, где и продолжился род Беликовых.

Так что Юрию было от кого унаследовать безудержную ненасытность до жизни во всех ее проявлениях и беспрерывное бунтарство против житейской скуки. Как раз за бунтарское содержание номеров партбюро филологического факультета Пермского университета отстранило его от выпуска студенческой газеты. Он был самым молодым членом редколлегии журнала «Юность», но тоже был уволен за настырность в пробивании поэтов из провинции. Из соборов «Комсомолки» его «ушли» за чрезмерное увлечение темой космических пришельцев. Участие в нашумевшей акции «Желтая кофта» с попыткой возродить выступления у памятника Маяковскому в Москве тоже вызвало властное противодействие.

Все время Юрий что-то придумывал, причиняя неудобства чиновникам от культуры. И это было не блажью, как им, может быть, казалось, а дерзким просветительством, даже во времена, казалось бы, беспросветные, вроде брежневского застоя или «беспредела передела», что гораздо точнее самооправдательного «лихие девяностые». Однако Беликову помогали выживать друзья его поэзии, среди которых была и его мама Нина Константиновна, врач по профессии. Конечно, она опасалась за сына, но неизменно верила в его талант, гордилась им. В начале Юра работал несколько по-губановски: талантливо, но беспорядочно, слишком доверяя потоку сознания, который несется подобно селю и вовлекает без разбору все, что попадает на пути. А поэзия нуждается и в отфильтровывании необязательностей, саморедактировании, которое ничего общего не имеет с самоцензурой.

В последнее время из-под пера Беликова все чаще выходят отточенные до совершенства стихи. Вот как точно он оценил собственную

судьбу, в которой, конечно, есть горечь от все еще настороженного отношения к его угловатому дарованию:

*Твой голос не пригодился
Ни этому, ни тому
столетью — он лился, длился
да впал в родовую тьму.*

*Теперь уж не стоит даже
собой голоса смущать
и мертвенные пейзажи
соцветьями замещать.*

*Но мимо не есть без следу,
и тьма — далеко не мрак,
и то, что он канул в Лету,
не значит, что он иссяк.*

Раз ты сам это так ясно понимаешь, Юра, то тебе нечего страшиться — такие голоса, как твой, не иссякают. А тем, кто сокрушается, что ты никак не угомонишься, излишне инициативничаешь и напрасно прожектерствуешь, ты уже достойно ответил:

*— Что-то стало Беликова много!
чей-то возглас потревожил Бога.
Бог проверил оптику высот:
— Люди! От Москвы и до Урала
оного ни много и ни мало —
столько, сколько вам не достает!*

У Юрия Беликова есть чудное стихотворение о японском поэте Басе, писавшем на полях своей кипарисовой шляпы. Такую же волшебную шляпу я угадываю на голове у Юры. Даже если она не покрыта, ему всегда будет что написать на этой шляпе. Я тебя люблю, Юра, за то, что поэзию ты любишь беззаветно, и сим победиши. Под конец приведу твоё дивное стихотворение, посвященное матери:

*К возвращению матушки вновь становлюсь человеком —
с четверенек встаю, моюсь-бреюсь, бутылки сдаю
и заначки гнездо, разоренное в приступе неком,
заматавшейся ласточкой сызнава вью.*

*Возвращается матушка! Так возвращается память
страхов детских ночную рубашку вдыхать
материнскую, белую, чтобы до завтра не плакать,
а на завтра вернется, ребенком надышана, мать.*

*Возвращается матушка – миру померкшего сына
воротить восвояси, покуда он сам не померк.
Возвращается сын – завершается мира картина
искупленным сияньем, которое сын опроверг.*

*Как до века гирлянд одевается фосфорным млеком
в темной комнате ель – вся игрушками озарена,
к возвращению матушки вновь становлюсь человеком.
А когда не вернется она?..*

Спасибо, Юра, и за твою маму, и за всех мам, за мою – тоже.

* * *

Юрию Беликову

*Часовой поэзии из городка Чусовой,
ты живешь с заслуженно поднятой головой,
и тебя поэзия тоже ответно хранит
и тебе подберет благодарный уральский гранит.*

*Лишь бы это все было настолько вдали,
чтоб мы сделали больше, чем сделать могли,
удивленно затылки свои почесав
и оставшись уже навсегда на часах.*

Талса, штат Оклахома, США

Юрий Беликов подарил нам четыре книги – «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой» и «Я скоро из облака выйду». Много это или мало? Как расценить, если имя Юрия Беликова уже вошло в пантеон «Десяти веков русской поэзии».

Название первой книги подчеркивало темперамент, особую, «птичью» стать автора. Сборнику предшествовал эпиграф из Николая Рериха: «...пульс доходил до 145, и наш доктор прибавлял: «Ведь это пульс птицы».

Любовь к рериховским эпиграфам продолжилась и во второй книге, но уже с иным вектором: «Брат, покинем все, что меняется быстро». А «быстро менялось» почти все: страна, люди, рушились нравственные и духовные скрепы. Отсюда – вздох (или стон?), в некотором роде самоукоряющий: «Прости, Леонардо!».

Третья, вышедшая после долгого молчания и озаглавленная «Не такой», свидетельствовала о едва ли не старообрядческом сбереже-

нии ценностей в самом себе и попытке явить их миру, когда мир – по своим приоритетам и параметрам – вряд ли уже этим ценностям соответствовал.

И, наконец, четвертая – «Я скоро из облака выйду». С одной стороны, эта книга продолжает первую с ее учащенным сердцебиением, а с другой – становится знаком надежды, что все отверженное, неузнанное, не проявленное, наделенное «пульсом птицы» и не переведенное «с дельфиньего» воссоединится с человеческим, дабы право на возможность гармонии восторжествовало.

Анатолий Субботин

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АНАТОЛИЯ СУББОТИНА

1. Поэзия

На филфак я поступил не случайно, ибо к этому времени уже всю бредил литературой и исписал две-три тетрадки слабыми, во многом подражательными стихами. Конечно, еще точнее и логичнее было бы подать документы в Литературный институт, но я понимал, что не наскребу столько качественных текстов (были ли они вообще?), чтобы пройти творческий конкурс.

Пермский государственный университет в лице филологического факультета обрушил на меня лавину информации, не всегда нужной для моего «дела». Но худо-бедно, галопом по Европам я познакомился с изящной словесностью разных времен и народов. И, что еще крайне важно, я встретил себе подобных. Мы открывали друг другу имена поэтов. Ни одного застолья не обходилось без чтения стихов, чужих и своих. Образовался поэтический кружок, который вела редактор Пермского книжного издательства Надежда Гашева. Образовалась (из тех же членов) поэтгруппа «Времири» (слово Велимира Хлебникова), когда дело дошло до совместных выступлений. В общем, жизнь бурлила, как всякая студенческая жизнь. Учеба и общение отнимали столько времени, что для сочинения стихов его почти не оставалось.

Надо сказать, что первый период моего творчества – период становления – изрядно затянулся: где-то с 1972 по 1986 годы. Я называю этот период романтическим. Откуда, спрашивается, в советском пареньке, выросшем в уральском рабочем городке, все эти моря, пустыни, замки, все эти «необычные герои в необычной обстановке»? Понятно, откуда: из соответствующей литературы; и еще – от невольного

противопоставления жизни книжных героев и окружающей паренька действительности, которая, как ни крути, была тусклой и сероватой. «Я – чахлый цветок помойки, под небом серым возросший. О, если бы ветер помог мне сорваться с земли нехорошей!» Паренек видел нелегкий и скучный труд, пьянство и изломанные судьбы. А с трибун и газет до него доносилось, что мы строим счастливое будущее и уже почти живем в нем. Так в душе рождался протест. Потому ложному тотальному советскому оптимизму я противопоставил трагизм и опасность бытия, а серой будничности – яркие краски приключения. Глупо с моей стороны было только то, что я позволил себе разослать такие стихи по журналам. Ну и получил соответствующие отклики. Вот один из них, характерный, полученный из «Авроры»: «Уважаемый тов. Субботин! Для определения Ваших стихов более приемлемо понятие романтика, а не романтизм. Она придает Вашим стихам налет легковесности. Много придумываете и мало говорите о самом главном: о себе, о жизни... К сожалению, оставить из этих стихов в редакции нечего».

Много позднее, составляя книгу «Беспризорное небо» (которая так пока и не вышла), я включил в нее десяток вещей этого периода как достаточно энергичных и совершенных: «Песня китобоев», «Рабы на галере», «Расплавленный воздух пустыни...», «Замок», «Пьеро» и др.

Постепенно я осознал, что необычными стихи делает не тематика (хотя и она в какой-то мере участвует в этом), а прежде всего сам поэтический язык, используемые в нем приемы – тропы. Поворот в сторону «сгущения» языка начался у меня с увлечения творчеством Владимира Нарбута, акмеиста, соратника Гумилева и Ахматовой. Еще в 1979 году мой сокурсник и поэт Юрий Беликов читал его стихотворение «Совесть», где речь идет от лица разбойника, где, например, были такие строки: «Эти шеи, потные и толстые, // как гадюки, скользкие, как вол, // непреклонные, рукой апостола // Савла – за стволом ловил я ствол».

Ни Нарбут, ни Гумилев тогда еще не издавались: советская критика окрестила их «буржуазными декадентами», и тексты их можно было откопать лишь в глубинах библиотечных хранилищ. Где-то в 1985 году другой мой сокурсник, писатель-фантаст Михаил Шаламов подарил мне переснятую на фотобумагу книжку Нарбута «Александра Павловна» (1922 г.). Я был почти шокирован. Ничего подобного я раньше не читал. Конечно, метафора часто разбросана и в стихах Маяковского, и Есенина (особенно имажинистских), но тут был особый стиль, словно ты с севера попадал в темную южную ночь. Мрачноватые, иногда нарочито натуралистические картины рисовались густыми яркими крас-

ками. «Птичья клетка, как сухие ребра // дедовой и внуковой судьбы. // Хорошо быть в канделябре доброй // свечке – ну, а как стеречь гробы!» («Вечер»)

Главное, от стихов Нарбута исходила энергия, которая захватывала. К слову сказать, на мой взгляд, именно энергия решает, насколько то или иное стихотворение жизнестойко. Не свет, не мрак, а энергия. Подхваченный этим потоком, я написал текст «Брага ночи пенится пургою». Прочитав его, Ю.Беликов определил: Нарбут, один к одному. «Так что ж, говорю, это подражание»? «Да нет, говорит, просто ты глотнул данной музыки». Как бы то ни было, человек увлекающийся, я вскоре увлекся другим поэтом – Виктором Соснорой, который также оставил след в моем творчестве. Если поэтику Нарбута можно сравнить с джунглями, порой заболоченными, то атмосфера стихов Сосноры – это сосновый бор на берегу моря. Здесь легче дышится. И еще одно важное отличие: Соснора ироничен до мозга костей, лирически, печально ироничен. «Он – принц принципиальных пьяниц. // Ему – венец из ценных роз! // Куда плывешь, венецианец, // в гондолах собственных калош»? («Февраль»)

Чтобы была видна разница моих сочинений первого и второго (ибо будет и третий) периодов, следует привести отрывки. Вот из раннего: « – По курсу прямо бьет фонтан! – // мы слышим голос с реи. // И наш отважный капитан // командует: – Скорее! // Вельботы – на воду. Вперед! // Левиафан нам вызов шлет». И т. д. А вот из более позднего: «Такой туман, что светом не пробьешь! // И фара неба вдребезги разбита. // Слепое небо в гневе ставит сито // дождя. Теперь от неба не уйдешь». Согласитесь, кой-какая разница есть.

Своими первыми публикациями я обязан тому же Юрию Беликову и Владиславу Дрожащих – поэту, филологу, закончившему университет раньше нас года на четыре. Они тогда работали в газете «Молодая гвардия». И вот в 1987 году (мне 30 лет) я увидел свои стихи напечатанными – три романтических стихотворения. А затем во 2-ом номере литературно-художественного приложения к газете (сентябрь 1989 г.) – подборку из шести своих вещей. Свобода, спровоцированная перестройкой, уже катилась, как снежный ком, и можно было многое. Можно было назвать приложение – «Дети стронция»; можно было опубликовать такие, например, строки: «Здесь горы ощетинились, как копы // единогласно вытянутых рук. // Социализма оседает копоть...» И т.д. Это из текста «Копи» вашего покорного слуги. Конечно, чиновники от партии и комсомола вряд ли вдавались в поэтические дебри, но ну они не могли не заметить. 2-й номер «Детей стронция» вызвал

скандал именно изображением голых девок. Однако скандал увял, и вышло еще четыре номера.

90-е годы... Страну штормит. В личной жизни Анатолия Субботина тоже, как говорится, не все... То фирма, где он зарабатывает на хлеб насущный, ликвидируется, то попросят его в другой организации за алкогольные прогулы уйти по собственному. Но, несмотря на житейские передраги, он благодарен 90-м. Ибо в творческом отношении это, возможно, его лучшие годы. Чувствуя уверенность в руке, он вошел во вкус. Ему уже мало стихов, и он обращается к прозе, но об этом – позднее. В стихах же, в их форме также ведется поиск. Уже хочется расшатать монотонный ритм, отказаться от рифмы. А чем кончается такое желание? Известно чем – верлибром. Мой первый чистый верлибр (до этого случались гибриды) был написан в 1995 году. Кстати, он был опубликован в журнале «Юность» через пару лет. «Синий парад»: «По указу президента // ветер синюю площадь очистил // от облачного мусора. // Слово «парад» состоит из пара и ада». И т.д.

Большая подборка моих стихов вышла в коллективном сборнике «Монарх. Семь самозванцев» (Пермь, 1999). Там было представлено творчество семи пермских поэтов, входивших в поэтическую группу «Монарх», организованную Юрием Беликовым (куда бы мы без него, неугомонного!). Вступительная статья к сборнику принадлежит тогдашнему главному редактору журнала «Юность» Виктору Липатову. Вот как он воспринял вирши вашего покорного: «Анатолий Субботин делает вид сверхнасыщения информацией. Он припавает фразу к фразе, как микроэлементы, как компьютерные всплески, как игру сравнений. И все же проявляется он, когда выдирается из цепких лап Интернета и интересно пишет о глуши, о хуторе, о космосе, который склонился над домами. Стихи Субботина являют крутую смесь из бытовухи и героев культуры, истории, мифологии. Чувствуется страстное желание взорвать крепость серо-обычной жизни, ворваться в прошлое и попытаться отыскать алмазные копии. Никуда, впрочем, не денешься от того, что поэту наших дней суждено сочетать любовь и клены с лингафонами и компьютерами. И все-таки компьютеры не оживают, а великая природа побеждает». Что имел в виду Виктор Липатов? Чрезмерную частоту и логику (механистичность) нанизывания образов?

Впрочем, за форму я был спокоен. Меня слегка волновала содержательная часть моих стихов. Если у любимого мной и прочитанного в ту пору Бориса Поплавского отчаяние спокойно, то у меня оно воплощалось часто с надрывом. Трагическое мироощущение выливалось в какой-то декаданс. И с этим надо было что-то делать. А что тут поделаешь? Себя не изменишь. Да и не нужно себя менять, не нужно «насту-

пать на горло собственной песне». Но отчаяние можно прикрыть смехом. Благо, наравне с Пьеро (так назовем моего лирического героя, то и дело впадающего в уныние) во мне всегда жил Арлекин. Пьеро до поры до времени царил на сцене, и лишь иногда из-за его широкого бледного балахона высывалась насмешливая физиономия Арлекина. Но к концу 90-х я окончательно раздвоился (рожденному под знаком Блинецов есть чем раздваиваться, не правда ли?). Арлекин вышел из-за спины Пьеро и стал выступать (читать, писать) самостоятельно. Пьеро, например, поет: «Подо мною белеет арены бескровный песок. // Потерпи, дорогой, я сегодня отчаянный донор. // Не втянулась бы шея, почуяв трезубца лесок. // В трех ножах заблужусь и исчезну в тумане кордона» («Загнанные»). А Арлекин в то же время: «Весна! Бегут ручьи, летают мухи. // Я еле-еле ноги волочу. // Мне не догнать ни девки, ни старухи. // Я отдан невидимке-палачу» («Весна меня любовью уколола»). Однако они стоят рядом, они – близнецы, и они не могут не влиять друг на друга. Порой их голоса сливаются. Трагедия и комедия превращаются в трагикомедию: «Я говорю, мне памятник – яма, // которую себе по мере сил // я воздвигал и круто замесил, // а Понтий, как известно, вымыл раму» («Стансы»). В этой последней цитате, как видите, присутствует прием абсурда. Арлекин читал не только Соснору, но и Обэриутов, прежде всего Александра Введенского.

Итак, стихи нашего третьего периода разделились на серьезные и как бы несерьезные. Почему «как бы»? Потому что на самом деле за такого рода весельем можно почувствовать боль, смех не устраняет, а лишь прикрывает отчаяние, это смех сквозь слезы. Более того, веселье способно придать трагедии оттенок безумия, и она делается еще страшнее. «Смешное всегда страшнее», – говорил Салтыков-Щедрин. Так что в моем случае Арлекин зачастую не противостоит Пьеро, а дополняет его.

В формальном отношении мои несерьезные стихи, пожалуй, разнообразнее и оригинальнее серьезных. Арлекин раскован: мол, я шут, и мне все простится. В одном тексте могу от верлибра перейти к четкому ритму и рифмовке, могу смешать разные стили речи, высокое с низким, могу более-менее ясную картину затуманить несуразницей. Сравнения и метафоры Арлекина бывают смелее, чем у Пьеро, именно потому, что они не сдерживаются рассудком (впрочем, не всегда). Для наглядности приведу одно из арлекинских стихотворений целиком. «О, пышная, пиши пиши // пока не кончатся любви чернила // Народ-редактор эту тему благословил // и благо словил // и выделил ей отдельные нары // увитые шипением роз // Бока твои пока еще богаты // пока еще твои // Между берез порхает птеродактиль // Ну пошутил, не

бойся, ты – звезда // Забор какой-то между нами последнее время // тебе не кажется? // Какая-то мышь пробежала // А помнишь, как шумел камыш // на отмели ленивой Нила // и мы с тобой ловили крокодила // Был ли в нашей жизни шалаш? // Смело утверждаю: был // пока ты ни слова не говоря не уехала в Краков // ловить на проспекте раков // О, моя полячка // О, моя рыбацка // О, моя болячка».

Еще упомяну два приема, которые я иногда использую. Первый прием я называю «осовременивание мифа». То есть известный миф переосмысливается с точки зрения сегодняшнего дня. Таков, например, «Орфей», написанный в 1999 году: «Обустроился ад. Сумрак вышит огнями. // И дома вдоль дороги по ранжиру стоят. // Варьете, казино. Но меня не обманешь, // и под маской лица я чувствую мертвый расклад. // Здесь любовь моя тенью блуждает. О, где ты? // Где-то здесь. Говорят, что она – за мою спиной, // но нельзя оглянуться и видеть. Такие вот игры в запреты! // Мне осталась игра: плач на флейте и казнь в казино. // Я иду по проспекту, а ветер с реки – мне навстречу. // Я боюсь, что он тень унесет, и на клапаны жму. // И от песни моей плачут псы (крыть, как видно, им нечем), // фонари увядают. Я ад погружаю во тьму».

Другой прием состоит в том, что берется известная строка известного поэта, и на ее основе разрабатывается собственная тема. К примеру: «*Не жалею, не зову, не плачу*: // мол, иначе надо было жить. // Наша главная теперь задача – // мимо боли как-то проскочить, // что стоит у входа, будто стражник, // в ту страну, где кончится кино, // напоследок делая нам страшно, // перед тем, как станет все равно».

В заключение рассказа о своем поэтическом творчестве, наверно, надо перечислить некоторые названия стихов, если не самых ярких (мне об этом судить трудно), то, по крайней мере, таких, которые не следует пропускать при чтении. И вообще надо же хоть что-то обозначить. Из серьезных вещей я бы назвал «Антимонумент», «Денек расправил пасмурные крылья», «Туман», «Кучевые кучевые облака», «Феникс», «Кафка», «Начинающие женщины», «Перья в ножах», «Загнанные», «Рай для сапог», «Весна в набат ударила зеленый», «Зимний день кипел в метельных кудрях», «Оса, не бейся о стекло», «Поэты сидели в овраге», «Тени», «Надувные шары вчера взлетали», «Не грусти, родная, не бойся», «К жизни претензий все меньше и меньше», «Пустячок», «Земную жизнь пройдя на семь восьмых», «Монолог дворника», «Деловые идут мужики», «По рыбам, по звездам проносится в страхе», «Стансы» и др. Из как бы несерьезных стихов назову такие: «Турне возмездья», «Время», «Садко», «Электричка. Я смотреть окно», «Смерть ветра», «Нота сахар», «Потеплело тело лета», «В чело-

веческом лесу», «На ней были белые лапти», «Как ты там, кактус», «Уж ноябрьский праздник, уж», «Заседание», «Имба забав», «Размер любви моей не помню», «Козак», «Мы шутили, мы устали», «Петух», «Потерянность», «У тебя дружок запой», «Что старушка ты в печали», «Адмиралы», «Ну здравствуй русская тоска», «Пред тетрадкой на коленях» и др.

2. Проза и кое-что еще.

В 1991 году я начал писать прозу. К развалу СССР это никакого отношения не имеет, просто совпало. Первый рассказ («Антивампирин») содержал в себе фантастичность (не научную) и юмор, довольно черноватый. Фантастический элемент (по крайней мере, атмосфера сна, безумия) сохранится и в дальнейшем, а комизм во многих вещах сойдет на нет. Эта трансформация начнется с 1994 года, с рассказа «Старики».

Таким образом, и в прозе моей можно выделить ранний период. Тогда (1991–1993 гг.) были написаны: «Записная книжка раздора», «Ночь под юбилей», «Тошнота», «Переход», «Письмо – голубиной почтой» и другие рассказы. Были написаны три вещи размером с небольшие повести: «Хронические любовники земли», «Семечки», «Венеция». Помимо буйного веселья (впрочем, порой не без слезы), ранний период характеризуется тем, что в нем особенно чувствуется, что за прозу принялся поэт. Тексты пестрят сравнениями и метафорами. Иногда метафоры разворачиваются, иногда достигают символических высот. Так в рассказе «Тошнота» тетя Женя – это сама жизнь; «Переход» весьма смахивает на притчу, а семечки в одноименном произведении символизируют пошлость.

Если говорить об истоках подобного творчества, то заметно, что автор хорошо читал Гоголя, Вагинова, Хармса и т.д. Сценки «В парке», «Отплытие», «Дирижабль неизвестного направления» сделаны под Александра Введенского, у которого в отличие от Хармса, как заметил Яков Друскин, абсурд не только в ситуациях, но и в семантике. Для «Хронических любовников земли» толчком послужили «Симфонии» Андрея Белого, особенно 2-я. «Любовники» – такая поэма в прозе, состоящая из небольших фрагментов. Фрагменты вполне могут существовать самостоятельно, и все же поэма не распадается, она держится каким-то непонятным мне самому чудесным образом. Наравне с жизненными впечатлениями, преломленными, впрочем, поэтической фантазией, автор «смело» вводит в текст свои сны. Так отрывок «Казнь», где за героем летают пила «Дружба» и дрель со сверлом, пытаясь его

убить, развернут на основе реального сна. Поэма была опубликована в 2-ом номере альманаха «Лабиринт» (Пермь, 2001).

«Семечки» – своеобразная антиутопия. В современный, однако окруженный ни с того, ни с сего, как в средневековье, стенами, культурный город завозят подсолнуховые семечки, о которых жители города ничего не знают. Они подсаживаются на этот «наркотик» и из культурных людей превращаются в грязных, ленивых «харкунов». Разумеется, семечки – только повод, только прием, чтобы посмеяться над человеческой глупостью, хамством, пошлостью. В отличие от «Любовников» сия антиутопия больше похожа на прозу, она более цельна, хотя и здесь нет «сквозных» героев за исключением разве что самих семечек.

Сюжет мини-повести «Венеция» до ужаса прост. И это нормально и даже необходимо для той манеры письма, в которой мы работаем. Авторы, прикованные к галере сюжета, рискуют в погоне за внешней занимательностью потерять красоту и глубину произведения. Вспоминаются слова Кафки: «Я не рассказываю историй, все это картины, только картины»... Венеция – город карнавалов. Хотелось написать что-нибудь карнавальное, потому и всплыл данный замысел. Потому и появились тут герои комедии дель арте Пьеро и Арлекин. Однако под масками находятся конкретные живые лица. Русский турист, главный персонаж повести Петр Бутафорин, волею судеб ставший Пьеро, попадает в компанию замаскированных итальянцев и переживает ряд чудесных приключений. Все это похоже на сон. Все это и есть сон, как выясняется в конце. Бутафорин – чужой на этом празднике жизни. Хотя Моника дарит ему свою любовь, он не вписывается в иностранную компанию, и Джузеппе-Арлекин убивает его. Убивает причудливо, как и должно быть во сне.

Из ранних вещей, пожалуй, немного выбивается рассказ «Мухи», написанный в 1992 году. Чем выбивается? Прежде всего, своей некомической интонацией. Это уже не сон, а скорее кошмар. Рассказ ведется от лица полуинтеллигентного нищего, которого жестокая и безумная жизнь толкает к самоубийству (весьма актуальная для 90-х тема!). Начинается с того, что управдом приносит герою мухобойку, ибо поступил указ свыше истребить всех мух – приносит ему, живущему в халупе, износ которой 205 %... О каких же мухах речь? Только не о настоящих, хотя они тут присутствуют. Мухой, попавшей в паутину обстоятельств, чувствует себя герой. Или, может быть, напротив, это «мушиное» окружение вынуждает его, человека, гибнуть. Вопрос остается открытым. Пусть читатель решает сам. Рассказ напечатан в 1-м номере альманаха «Лабиринт» (Пермь, 2000).

Как я уже говорил, с 1994 года юмор и ирония из моей прозы исчезают (или, по крайней мере, отходят на второй план), поток поэтических «выходок» тоже существенно уменьшается. Чтобы рассказ «ожил и заиграл», достаточно развернуть одну метафору. И, конечно, мы не представляем себе нашего метода без использования фантазмагии. Вот пример. Нужно было написать рассказ о стареющей одинокой женщине, чье существование скрашивают кастрированные коты. Фантастическую основу мы нашли в том, что повели речь от лица кота. А то, что коты кастрированы, натолкнуло нас на сравнение с гаремом. Таким образом и появился этот рассказ о странном, но таком типичном для нашей действительности гареме, где три «евнуха» и одна «наложница» – рассказ «Наш гарем».

Толчком для написания произведения может послужить что угодно. Реальные сны стали трамплином моих рассказов: «Прыжок», «Угадай песню», «Омут», «Прости меня, Гоша», «Пинетки» и других. Разумеется, это не пересказы снов. Сон нельзя пересказать. Даже вспоминая приснившееся, ты искажаешь его, навязываешь ему некую последовательность, лепишь из отрывков целостную картину. А превращая сон в художественную вещь, ты невольно дополняешь его придуманными деталями, сюжетным развитием и т.п. Другие мои рассказы («Старики», «Последний день детства», «Наш гарем», «Как всегда», «Живой труп», «Ангел») построены на основе жизненных впечатлений. Но между ними и «сонными» рассказами нет особой разницы. Ибо достаточно взглянуть на жизнь отстраненно или приближенно – одним словом, под неожиданным ракурсом, – чтобы она стала смахивать на сон.

Существуют и другие источники вдохновения. Например, литература. «Последнее путешествие Синдбада» спровоцировано, разумеется, погружением автора в «Тысяча и одну ночь». Ну, хорошо, герой найден, а что с ним делать дальше? Что с ним происходит? Где он путешествует? И тут на помощь приходит реальность. Синдбад и его спутники, как всякие южные люди, никогда не видели снега и льда и не знают, что это такое. И вот, предположим, их корабль заносит ураганом слишком на юг, и они попадают на ледяной остров. Чем не сказка?

Тему рассказа «Парк» я заимствовал у Кафки. Точнее, у Борхеса, который писал, что у Кафки есть рассказ о заблудившемся в парке молодом человеке. Саму эту вещь я не читал, но тема настолько запала в меня, что я решил выдать собственную версию. В результате получился один из лучших, на мой взгляд, рассказов, который можно отнести и к притче, и к хоррору. Он, а также «Наш гарем», «Ангел», «Новогод-

ний подарок» опубликованы в журнале «День и ночь» (Красноярск, 2004).

Простое пересказывание компьютерной игры может вылиться в неплохой фантастический рассказ с таким, допустим, началом: «Я родился на конюшне. Точнее сказать, меня родила конюшня. В один прекрасный летний день я обнаружил себя возле нее – сидящим на коне. (Насколько себя помню, я всегда был на коне.) Рядом уже находилось несколько всадников, подобно мне одетых в доспехи. Я был у конюшни не первый и не последний сын. На моих глазах из нее выехали еще десять моих братьев. Возможно, этот производственный процесс продолжался, но тут нас осенила мысль, и мы плавным аллюром отправились охранять рубежи нашего города-государства». Это рассказ «Зеленый разум». Условность игры дает повод не только для иронии, но и для ассоциаций с реальной жизнью и даже для философских размышлений. «Почему многие войны бросаются на амбразуры замка, погибая под огнем, вместо того чтобы защищать свои требучеты, которые разрушают замки издалека? Почему мысль не всегда осеняет нас в нужный момент? Кто вообще управляет миром? Говорят, что Бог. Хотел бы я взглянуть на него»... Над активизированным персонажем игры загорается зеленая полоска, то есть он готов к действию, он как бы начинает мыслить. Отсюда и – зеленый разум. Но «зеленый» означает также – молодой, несовершенный. Потому в конце рассказа погибающий герой видит по ту сторону монитора бога-недоросля, играющего им. Потому этот рассказ и не мог одержать победу в конкурсе, организованном каким-то продавцом компьютерных игр. Ведь сии господа хотят, чтобы их игры считались совершенными, и все подсели на них.

В песне «Мим» талантливого музыканта и поэта Павла Кашина есть такие слова: «Ты без страха и боли превращаешь камни в молодые души, и я на глазах становлюсь все лучше». Эти слова вдохновили меня на рассказ о манекене, который оживает силою любви – «Любовь манекена». Трагический, но, пожалуй, несколько сентиментальный для нашего «крутого» времени рассказ.

Лет 12 ранее в моем творчестве оживали и существующие в действительности статуи – летчик и парашютистка, поставленные еще в советские годы близ предприятия, выпускающего авиационную продукцию. Любовь в рассказе «Статуи» загорается между героями на фоне крушения советских идей. Летчику и парашютистке ничего больше не остается – только любить друг друга, в этом их спасение. Любовь оживляет их, тогда как идеи превратили их в каменных истуканов. В формальном отношении рассказ примечателен тем, что ведется от первого лица, но не одного, а трех. Поочередно берут слово лет-

чик, парашютистка и повествователь. Однако обозначений, как в пьесе, кто говорит, нет, поэтому читатель может прийти в недоумение: что это герой понес несуслаицу!? «Статуи» и «Любовь манекена» опубликованы в 6-ом номере журнала «Вещь» (Пермь, 2012).

Прозвище известного здания на Комсомольской площади – «Башня Смерти» – подвигло меня к сочинению одноименной фантазии. Все здесь доведено до абсурда. Здесь казнят за ношение бороды. Прокурор является одновременно адвокатом, потому мантия на нем наполовину черная, наполовину белая. Смерть подается под различными соусами, и приговоренные играют в лотерею, кому какой вид казни выпадет. Герою выпадает «отравление спиртным», что, конечно, весьма символично.

А что подтолкнуло нас к написанию рассказа «Новогодний подарок», мы и сами не знаем. Да, приближался новый – 2000 год. Однако испечь рождественскую сказку со счастливым концом нам не хотелось: мы хотя и фантазеры, но обращены к действительности. Между тем в стране шалили террористы. Видимо, потому и появляется в нашем рассказе Дед Мороз, который на самом деле не Дед Мороз, а переодетый террорист. Что же касается фантастической составляющей, она – в том, что «дедушка» применяет невиданное оружие – мороз, вводимый в жертву с помощью иглы и мгновенно расходящийся по телу. Есть тут также этакий Иванушка-дурачок – участковый Кузнецов, который готов поверить в существование настоящего Деда Мороза. Подобные персонажи, как и приемы сна, бреда, нужны для того, чтобы взглянуть на этот мир незашоренными привычкой глазами. Главное в данном рассказе – его идея. Важная для нас идея. Возможно, она занимает центральное место во всем нашем творчестве. Помните у Гоголя: «О, не верьте этому Невскому проспекту!» Конечно, под проспектом Гоголь имел в виду весь мир. Да, ничему здесь нельзя верить, все и вся стараются казаться не тем, чем являются на самом деле. Мы думаем, что перед нами Дед Мороз, принесший подарки, а это террорист с бомбой в мешке, пришедший взорвать наш дом. В пьесе Введенского «Елка у Ивановых» убийцей одной из своих подопечных оказывается нянька. И не авторское «большое воображение» причиной сему. Наблюдение того, что человек изменчив, нестабилен, «карнавален» по природе своей, дало автору право на эту крайность.

К слову сказать, почему-то Введенского и Хармса принято считать несерьезными писателями. А Кафку – серьезным. Между тем и те и другой являются «нейрохирургами» от литературы, просто методы несколько разнятся. Обэриуты используют алогизм, Кафка же, напро-

тив, побивает разум его же оружием – логикой. Да и черный юмор поэтов абсурда, бросающий на все тень безумия, – уже как бы и не юмор.

В 2006-2007 гг. я несколько сдал позиции, изменил себе и написал вполне реалистическую вещь – автобиографическую повесть «Убью, студент!». Правда, в конце не удержался и вставил-таки сновидение, где к герою приходит черт среднего чина и открывает ему глаза на будущее страны. Впрочем, эта последняя главка нужна как заключительный аккорд; без нее повесть была бы какой-то незавершенной и куцей.

В 1990-е гг. мне сочинилось две пьесы. Одна – «Самозванец» – имеет подзаголовок: псевдоисторическая драма. Дело в том, что от истории там ничего не осталось, разве что общая канва событий, которую я почерпнул у Карамзина. Главный герой, Лжедмитрий I, употребляет словечки, неслыханные в то время, типа «полководец», «режиссер» и прочее. Да и сам он явно не соответствует историческому прототипу (хотя чем черт не шутит), ибо является фигурой условной, воплощающей в себе авторскую идею. Кто такой самозванец? – спросил я себя. И ответил: актер. Вокруг этого все и закрутилось. Это попытка философской пьесы о сущности лицедейства и – шире – человеческих взаимоотношений, поскольку «весь мир – театр». Карамзин дал мне материал, а направление, характер пьесы подсказал Камю с его «Калигулой». Если историка интересует, каким был, скажем, тот же Калигула, то философа – что порождает, что движет такими, как он. «Хочу луну», – говорит диктатор. То есть невозможного. Кстати, и «актер» хочет невозможного: он жаждет быть самим собой, а жизнь ему все время подсовывает роли.

Другая пьеса – «Богема» – сделана на современном материале. Точнее, это вымысел, обращенный к современности. Гротескно, иногда абсурдно показана жизнь поэтов в условиях российского капитализма. В одном месте пьесы автор использует прием Брехта, когда герои вдруг обращаются непосредственно к зрителям, прием, как бы говорящий: очнитесь, здесь, на сцене, происходит не жизнь, а игра, не сопереживайте, но поймите.

Помимо стихов, прозы, пьес, есть в моей библиографии и несколько эссе. В исследовании под названием «Поэзия» предпринята попытка анализа этого вида искусства, попытка ответа на вопрос: что же собственно делает стихи стихами и чем поэтическое отличается от прозаического? В эссе «Оборотни» автор обращается к сказкам «Тысячи и одной ночи» и сопоставляет их содержимое с нашей действительностью. Вывод его печален: мы живем в перевернутом мире. «Мы удивляемся, читая книгу, тому, в чем нет ничего аномального. И напротив, события из ряда вон мы воспринимаем как норму».

Работа «Посланец хаоса» посвящена смеху. Вот ее начало: «Смех, как известно, бывает разный. Нецеленаправленный, «детский», происходящий от полноты жизни, которая радуется себе самой. И целенаправленный, когда человек смеется над чем-либо, его раздражающим или пугающим». Далее идет анализ «недетского» смеха, который в свою очередь подразделяется на пошлый и смех сквозь слезы. Последний, в зависимости от степени отчаяния, может превратиться в безумный смех. В качестве примера упоминаются мастера современной эстрады, а также творчество Гоголя, Хармса, Введенского.

И последнее. Эссе «Ужас и безумие». Самое крупное (как по объему, так, наверно, и по глубине) мое исследование. Заявленные в названии категории конкретизируются на образах произведений Э.По, все того же Гоголя, В.Гаршина, Л.Андреева, Ф.Сологуба, Ф.Кафки, А.Грина, Б.Поплавского, Флэнна О'Брайена и А.Платонова. Эссе предвещают два, разумеется, неслучайных эпиграфа. «Сердце тайно просит гибели». (А.Блок). «Великие вещи остаются для великих людей, пропасти – для глубоких, нежность и дрожь ужаса – для чутких, а в общем все редкое – для редких». (Ф.Ницше). Больше, пожалуй, ничего добавлять не стану.

Итак, оглядываясь на свой творческий путь, что мы видим? Написано немного, публикации можно пересчитать по пальцам, книг вообще нет. Непрочитанный, получается, автор. Так что ж, мы закручинимся по этому поводу? Отнюдь. И сейчас я скажу такое, чему многие не поверят, подумают: это он очки нам втирает или сам себя утешает обманом. Я скажу: есть разные типы писателей. Одни типы работают ради денег и славы. Для других творчество сродни исповеди, что-то вроде дневника. А нужно ли, чтобы дневник был обязательно опубликован? Конечно, я не откажусь издать книгу, если предложат. Но, повторяю, это для меня не главное. Главное – сам процесс... Теперь еще об одном различии между писателями. В советское время (а может быть, с 19 века) бытовало определение: литература – зеркало жизни. Чепуха! На наш взгляд, задача художника – не в отражении мира, а в выражении к нему своего отношения. Разумеется, через образы. Используя упомянутое определение, скажем так: литература – кривое зеркало жизни. И эта кривизна и будет выраженным авторским мироощущением.

ноябрь 2012 – февраль 2013

«ЧЕЛОВЕК-КОСТЕР» ГРИГОРИЙ ДАНСКОЙ

В годы учебы Гришу окружали многочисленные поклонницы, некоторых из них он так и не заметил. Они замечали все и даже вели дневник наблюдений за филологическим бардом. Любопытные первокурсницы, комната которых оказалась в одном блоке с Гришиной «двушкой», были покорены не столько его стихами и песнями (о существовании которых поначалу и не подозревали), сколько романтическим обликом таинственной личности (в дневниковых записях – ТЛ), которая редко появлялась в общежитии, но неизменно притягивала взоры.

Гриша тогда ходил в черном плаще и шляпе, сам себе напоминал Печорина и хранил верность школьному увлечению лермонтовским демонизмом. Затем у него будут, как и полагается современному поэту, периоды Маяковского и Бродского, придет время Бориса Рыжего, а потом будут сданы в утиль траурные одежды и позовет радио «Шансон», но первое впечатление останется навсегда – трагический романтик в черном, вдохновенный и печальный.

Его первое выступление с сольной концертной программой состоялось в Студенческом дворце культуры ПГУ в 1994 году. На афишах значился звучный сценический псевдоним – Григорий Данской (именно через «а»), напоминающий о далеких казачьих предках. Филологическая игра – грамматически точно представить себя как потомственного донского казака было бы скучно. Популярность начинающего барда тогда взлетела до небес и вышла далеко за пределы родных пенатов. Вскоре вышли его первые поэтические книги – «Концерт» (1995) и «Зимний футбол» (1997), а в год окончания университета Гриша стал членом Союза российских писателей.

Осенью прошлого года Гриша вновь выступил в большом зале Студенческого дворца, тепло вспоминал тот давний, стартовый концерт. В его программе «Старые и новые песни» ударными были все-таки старые добрые произведения, многие из которых появились во время учебы, а мы стали свидетелями их сотворения.

Экспедиции за песнями

Гриша несколько раз ездил с нами в фольклорные экспедиции, с энтузиазмом пел народные песни и танцевал кадрили. Он рассказывал, что был покорен мелодикой русских песен еще в детстве, когда учился играть на домре и три года занимался при ансамбле народных инстру-

ментов. Гитару он освоил самостоятельно, что чрезвычайно пригоди-лось в армии, где певца оберегали и ценили как местную культурную достопримечательность. Во время экспедиционных походов Гриша часто вспоминал армейские переходы и среднеазиатские пустыни (он служил в районе Кушки). Одно из любимых армейских воспоминаний, как сбегал из казармы, уходил в песчаную даль и читал вслух, нара-спев, пустыне и небу – Ницше и Мандельштама.

Кстати, в армию он пошел добровольно, оставив постылый поли-технический институт и лихих друзей. Редкое для поэта благоразумие обернулось благом: вернувшись и не найдя в живых многих товари-щей, Гриша поступил в университет, ставший для него подлинной Alma Mater.

В экспедициях к поэту относились почтительно. Студенты, заме-тив, что он задумчиво стоит в тени деревьев, разбегались и предупре-ждали: «Т-с-с, Гриша сочиняет! Не мешайте! Не отвлекайте!»

В дарованном уединении Гриша искал первую фразу, в которой спрятана мелодия. Потом он садился у окна, настраивал гитару, пел, и эти поэтические вечера, порой переходившие в утреники, остались для участников экспедиций одним из самых светлых поэтических впе-чатлений.

*Где сужается даль,
до игольного ушка,
в которое ниточкой к Богу
протянется Суздаль,
где сужается даль,
становясь острым краем земли,
устоять на котором
есть высшая удаль,
где сужается даль
и течет в русле русского слова,
цепляясь веками
за вехи событий,
нам отсужена высшею мерою часть
общей участи – жизнь
(потому из нас каждый – сожигатель),
где и я не лишен этой части,
а стало быть, счастлив,
как всякий, кто не растерял свыше меры,
и сужается даль,
приближая иные широты,
которые не переводятся в метры.*

Идея возродить легендарную филологическую газету «Горьковец» возникла в одной из наших экспедиций. Большинство выпусков, естественно, было посвящено путешествиям с открытым сердцем в поисках народного творчества. Гриша в своих заметках обычно немногословен, просит простить за «несколько высокопарный слог с обильным культурным эхом», размышляет о левитановских пейзажах, хтонических персонажах и бесконечности. Экспедиционные странствия, думается, стали питательной средой для его лирических размышлений и эпических панорам.

Иногда мы давали концерты в сельских клубах, просто так, чтобы ободрить местных жителей, которые пытались преодолеть постперестроечные тяготы. Мы пели песни, записанные в этой местности, танцевали забытые кадрили и «ланцо», показывали юмористические сценки, но главным номером программы был Гриша, неизменно покорявший сердца. Его просили переписать стихи, записывали на магнитофон, в нем подозревали профессионального артиста. Он, по сути, уже был профессионалом, но без профессионального лоска и снобизма, не утратившим живой энергетики, искренности и эмоциональности. Мы тогда часто говорили об авторской песне, сожалели о ее деформациях и вялотекущем омассовлении репертуара.

Гриша категорически не хотел ограничиваться бардовскими рамками, видел себя профессиональным литератором, мечтал издавать в Перми литературно-художественный журнал. Он стремился к усложнению поэтики, много размышлял о природе стиха, тайне метафоры.

*Шар черно-белый, делимый на трех человек,
в сумерках ранних едва узнающих друг друга.
Падая в снег, шар похож на кружащийся уголь,
падая в небо, похож на взлетающий снег.
Маленьким трем игрокам дела нет до того,
что остальные фигуры покинули поле,
что бродят черные пешки и белые пони
в сером офсайде, как сумерки за боковой.
Им не увидеть, как поле ушло из-под ног,
как поднялось и собою окутало воздух.
Ими играет, как в шахматы, клетчатый кожаный –
самый азартный и, может быть, главный игрок.
Недолговечны спортивные ссоры, но здесь
пахнет бедою сильнее, чем тающим снегом.
Кружится шар, и послушные кружатся следом
два короля и жестокий..., но маленький ферзь.*

(Зимний футбол)

Кучумово царство

Его родина – город Чусовой, в центре которого огромный завод, а по обочинам – разноцветные шахтные отвалы. Гриша рассказывал о «лунных» заводских пейзажах, странной красоте индустриального города, который притягивает и отторгает. Один из его печальных романсов – об одиночестве в

*«захолустном этом
металлурге-городе,
над которым плавает
рыжий дым».*

*...Так потушите пожар
в сердце брандмайора –
сам не сможет справиться
брандмайор...
На снегу январском
все стоит матерый,
пожилой мужчина.
Человек-костер.*

В основе поэтического мира Григория Данского – острое переживание бытия через ощущение живого свирепого пространства родных мест.

*...Все равно не полюбит нас это кучумово царство,
как не любит сегодня и как не любило всегда.
И в годах растворенные жалобы, страхи, мытарства
не оплатятся нам никогда, никогда, никогда.
...и Ермак поднимает с дремучей воды осторожно
дни, летящие с неба сухой календарной листвою.
Как здесь выжить и не утонуть в этих страшных, ост-
рожных,
злых кучумовых черных глазах реки Чусовой!
Эти дни, это братство пернатое, эти потуги
невеселого здешнего лета, боюсь, не спасут.
И когда его, страшно веселого, крепкие струи,
будто добрые женские руки, на смерть понесут,
посмотри на меня – я такой же, лишь чуточку
строже и спокойнее ветра в излучинах над Чусовой...
А Ермак, все такой же седой и живой все такой же,
на летящую воду глядит над своей головой.*

Детские чувственные впечатления: бурлящая река, овраги и отвалы формируют и его образ Перми. Любимый Комсомольский проспект – Компрос – бесконечная людская река, овраги Данилихи и Егошихи, холмы Мотовилихи в его восприятии пространственно структурируют город. Летящая стрела Комсомольского проспекта направляет жизнь.

Тут дело молодое.

Тут знай себе, иди.

Вся жизнь как на ладони.

И юность – впереди.

И вся земная слава.

И нас в той жизни нет.

И только слева, справа

Комсомольский проспект.

Сакральный центр Перми для него, конечно, любимый университет, с ним связаны творческое становление и первые победы. Он признается, что всегда волнуется, заходя в университетский городок. Любимый корпус – это пятый корпус, в стенах которого возник одноименный ансамбль. Популярная группа «Пятый корпус» выросла из импровизаций и спонтанных выступлений студентов с гришиного курса на праздничных вечерах. Теперь это успешный профессиональный ансамбль, принимающий участие в фестивалях («Rock-Line», «Платформа» «Движение», «Гринландия», «Белые Ночи», «Живая Пермь»), снимающий видеоклипы на собственные песни; в дискографии коллектива четыре альбома.

Гриша теперь не живет в Перми, и вместе с ребятами, с которыми когда-то основал «Пятый корпус», уже практически не выступает.

Человек-оркестр

На сегодняшний день у Григория Данского плотный график гастрольных выступлений. Он выступает с камерными сольными концертами в городах России и за рубежом. Еще в студенческие годы Гриша стал лауреатом Всероссийского фестиваля авторской песни «Московские окна» (1997) и вошел в первые ряды движения авторской песни. В бардовской среде Григорий Данской – известное имя, он пользуется авторитетом, имеет давних почитателей.

Пермский автор-исполнитель Наталья Ончукова, президент городского клуба авторской песни, вспоминает:

«Мое первое знакомство с творчеством Григория Данского состоялось в девяносто седьмом году, когда мы с Сергеем Назаровым вели проект по авторской песне “Моя песня на компакт”. Правила

игры задавали четкие параметры – автор должен был представить не одну или две песни, как это традиционно происходило на всех песенных фестивалях, а свою творческую программу. 30 минут – это минимум. 30 минут на простой магнитной кассете. 30 минут слушаем программу Гриши. И это 30 минут – восхищения, удовольствия, радости, недоумения – настоящий музыкант и отличный мелодист! Мое восприятие всегда начинается со звука, поэтому неудивительно, что экспрессивное и динамичное исполнение песен вызвало эмоциональный восторг. Слушаем еще раз, еще раз и еще... Григорий Данской – отличный автор! Нет. Поэт!

Я думаю, что творчество Григория Данского довольно долго будет современным, потому что наполнено живым словом, глубиной мысли, искренностью и порывистостью, дыханием жизни и скоростью. Динамика и скорость – самое неумное качество сегодняшнего дня. В песнях Гриши они живут в звуках гитары, в ритмических рисунках, силовом голосе и придыхании – все, что так завораживает чувствительных молодых людей.

Для меня современность поэтических песен Григория Данского определяется многомерностью поэтических образов и смыслов, которые можно прочесть или увидеть в его стихах. Как-то я исполнила Грише его песню “Кораблики”, он внимательно послушал и сказал, что написал эту песню про другое, и что никогда не ожидал что в этой песне так много материнства. Именно этим качеством отличается истинное творчество талантливого и гениального человека от популярного рифмователя текстов – нервом и многомерностью собственных произведений, количеством исполненных вариаций на заданную тему».

Одна из самых известных Гришиных песен – «Ангелы на шариках воздушных» живет своей жизнью, объединяя поэтов. Под нее состоялось знакомство двух пермских поэтов – известный Антон Бахарев-Чернёнок (лауреат Международном фестивале поэзии «Синани-Фест», лауреат премии «Иная речь» (2012)) познакомился с тогда еще неизвестным Сергеем Елтышевым, студентом филологического факультета Пермского госуниверситета, исполнителем и исследователем авторской песни. Сергей – участник наших экспедиций, поет «Ангелов» для сельских жителей, как когда-то Гриша. Этим летом он пел гришины песни для жителей Юрлинского района, ему сказали: «Слова необыкновенные...», просили написать.

*Ко временному бегу равнодушны,
не столько беззащитны, сколь смешны,
слетались ангелы на шариках воздушных –*

не потому, что были крыльев лишены,
не потому, что время кончилось до срока
и безвременья близится черед,
не потому, что им настолько одиноко –
н настолько, чтоб отправиться в полет
на детских шариках цветных...
Вертявы, как щенки и непослушны –
привычка в вышних к жизни кочевой –
слетались ангелы на шариках воздушных,
хоть я, признаться, сам не знаю для чего.
Да вот беда - никто их не заметил.
И мир затянут был в трамвайное кольцо.
Лишь грязные, оборванные дети
стреляли из рогаток им в лицо.
Не преступив заветного порога,
они, как тени, покидали нас.
Как ласточки, летящие от бога,
чтоб к богу возвратиться в нужный час
на детских шариках цветных.

Сергей не претендует на продолжение славных традиций Григория Данского, но является его преданным почитателем:

«Впервые услышав Данского, я поразился сложности его гитарного исполнения. “Безумен снег, безумен телеграф”, “Езерская рота”, “Где было море, а ныне земля”, “Археологическая богиня” – ничего подобного я ещё ни разу не слышал. Сразу стало понятно, что тут не просто перебирание аккордов. Простенький аккомпанемент – это, естественно, не порок, и потому мне очень нравятся и Окуджава, и Визбор, и даже Галич. Тем не менее, в технике игры Данского для меня было и до сих пор остаётся что-то удивительное. Когда слушаешь Олега Митяева или “Белую Гвардию”, то понимаешь, что вот здесь дуэт исполняет (на первых альбомах), а тут уже целый коллектив. А Данской играет один. И притом великолепно играет. Я загорелся желанием стать таким же человеком-оркестром...

Конечно, потом я познакомился с творчеством самых разных гитаристов, среди которых были настоящие виртуозы, как, например, Томми Эммануэль. И играть я стал лучше потому, что исполнял не только песни Данского. Да, он не единственный, кто хорошо играет на гитаре. Но для меня его творчество стало ярким и лучшим примером того, к чему можно стремиться. К тому же, пытаясь равняться в технике исполнения на Григория Данского, я всё больше и больше осознавал, что его творчество ценно не только удивительными мело-

диями, но и замечательными стихами. В сотый раз включая “Ермаковы дни”, “Сон”, “На верхней боковой”, “Ангел сказал”, я постепенно вырос из того, что слушал раньше...»

Сергей поделился с нами устными рассказами о Григории Данском, циркулирующими в среде уральских бардов. Так Гриша из собирателя фольклора превратился в фольклорный персонаж, что, несомненно, подчеркивает его высокий культурный статус.

Пассажи о Григории Данском

С Антоном мы подружились благодаря тому, что я не только знал песни Григория Данского, но также и исполнял некоторые из них. Бахарев их обожает, как, впрочем, и я. Знакомство наше состоялось под песню «Ангелы на шариках воздушных». Душевная была встреча! Антон, чтобы не забыть меня, на всякий случай сфотографировал меня на фотоаппарат. С тех пор почти при каждой встрече я пою ему Данского.

Однажды поэт Антон Бахарев-Чернёнок позвонил своему младшему брату. Мол, привет, Кольша, я тут с Данским сижу, выпиваем. Кольша – такой же горячий поклонник Данского, как и старший брат, и потому страшно удивился. А Бахарев взял мобильник и приставил его к колонкам, откуда доносился голос их общего кумира: «Никогда не играй на флейте, выдучешь ду-у-шу...».

Бахарев как-то рассказывал о своей поездке в Ялту. Тамашиние жители – люди жизнерадостные, весёлые и танцующие (Антон их изобразил именно такими). Пытался Бахарев познакомить их с творчеством Данского: включал им «Романс 01», «Сон», «Падающему листу» и проч. Ялтинцы внимательно послушали... и опять «затанцевали». Такие уж они люди, солнцелюбивые. Антон послушал Данского, посмотрел на ялтинцев, и мало-помалу сам влился в их жизнерадостную компанию.

«Мокрые вокзалы, голубые поезда»

Пермский университет находится возле вокзала «Пермь 2» и это символично, в особенности для Гриши: вокзалы и поезда – его любимая тема. Названия некоторых песенных альбомов сопряжены с дорожной тематикой: «Иные широты», «Коммивояжер», «На верхней боковой».

*На речвокзале, где июнь,
акация и атмосфера,
и чистота, куда ни плюнь,
и красноречьем демосфена*

*подвыпившего сотрясен
прикамский воздух, а под утро
старинный вальс “Осенний сон”
орет охрипший репродуктор,
где сводный хор друзей моих
бредет вдоль набережной пьяной,
и ночь бела, как пять седьмых
клавиатуры фортепьяно,
где до рассвета полчаса,
когда уже не Кама, Лета
их возвращает голоса,
когда мне кажется, что это
все словно много лет тому
назад уже происходило:
как брал гитару, как кадило,
любимец факультета муз,
как ставил правильный аккорд
и все запели “про надежду”,
как, скинув на ходу одежду,
один из нас бежал вперед...
А впереди нас ждал финал.
Вернее, финиш... Но стоп-кадр.
Начнем с финала. Речвокзал.
Июнь. Акация. Цикады.
Портвейн. Светает. Пять часов.
И к нам из дали Заостровской
идет четырнадцать узлов
“Владимир Маяковский”...*

В последние годы Григорий много ездит, один фестиваль сменяется другим: 2-й Московский международный фестиваль поэтов (2001), Международный фестиваль авторской песни «Петербургский аккорд» (2004); «Всемирные слеты бардов» – 2003 года (Турция), 2005 года (Италия) и 2007 года (Испания); «Балтийская Ухана» (Балтийск, 2012), «Полярная акварель» (Нарьян-Мара, 2012), «Заозерье» (Нижний Новгород, 2012), «Агидель» (Уфа, 2013), «Таежный романс» (Ханты-Мансийский округ, 2013), «Распахнутые ветра» (Селигер, 2013), «Славутич» (Украина, 2013) и т.д.

В начале «нулевых» он стал победителем конкурса «Гамбургский счет среди бардов» (Казань, «Айша-2003»), его стихотворения вошли в подборку «Звезды русской провинции» журнала «Уральская новь»

(2001, № 11). Открывающее подборку стихотворение «Коммивояжер» симптоматично для нового, фестивально-гастрольного периода.

*Я жил в поездах месяцами, и вот, устав,
жду указаний сверху, но им до лампочки.
И когда за мной на вокзал присылают состав,
проводницы в плацкартных вагонах готовят мне тапочки.
Я пью с проводницами чай. Я вру им про города,
в которых я был и не был во время рейсов.
Они говорят: “Хороший ты парень”. “Да, –
я им отвечаю. – Я крепко стою на рельсах”.
А потом, уже ночью, в, казалось бы, темном окне
(будто за полночь взял машинист и маршрут поменял)
проплывает большая земля, неизвестная мне.
Но рельсы держат меня.
Если Ты, водрузил меня, Боже, на эти стальные пути –
Ты скажи, и я замолчу, обид не тая.
Только право молчать Ты себе оставляешь... Прости,
проводницы интересуются, с кем это я.*

Отправившийся «на верхней боковой» в столицу поэт оказывается на «самом главном пустыре страны», где, впрочем, можно подумать и о душе.

*Где ты, душа, осталась?
...А было как наяву:
принесли на станцию
человека - и в поезд, в Москву.
Очнулся ночью, в дороге
Поезд уже под Москвой.
И едут вперед его ноги
на верхней боковой.*

*...Душа, на свете выше нет цены,
чем жизнь. А смерть лишь вариант оплаты.
Душа, не помню, в чем мы виноваты,
но верю, что мы будем прощены.
Взгляни, душа, нам уготован ад:
Манежная в огне, Охотный ряд,
сад Александровский... Куда дать драпу?
На Курский? На Казанский? На Тверской
стоит Поэт, сняв бронзовую шляпу,
оплакивая волю и покой.*

Многие гришины слушатели предпочитают именно концертные записи, передающие динамику и живую энергетику. Надеемся, что энергия не иссякнет, не развеется в бесконечных переездах, а поэт не станет пленником узкой колеи.

Ничего не бойся.

Лучшего не жди.

*Даже если сгинешь, испаришься, как вода,
все равно останутся июльские дожди,
мокрые вокзалы, голубые поезда.*

Ты уже не скорый.

И не молодой.

Кто же тебя гонит так по кругу бытия?

Разменять не можешь свой последний золотой?

Все не отпускает тебя молодость твоя.

Павел Чечёткин

«НЕБЕСНЫЙ ЗАЯЦ»

Писать о себе самом, пока жив – занятие трудное и неблагодарное. Вот если бы я, скажем, уже помер и надиктовывал свои воспоминания каким-нибудь любопытным студенткам, склонившимся в полночь над разлинованным бумажным кружком... Вот тогда можно было бы всласть оттянуться и безошибочно назвать все важные вешки своей отбренчавшей жизни одну за другой. А пока приходится только на ощупь вытаскивать воспоминания, как записки из шляпы, и на каждой строке сомневаться, о том ли ты вообще говоришь.

Обычно я представляюсь поэтом. Пожалуй, это самое близкое, самое честное мое самоопределение, самое точное попадание словом в сердцевину своей собственной души. Но именно о стихах своих я ничего писать и не буду. Если они нуждаются в каком-то прозаическом комментарии, значит, в самих стихах этих что-то не задалось. В «Автобиографии» я вкратце рассказал о своей жизни, указав на ее моменты, которые кажутся самыми важными в настоящий момент. Дальше я написал о литературном журнале «Вещь», который мы создали в 2010 г. и редактором которого я являюсь.

А о стихах моих пусть расскажут другие: редактор Анна Бердичевская, написавшая предисловие к моей книге «Небесный заяц», и критик Валентин Курбатов, написавший послесловие к ней.

В общем, как-то вот так.

Автобиография

Однажды зимой я, взбалмошный студент Сергиево-Посадского колледжа игрушки, приехал со своим развеселым дружбаном (тоже Пашкой) в Александрову слободу. Перейдя по хрупкому льду старый пруд, где когда-то опричники телами казненных выкармливали аршинных карпов к царскому столу, мы вошли в монастырь. Обшарпанные белые храмы, как исполинские грибы-дождевики, то тут, то там прорывали утоптанную почву. Мы скакали по снежному отвалу, пытаясь согреться от дыхания надвигающейся ночи. И мой друг скатился на тропу прямо под ноги пожилой женщине, выбредавшей среди снега. Та на секунду отпрянула от такого наскока, потом взгляделась в лицо своего обидчика и ткнула пальцем: «Священником будешь!» Пашка, тогда еще чистая трущобная гопота, глумящаяся над любой духовностью, заржал. А мне, стоящему на самой бровке, кровь бросилась в лицо. К этому времени я уже полгода жил возле Троице-Сергиевой лавры у дальней родственницы и мечтал о служении священника. В перерывах между вырезанием из дерева медведей и лошадей я почитывал семинарские учебники, а по воскресным дням спешил в храм. Там, перевоплощаясь в дьячка, я прилежно раздувал иерейское кадило, а выходя со свечой на амвон, нашептывал под нос слова будущих проповедей, призывающих мир к добру и чистоте.

«А как же я?» – вылетело в сумерки мое ущемленное эго. Старица взгляделась в меня и ткнула пальцем: «А ты станешь монахом!». «Тоже священником?» – почти всхлипнул я. «Нет!» – резала незнакомка, – «Монахом». И провалилась в ночь. Было в ее облике что-то роковое, какая-то неоспоримость иудейских пророков и московитских юридов. История и без того врзалась мне в память. А мой друг действительно стал священником и теперь славится своей набожностью на весь район. А как же я?..

Помнится мое пятнадцатилетие, еще в Перми. Несмотря на нелегкое положение в нашей семье, родители таки смогли устроить в честь моего полуюбилая небольшое торжество. Отец с пафосом поднял граженный: «Ну, сынок, желаю тебе вырасти настоящим человеком!» И, как говорится, выпил. Подняв на своего родителя глаза молодого скептика, я спросил тогда, а каким с его точки зрения должен быть «настоящий человек»? Вопрос действительно был туманен. Окружающая действительность девяносто третьего года являла взору огромное количество различных типажей и форм самореализации, и каждый человек, неважно, добывший ли себе «вольной» и кастетом шестисотый мерседес или выпавший в осадок в каком-нибудь наркомановском притоне, был уверен, что именно он и есть тот самый «настоящий».

Впрочем, полупраздничный стол был не тем местом, где можно было получить ответ на такие глубокие вопросы. Родители мои никогда сами не знали на него ответ. За свою жизнь они родили одного ребенка, выстроили дом и, наконец, сами потерялись где-то в этой эпохе всеобщего идейного распада. Отец мой, воспитанный частично на комсомольской закуске советских лозунгов, частично на патриархальном быте алтайской деревни, после долгих мытарств осел на Урале и теперь с трудом пытался адаптировать свой культурный багаж к реалиям новой России. Мать моя, местная уроженка, была продолжательницей линии местных староверов – кержаков. Выросшая в обеспеченной семье, сама она сочла для себя формальностью получить какое-либо перспективное образование и теперь обреталась медсестрой в должности медсестры. Вопрос о «настоящем» был для них в принципе неразрешим, как понятие нирваны для правоверного буддиста: цель указана, а какова она, думай сам, сынок.

На этом, можно сказать, и закончилось мое обычное пермское детство. Пионерские костры давно подернулись пеплом, зарос бурьяном огород, а мои первые стихи, слушать которые собиралась вся семья, потеряли свой вес и смысл. В родне моей иногда вспоминали, что род по одной из побочных ветвей своих восходит к французскому дворянству, и основателем его был чуть ли не сам Кот в Сапогах. Бабка рассказывала мне, что даже видела однажды эти самые сапоги на проворных ногах одной из высокопоставленных столичных барышень, завсегдатаев распродаж революционного конфиската. Была ли причиной тому примесь кошачьей крови, или просто наши сырые железные звезды однажды смутили дух тоскующего подростка, но через четыре месяца я взял свой посох и с рыбным обозом ушел в Москву в поисках духовного просветления.

Сейчас уже трудно сказать, почему не задалась тогда моя священническая карьера. Пожалуй, потому, что я очень люблю женщин и свободу слова – со всем остальным церковники бы смирились. Впрочем, сам-то Бог мне и это простил: я постоянно чувствовал тогда и теперь на себе его нетяжелую отеческую длань. Мне всегда везло на интересные знакомства. Так, моим первым литературным критиком, которому я носил свои ученические стихи, стал профессор Московской духовной академии, а первым духовным наставником – весьма известный ныне богослов дьякон Андрей Кураев (с этим мы вообще познакомились при анекдотических обстоятельствах). Было и много других: иконописцы и резчики, писатели и монахи. Но первых двух я запомнил особенно. Когда я по прошествии трех лет своей подмосковной жизни объявил, что намерен возвращаться в Пермь и поступать на филфак (ну бред же,

бред – честное слово!), они только улыбнулись. Профессор загадочно, а дьякон с состраданием. Но я действительно вернулся в Пермь и поступил на филфак. И это не шутка.

Сейчас я бы на пушечный выстрел не подошел к этому учреждению. Только в наручниках и под конвоем. Сейчас я бы пошел учиться на архитектора или инженера. Но тогда, видимо, мне это действительно было нужно. И филфак навсегда остался в моей памяти, как остается первая, почти всегда несчастливая любовь. Что можно написать о студенчестве? Оно у каждого свое и у всех одинаковое. Высосать из этого занимательный нарратив, все равно, что описывать строение своего тела с претензией на оригинальность. Было весело, задорно, временами трудно, бесстыдно, наивно, глупо, восторженно, витиевато... Были студенческие практики по деревням и в школах, была разносторонняя рефлексия на литературу, были первые любви и любви... Были, наконец, первые стоящие стихи и искреннее «Поздравляю, Паша, ты настоящий поэт!» от взыскательной и строгой преподавательницы. А в целом... Думающий человек приходит сюда с мыслью, что и так знает все на свете, а уходит с ощущением полного непонимания. Нужен ли поэту филфак? Между двумя крайностями, одна из которых представлена лицейскими стихами Александра Сергеевича, а другая словами знакомого поэта: «Филология – попытка препарировать дух святой», истина лежит где-то как раз посерединке... Какой-то зануда скрупулезно подсчитал: для того чтобы вычитать всю программу филологического факультета, нужно читать двадцать лет по восемь часов в день. С учетом, что я закончил филфак с красным дипломом, а читал нечасто и с неохотой, то за мной с тех пор так и тянется длинный шлейф моральной ответственности.

По-настоящему запомнились только начало и конец. Я тонул на вступительном, так как не знал текста. Вопрос, к моему счастью, был сформулирован достаточно абстрактно и так и подмывал к импровизации. Полчаса я с небывалым воодушевлением рассказывал комиссии о никем никогда не читанных и не писанных текстах. Бог весть, о чем думали тогда почтенные экзаменаторы, но свою пятерку я получил. А спустя пять лет, уже на выпускной, к нам явился военкомовец. Он поглаживал стопку повесток и плотоядно выглядывал веселых выпускников. Битый час я тогда с кафедры читал какие-то идиотские стишки о студентах. Капитан хохотал до слез. В процессе своего приобщения к высокому искусству он даже не заметил, как разбежалась из аудитории вся его законная добыча.

В следующий раз я видел этого военкомовца уже когда, спустя пару лет, пришел в военкомат с удостоверением аспиранта кафедры фи-

лософии. Офицеры сначала с любопытством смотрели на свою давнишнюю пропажу. Но – аспирант! Но – философ! Для практичных сортировщиков пушечного мяса это звучало более отвратительно, чем дезертир-самострельщик. А сама кафедра философии стала для меня многое чем. В памяти всплывают интереснейшие беседы по философским душам и настойчивые вопросы знакомых: «Ну, скажи, кому и на кой сдалась эта философия?» «Различать значения слов», – обычно отвечал я, ощутивший вкус философского подхода. Кафедра давно уже позади, но до сих пор я чувствую на языке терпкое послевкусие. Не важно при этом, коробит ли меня своей глупостью очередной политический лозунг, или бизнес-партнер, пропаривший все сроки, во время переговоров начинает игру в многозначность.

Впрочем, диссертация не та цель, о скорой недостижимости которой я мог бы обкусывать локти. Может, даже лучше, что ее создание растянулось на годы, что мне не приходится вымучивать ее бессонными ночами, выдавливая из головы тягучие, наукообразные мысли. Зато теперь я имею счастливую возможность приправлять ее солью своего жизненного опыта, который не заменят никакие прочитанные монографии. Благо, моя нынешняя работа к этому благоволит. Я работаю в строительном бизнесе, и жизнь моя теперь пестра и многогранна, как строящийся дом.

Но это всё так, типовое. Собрался писать автобиографию – ищи эксклюзив. Желательно с прорывом в экзистенцию. Теперь я понимаю, что таковым был целый период моей жизни, аккурат между филфаком и аспирантурой. Я решительно не знал, чем заняться дальше, и полтора года метался между Пермью и Москвой на случайных заработках и со случайными мыслями в голове. В это время какого-то тотального расслабона так же ненароком случались стихи, ставшие потом основой моей первой книги. Они падали мне в голову в самых неожиданных местах, вырывали меня из людского потока и заставляли бродить по ночным улицам, наборматывая под нос еще не проговоренное никем. Такого потопа со мной не случалось ни до, ни после.

Период этот закончился знаковым образом. За три месяца я успел схоронить мать, поступить в аспирантуру и издать книгу «Небесный заяц». Какие-то смысловые связи между происшедшим стали постижимы только со временем. Вспоминаю, как, сидя у материнского гроба, я осознавал исконный смысл слов «навсегда» и «никогда», и теперь думаю, что за подобный опыт можно зачислять на кафедру философии без вступительного экзамена.

А книга...

Мои тогдашние стихи понравились действительно многим. Они поползли с рук на руки, были премии, публикации, выступления в разных городах... На одном из них я случайно познакомился с Анной Бердичевской – моим редактором и издателем. Была потом презентация в Перми, где я, спустя неделю после материнских сороковин, со сцены навзрыд кричал в зал свои шутовские стихи, а люди рукоплескали мальчику в красной рубашонке и улыбались вовсю его искренности. Была премия «Триумф». Среди других, уже и без того именитых лауреатов, я карабкался по центральной лестнице музея имени Пушкина в церемониальный зал прямо как из пасти булгаковского камина. А мой старый наставник, профессор Духовной академии потом грустно качал головой: «Павел, мне жаль тебя: подобную премию никогда не дадут православному человеку».

Было, наконец, возвращение домой. Помню, как с огромным баулом своих книг я бежал по вокзальному переходу на отходящий пермский поезд, когда меня окружила местная ментовня. «Стоять! Документы! Что в сумке?» Я надорвал край пачки, обнажив черные, пахнущие типографией переплеты. Служивые сразу потеряли ко мне интерес и направились к группе южан. Около меня остался только один из их компании, опогоненный гопник с гремучей смесью наглости и глупости в глазах. Он выволок одного «Зайца» и стал листать, разглядывая миниатюры работы Резо Габриадзе, щедро уступленные мне моей издательницей. «Чо, типа стихи пишешь?». «Да». «Чо, типа хорошо пишешь?». Мне тогда не хватало только литературного диспута и автографа ему на память. Я представил, как, стащив с себя ментовскую бутафорию, он будет тыкать пальцем и ржать с друзьями, тряся свинными рылами над бисером моей души. «Я пишу очень плохие стихи. Тебе не понравятся». «А чо тогда пишешь». «Люблю людей позлить».

Вообще-то я не часто так откровенно лгу в глаза народу. И на встречах с читателями пытаюсь быть честным, даже если потом приходится краснеть.

В общем, так и живу. У меня есть книга, за которую мне не стыдно. Есть любимые, близкие люди, сносная работа и хорошие друзья. Есть чудесный мир вокруг, до конца не выслушанный и не проговоренный. Есть, кстати, еще и предсказание старой монахини. Так что, может, всё моё «настоящее» еще впереди.

Павел Чечёткин

«Вещь» и ее духовность

Писательская и читательская Пермь всегда тосковала по литературному журналу, которого у неё не было никогда. Это было сродни

чувству, которое бы могло охватить какого-нибудь мыслящего пингвина при виде пролетающих поморников. Но изначально основной формой презентации пермской литературы любознательному читателю оставались альманахи. Большие и маленькие, помпезные и скромные, почти удачные и совсем никакие – они, подобно пузырям, надувались и лопались на поверхности котла Пермской литературы: Литературная Пермь, Лабиринт, Третья Пермь, Березовая каша... Каждый из этих альманахов отражал величие авторского замысла и размер финансирования, отваленного на данный компендиум. И каждый из них, насколько удачным он бы ни оказался, нес в себе две важные проблемы, связанные с жанром альманаха как таковым.

Первая проблема была связана с необходимостью представлять в каждом альманахе непременно «всю» пермскую литературу. Гордое наименование «альманах пермской литературы» ставил перед редактором непростую дилемму. Либо вставать в позу страшного судии, упорно отстаивать свое понимание того, что именно является пермской литературой в настоящий момент, и тщательно просеивать имеющийся материал с целью отделения пшеницы от плевел. Либо идти по пути наименьшего сопротивления и, апеллируя к буквальному пониманию термина «литература» как «буквенность», брать всех подряд. Первый путь был чреват серьезными моральными издержками для редактора любого альманаха. Ведь отказать какому-либо известному пермскому автору в публикации его очередного литературного произведения было равноценно утверждению, что данное произведение литературой не является. Второй путь резко снижал уровень альманаха пермской литературы, превращая его, по выражению одного моего коллеги, в «выставку достижений народного хозяйства», где с пегасом неизбежно соседствовала подложенная свинья. И многочисленные пермские литераторы, дружной колонной общего товарищества на паях, каждый раз приносили свои новые опусы, чтобы законно потребовать причитающегося им места между двумя картонными корками.

Вторая проблема пермских альманахов заключалась в отсутствии системного подхода. Каждый из них был единичным явлением, создаваемым в обстановке, когда редактор альманаха толком даже и не знал, выйдет ли следующий альманах. Хороший или плохой, удачный или не очень, альманах каждый раз был лишь фотовспышкой, на мгновение освещавшей пермский литературный горизонт и выхватывавшей лишь общие контуры происходящих процессов. Пермские писатели представляли на страницах как гоголевские герои, застывшие в немой сцене, застывшие ровно в таких позах, в каких застала их судьба. И решительно никто не мог бы предсказать, куда двинется герой, едва опу-

тится занавес. Такая неперIODичность создавала ситуацию некоторой дискретности пермского литературного ландшафта, очень мешала удовлетворению потребностей вдумчивого читателя: оценивать и наблюдать.

Редактор журнала свободен от этих двух ментальных идолов. Ему не нужно каждый раз вскрывать весь плодородный слой литературной почвы и разворачивать найденные вершки и корешки в единое панорамное полотно. Редактор журнала ставит перед собой цель каждый раз создать целостный номер, в котором тщательно отобранные тексты лягут максимально плотно, как патроны в обойме, чтобы в нужный момент выстрелить в глазное яблочко читателя и, по возможности, сразить наповал. И только последовательность номеров сложится в целостную картину пермской словесности. Картину, в которой, помимо панорамности охвата, проявится в качестве временной категории и сам литературный процесс.

С идеей пермского журнала носились многие подкованные литературной премудростью энтузиасты, а то и просто экзальтированные ходоки, которые десятилетиями шли на прием в пермский минкульт, а несколько человек, по слухам, дошли даже и до губернатора. Мне сложно судить сейчас о причинах их неудач. Может, сказалось отсутствие четкой стратегии развития журнала, может – неимение подходящей команды, может – нечеткое формулирование основной идеи, а то и просто недомыслие власть держащих и неудачность конкретного исторического момента.

Наш исторический момент настал в декабре 2009 г. В Перми на волне «культурной революции» только что прошел первый поэтический фестиваль «СловоНова», свидетельствовавший о намерении гельмановской команды освоить и не тронутое ими до поры литературное пространство. При всей своей яркости и размахе фестиваль оставил после себя тяжелое ощущение, и не только у меня. В целом он вполне вписывался в русло обозначенной «революционерами» стратегии, согласно которой вся культура представлялась ими как исключительно завозной, столичный продукт. Соответственно горожанам предоставлялась роль вечно экзальтированной и восторженно-аплодирующей, вечно поучаемой массовки, призванной глядеть в раскрывающийся рот приезжих знаменитостей. Ситуация, когда литературу пытаются отождествить исключительно с приезжими гастролерами, а пермских писателей представить в виде какой-то невзрачной серой массы (на фестивале мелькнуло только несколько пермяков), мало устраивала очень многих. Уже в январе 2010 г. мы составили группу единомышленников, с которой в общих чертах набросали цели и задачи

журнала, а также внятную стратегию его развития. С этой стратегией мы и пошли по инстанциям минкульта, от которых теперь зависела судьба журнала. Как видимо, на этот раз звезды сошлись в правильные сочетания, так как уже в июне 2010 г. мы презентовали наш первый номер.

День нашей первой презентации мог запросто оказаться Судным днем. Кто в те достопамятные годы пробовал окунать свой ум, уши и глаза в бурные волны околокультурной полемики, бушевавшей тогда вокруг т.н. «пермского культурного проекта», поймут, о чем я говорю. Противостояние деятелей пермской культуры и «варягов», названных губернатором перепахать пермский культурный ландшафт и обессмертить его губернаторское имя, дошло до высшей точки накала. Две крайности, два непримиримых взгляда на перспективы пермского культурного строительства сошлись в искрящую дугу, грозные сполохи которой долетали до столицы, изрядно потешая и изумляя тамошнюю публику. В этой ситуации любая мало-мальская обозначенная «партийность» журнала, ориентация исключительно на определённую тусовку привела бы нас к ссоре и безусловному шельмованию со стороны сторонников другой. А мне этого хотелось меньше всего. Я не ассоциировал себя полностью ни с одной из этих противоборствующих сил, я просто хотел создать для моего города качественный культурный продукт, и, как мне кажется, у нас это получилось.

Журналисты и читатели заполняли зал подобно грозovým тучам, набегающим на небосвод. Судя по выражению лиц присутствующих, в зал было принесено немало тухлых яиц и рваных ботинок, а также не одна дохлая кошка. Пальцы пермского корифея хрустели костяшками, сжимая подставленный диктофон. Было задано немало провокационных вопросов, в том числе о количестве «распиленных» на журнальном деле государственных денег, а также намеков, что печатать в журнале мы, наверное, собираемся исключительно самих себя.

Но уверенность в нашей правоте, счастливое чувство от хорошо проделанной работы наполняло нас и придавало уверенность. Наш первый свежееотпечатанный номер горел своей провокационно-красной обложкой в белых шрифтах, вместе с редакцией за столом, как свадебные генералы, восседали всем известные и уважаемые пермские писатели: Семен Ваксман и Владислав Дрожащих, которые говорили о большом деле, начатом нами. Тогда, когда мы отвечали на вопросы журналистов, одни – дружелюбные, другие – с явной подковыркой, мне стоило труда подбирать в ответ взвешенные слова, и до самого конца не было уверенности в успехе. И только когда уже я познакомил-

ся с положительными отзывами и рецензиями на первый номер, я выдохнул: «Получилось».

Отдельно хочется сказать о названии нашего журнала. «Вещь»... Это был тот случай (знакомый нам еще по истории сотворения мира), когда сначала приходит слово, и ты никак не можешь от него отвязаться, а уже потом оно наливается смыслом, и ты задним числом начинаешь постигать точность своей первоначальной интуиции. «Вещь»... Здесь и тема овеществления в бумаге поэтической невещественности (мандельштамовского «ворованного воздуха»); это и кантианская «вещь в себе», ставшая в момент публикации «вещью для других»; это и просто радостная оценочная реплика любителя словесности, увидевшего в магазине хороший журнал: «Вещь!».

Какова жизнь нашего журнала сейчас? В 2013 году вышел уже седьмой номер «Вещи» (а мы выходим два раза в год), и можно подводить первые итоги. Мы по-прежнему придерживаемся всё той же стратегии, равноудалаясь от каких-либо литературных течений и школ, не отслеживая никакого литературного тренда и не формируя его. В городе, имеющем пока только один журнал, было бы непозволительной роскошью поднять на щиты какое-то одно литературное направление и игнорировать все остальные. Когда-нибудь, возможно, у нас будет много журналов, и идейно-художественная борьба между ними станет важной частью пермской культурной жизни. Когда-нибудь, но не сейчас. Главным критерием отбора остаётся вопрос качества произведений, которые уже потом в рамках единого номера мы стараемся свести в целостный узор. Наши цели остались прежними: отображать и осмысливать пермскую литературу. И если когда-нибудь на старости лет, обозревая в ретроспективе судьбы пермского литературного процесса, я замечу в нем плодотворную роль нашего журнала, то мне, наверное, будет очень приятно от мысли, что всё это делалось не зря.

??Редактор литературного журнала «Вещь»

Павел Чечёткин

«Небесный заяц», Павел Чечёткин ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Конечно, судьба есть. Как-то прихожу на поэтический вечер. Многочисленные авторы нового сборника читают стихи и уныло клеймят читателей и издателей, которых или нет, или не те. А рядом со мной сидит напряженный, но и смешливый, но и чрезвычайно серьезный, отважный, совсем молодой. Конечно, поэт. И физиономия его своим устройством мне страшно знакома. Ну, жду, не выйдет ли почи-

тать. Объявили – Павел Чечёткин. Он стремительно вышел на сцену и прочел громко:

Красивый

*И нет мне покоя от бешеных дур,
Как будто я их арканю.
– Сударь, к Вам тут царевна Будур...
– Гони её на хрен, в баню!
Стою ли на стрёме, иду ли в разгул,
Топчу ли полы на обедне,
До слуха доносится грохот и гул
В моей беспокойной передней.
Гляжу в зазеркалье и вижу вопрос
В любой пролетающей мине,
Но молча глотаю дымок папирос
И булькаю водкой в графине.
А где-то на крыше, на свальне котов,
Сидит и хохочет принцесса,
Сдрочившая сто пятьдесят каблуков
От города Пелопонеса.
О Боже, зачем я красивый такой?..*

Павел прыгнул со сцены в проснувшийся зал, легкой (красивой!) походкой прошел и сел опять-таки рядом со мной.

Так мы познакомились с этим красавцем. Боже, какое счастье.

Я не буду вам говорить о его стихах, это делает в послесловии серьезный критик. Мне хочется сказать о нашей с Пашей общей родине, о Западном Урале, о Перми, и еще точнее – о Мотовилихе. Место уникальное. Когда-то еще мой дед, главный инженер крупнейшего в России пушечного завода посадил рабочих на землю – каждому дом и большой огород. Для смягчения нравов. Затея, возможно, не вполне удалась, но прижилась: до сих пор Мотовилиха - то ли город, то ли деревня. Слобода. Мотовилиха раскинулась как все значительное в мире на семи холмах, на «угорах», с верхушек которых открывается подробный вид на секретный завод, а за ним - холодная, стальная, широченная Кама. Сюда, в Мотовилиху на завод, сделав крюк, заехал Чехов, путешествуя на Сахалин. В глубокую грусть впал Антон Павлович от посещения Перми и написал «Трех сестер». О Мотовилихе он не написал ничего. Было это век назад.

Я прекрасно могу себе представить, как именно век назад три девочки, три сестры – Зина, Людмила и Агния – с огорода на Висиме

(один из семи холмов) смотрели на закаты за Камой. Они были совсем не генеральские дочери, а дочери табельщика с Мотовилихинского завода, в Москву не хотели, но одна из них, выйдя замуж, прожила жизнь в Москве. С Чеховым эти девочки не виделись. Но читали (в мотовилихинских домах водились серьезные библиотеки). И очень возможно, были у них соседи, Чечёткины... Одна из этих трех сестер была моя бабушка. А их прапрадед приехал когда-то еще с графом Татищевым строить Пермь. Какие странные судьбы зарождались в Мотовилихе, какие страсти тлели и вспыхивали. Какая глубокая, разнообразная жизнь происходила, переплетая судьбы... Конечно, лицо Паши Чечеткина мне знакомо, мы еще два века назад встречались, и после, и потом, и снова встречались.

Прочтите эту книгу. Книгу молодую, откровенную, опасную (ведь быть откровенным – вены открывать). Вот как оно все происходит! На самом-то деле... Как смешно, страшно, и глубоко, и прекрасно, и ужасно, и стыдно, и радостно живет поэт – так и живет народ и страна. Он на каждом шагу, в каждом стихотворении проговаривается о своей и нашей, и вообще – трепетной жизни. Не излагает, а именно проговаривается. Ему дано. И чем случайней, тем вернее...

В этом веке мое знакомство с Пашей длилось пять минут. Но мы успели договориться о книге и перейти на ты. Как можно по одному стихотворению так стремительно влюбиться в поэта? Не знаю. Он и сам, как вы только что прочли, недоумевает... Надеюсь, вы повторите мой стремительный путь любви и радости узнавания. Даже если к Мотовилихе отношения не имеете.

Впрочем, вот вам один из мотовилихинских случаев в изложении Чечеткина.

Котёнок

*Шёл котёнок маленький
С печки на порог,
Где дымились валенки
В суете дорог;
Шёл босыми ножками,
А в дверном окне
Новый день картошками
Прорастал в огне.
Шёл котёнок маленький
И мечтал о том,
Как сугроб за баньками
Обойдёт кругом.
И смеялась улица,*

*Щурясь на бегу,
И клевала курица
Точки на снегу.
И глядело дерево
В белый след пурги,
И шептало серому:
– Ушки береги!*

Паша, молодой и красивый, Небесный Заяц! Береги ушки, будь счастлив! Раста большой.

Любопытно, что когда я (в переписке по «емеле») предложила Павлу назвать книжку «Небесный заяц», он несказанно обрадовался и немедленно прислал фотографию, которую вы видите на обложке. Она была сделана за год до нашего знакомства: дурака валяли, пробовали с приятелем дешевую электронную камеру.

В качестве иллюстраций в книге использованы фотографии, сделанные автором и его друзьями. А также рисунки Резо Габриадзе, которые вообще-то были сделаны к моей книжке. Но ведь «для милого дружка и сережку из ушка». Для Чечёткина – не жалко.

*Анна БЕРДИЧЕВСКАЯ, поэт, писатель, издатель журнала «Бизнес-матч»; главный редактор издательства «Futurum-ВМ»; редактор
и издатель книги «Небесный заяц»
г. Москва*

НЕТЕРПЕНИЕ

Я узнал его за минуту до того, как нас представили друг другу. Ведь я уже читал его стихи. Лицо пермского поэта Павла Чечёткина летело навстречу в таком нетерпении жизни, такой открытости, испытующей прямоте, что его хотелось оградить или накричать на него, чтобы оно успело закрыться. Так долго глядят даже успевшие стать взрослыми дети, не ведавшие настоящей родительской любви, но спасённые музыкой от ожесточения. В лице была готовность любить, радоваться, знать, слышать. И была вместе готовность укрыться в независимости и строгости, которые при этом никого не могли обмануть. Можно было бы сказать «душа нараспашку», если бы с этим понятием не связалось нечто более беспечное. Тут «неодинаковые гены» укладывались сложнее, и в его поэтической «Автобиографии» мука этой укладки очень видна.

Он долго был «опорой дома пьяного стыда» и горько и жёстко писал об этом:

*Икона! - под накинутую копоть
Я был сокрыт на долгие года.
А там любой, почти на дармовицину
Берущий воздух комнаты внаём,
Мог вычертить любую чертовщину
На потемневшем образе моём.*

*Пока, привстав от битого корыта,
Моя осатаневшая родня,
Крутя ключом по темечку зенита,
Перевернула небо на меня.*

Небом была молитвенница тётка, жизнь под стенами Троице-Сергиевой Лавры и учёба славной богородской резьбе. Жизнь в святом месте спасительна для жадной, зоркой и яркой (если такое слово уместно) души. Но при недостатке опыта и опасна. Горячее позднее детство, к тому же опалённое недавней чертовщиной быта, летит во все стороны сразу, и узда благочестия не по нему. Глаз скоро ухватывает ложь и внешность, но не успевает проникнуть вглубь, где в незримости совершенной простоты ткётся настоящий свет духа. Это раздражение внешностью и ряженьем заставило его потом написать «Церк-вачей» – стихотворение резкое и тяжёлое для сердца.

*Пока не встали, не запели,
Пока не сдохли петухи,
С усмешкой церквачи глядели
На наши детские грехи.*

Это «сдохли» для него – Петровы петухи Евангелия, пробуждавшие апостола от предательства. Оттого и усмешка «церквачей», уже успокоенных петушиным молчанием. А когда петух всё-таки прокричал, у них для поэта уже не было евангельского милосердия и терпеливой любви, чтобы разобрать зёрна и плевелы, и они предпочли свалить всё в кучу:

*И волхонули чёрной спичкой
Вдали от смысла и воды,
А небо с неба по привычке
Благословило их труды.*

Он много будет писать о тревожном разломе ищущей воссоединения и успокоения души. И чаще горячо, бегом, торопя ответ и больше пока потакая себе, чем вглядываясь в мир, где потребны паутинная

тонкость и усидчивость. Да и здоровая радостная жизнь, азарт молодости, счастливое студенчество в Пермском университете возьмут своё.

Там его муза скоро станет родной вагантам, беспечным школярам Средневековья, которые охотно взяли бы его в свой орден и не заметили пролетевших столетий.

*Куда спешишь, богатый дядя?
Купи себе путёвку в рай!
Поддай студенту на тетради!
На булку бедному подай!
Не забывай, как сам засранцем,
В кружок обритый дурачок,
Ты на учёбу бегал с ранцем
И за бычком нырял в бачок.
Да не похерь святой копейки!
Когда патлатый твой дурак
Моей захочет телогрейки,
Он не уйдёт за просто так!*

Счастливый воздух свободы и дружества, который наполнял его суженные детством лёгкие, часто вскипал озорством, и, кажется, в его вертограде было больше ветра, чем сада, а в его молодом трубадуре одинаково находилось место и трубе, и дуре, и они легко соглашались в нём. Явилось и гербовое животное его поэзии - кот, как бедный уличный собрат, союзник в нищете и независимости («Могу ложиться и вставать / И не считать со страхом дни, / И дамам рук не целовать, / Когда нечистые они, / Могу мостить на небо гать, / Целуя звёзды впереди, / И там летать, и там скакать, / И там уснуть на полпути»).

Но настоящее поле сражения поэта по-прежнему остаётся на границе тьмы и света. Три года в соседстве Лавры не уходили из памяти ни на день. Поэзия от этой оглядки была пророчески темновата, но эта тьма билась живой плотью. Рифмы и смыслы могли показаться случайными, но это было не от лени, и, может быть, надо бы дать звуку прокалиться, догореть, но тогда, наверное, ушел бы и огонь. Терпение – добродетель зрелости и устоявшейся души. А тут горячий бег и неутолённость взгляда, потому что весь мир – чудо и надо хотя бы успеть его назвать.

*Бог, учинитель невиданных дел,
Глупого сына учил как хотел:
– Уголь на сердце! Лёд под язык!
Будешь великим, мой ученик.*

Со льдом пока плохо. Уголь переплавляет сердце. Стихи не следуют – летят! И жадное «я», которое так любит подогревать хорошо

ведомый поэту «князь луны», обнаруживает себя чаще, чем хотелось бы читателю, да и самому поэту. Но он постоянно помнит сокрытую под копотью икону, образ Божий. И для постижения этого образа, понимая, что одним стихом и жаркой жизнью его не извлечёшь, после университета поступает ещё и в Богословский институт, чтобы взяться за копоть с двух сторон. Князь луны, лукавый собеседник Фауста, который стережёт всякого поэта, а тем более такого нетерпеливого и страстного, сразу вскидывается.

*Забитый пригоршнями грязных людей,
Я к ночи укрылся в пустыне.
И был ко мне голос из ада:
- Ей-ей,
Я буду с тобою отныне.*

К тому же еще не истаял след воздуха, сдаваемого внаём, который «мог вычертить любую чертовщину». Начинается нешуточная борьба за душу, всегда обостряющаяся при открытом выборе Бога. Но поэт, не смущаясь, метёт копоть и глядит в небо без страха.

*Природа дворника чиста,
Поскольку каждый раз
Метла – лишь рукоять креста,
Сокрытого от нас.*

Иногда даже начинаешь беспокоиться: не слишком ли он беспечен и не слишком ли опасно бесстрашен в диалоге с голосом ада. Там за руку скоро хватают – не вырвешься.

Предваряя свою подборку в альманахе «Илья» (а поэт – лауреат «Илья-премии» за 2002 год), Павел, играя, пишет о двойственности своего имени, где Павел окликает грозную память апостола, а Чечёткин – беспечную птицу, и предоставляет читателю самому искать, «где там Павлинизм, а где Чечётничество», добавляя, что «если он не отыщет границы, значит, верным путём иду, товарищи!». Шутка хороша, но и дьявол умён, потому что помнит оба смысла слова «павлинизм» и может подменить «апостольский» – «павлиньим».

Для того и богословие. Чтобы не только самому не плошать, а и на Бога надеяться. Он идет путем бодрствования для своих молодых лет уже давно и знает на этом пути дорогие находки. Напряженный взгляд одновременно в лицо Бога и в века подсказывает редкое и точное движение мысли.

*Предвозвестница чуда была тишиной,
Тишиной не обычного ряда,
Усыпившей у Гроба военный конвой
И певцов Гефсиманского сада.*

*Мировая машина, застопорив бег,
Занесла свой шатун над порогом.
За которым во Гробе лежал человек,
Только ночь не являвшийся Богом.*

Тут бы и закончить, но он знает уклончивость мира и его неумение остаться со светом и не скрывает от себя и читателя, что машина не остановится.

*А навстречу из недр поднималась волна,
Рвя бессилие огнеупора,
И толкала железную плоть шатуна
Волокущего землю мотора.*

Темновато и поспешно в словаре, но не лестно для человека и верно в главном смысле. Или ещё вернее и виднее в стихотворении «Господь и раб».

*Воззвал Господь к рабу из дыма,
Окутавшего небосклон.
Стальные ноги пилигрима
Сковал в небесной кузне Он.
И разослал гонцов по миру
На запах крови и духов
Сулить и жаловать порфиру
В обмен на кислый хлеб и кров.
Воззвал Господь к рабу из света:
– Взойди ко Мне, бери и мерь! –
Но раб, не дав Ему ответа,
Глотнул вина и лёг под дверь.*

Не пошел раб по Господню поручению, хотя бы направленному к его собственному освобождению. Не хочет он Господней свободы. И до сего дня не хочет. Поэт не судит. Он только свидетельствует, потому что и в себе это желание «лечь под дверь» знает и пока только настоящему примеряет к руке метлу с рукоятью креста.

Нет, все темы и стихи молодого пермского поэта не переберешь. Тем более, что поэт живёт первым мгновением и раскидист и переменчив, как солнечный день под молодым облачным ветром.

Так чудесно непостоянны и ярки могут быть только подлинно первые книги!

В этом творчестве ещё всё движение, всё бег и восторг, удивление Господню дару в себе с пока ещё неотчётливо вычерченной перспективой. Икона с ещё не вовсе отмытой копотью суетливого времени. Но сила здесь подлинная, чувство острое, страсть живая. И Бог уже бере-

жёт своё «накувыркавшееся в грехах» дитя и протягивает путеводительную десницу. И сулит настоящие крылья.

*Валентин КУРБАТОВ писатель, критик,
публицист, член жюри «Илья-премии».
г. ПСКОВ*

*Анна Сидякина,
к.ф.н., доцент кафедры журналистики ПГНИУ,
зам. главного редактора
Энциклопедии «Уральская поэтическая школа»*

**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «УРАЛЬСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
(фрагменты раздела «Персонажи», посвященные
В.Кальпиди, А.Колобянину, И.Козлову)**

В основной состав книги очерков о поэтах-выпускниках филфака Пермского университета по разным причинам не вошли три автора, творчество которых, однако же, не может быть не замеченным – хотя бы потому, что оно давно стало замеченным и признанным явлением современной российской поэзии. Речь, прежде всего, о Виталии Кальпиди, чья поэзия и масштабная социокультурная практика на протяжении нескольких десятилетий служат ориентиром и стимулом роста для трех поколений уральских авторов. Именно в стихах челябинца Кальпиди в 1980-е годы впервые – развернуто и персоналистично – начала звучать пермская тема, ставшая в 1990-е определяющей в лирике поэтов Перми. Творческая энергия жившего здесь Кальпиди сформировала ядро новой поэзии Урала. Сформулированная и активно проводимая им идея региональной литературной идентичности реализовалась в пространстве «уральского треугольника» (Пермь, Свердловск / Екатеринбург, Челябинск), где Пермь в течение 20 лет играла ключевую роль.

Виталий Кальпиди приехал в Пермь в 1974-м – поступать на филфак ПГУ. Поступил, но не проучился и семестра – был исключен из университета за проявленную независимость суждений, принципиальность и силу характера. Официально это было названо «идеологической незрелостью». После чего он попал под пристальное наблюдение КГБ, ну и, бытовые мелочи – лишился жилья, профессиональной работы и соответствующих перспектив. Как вы понимаете, никаких оснований считать себя «поэтом филфака» у него нет. И все же Виталий Олегович дал согласие участвовать в этом сборнике и сам предло-

жил форму публикации – фрагменты составленной им Энциклопедии уральской поэтической школы (Челябинск: Издательская группа «Десять тысяч слов», 2012. Электронная версия на сайте marginaly.ru).

Энциклопедия уральской поэтической школы стала (точнее, становится, поскольку в настоящий момент идет работа над ее расширенной версией) продолжением и финальным аккордом «Антологии современной уральской поэзии» – авторского проекта В.Кальпиди, который длится почти 20 лет. Результатом этой деятельности стали не только 3 тома Антологии (выпущенные в 1997, 2003, 2011 гг.), десятки книг уральских поэтов, монографии, фестивали, конференции – главным результатом стало то, что состоялось признание такого уникального и яркого феномена, как «уральская поэтическая школа». По мнению Андрея Вознесенского, Дмитрия Пригова, Дмитрия Кузьмина, ряда российских и зарубежных филологов, «уральская поэтическая школа» – один из немногих региональных культурных брендов, созданных и в действительности подтвердивших свое существование.

Итак, в приложении к книге очерков, в формате фрагментов из Энциклопедии уральской поэтической школы, мы представляем творчество трех авторов, в той или иной степени имевших отношение к филфаку ПГУ (ПГНИУ). Кроме Виталия Кальпиди, это Антон Колобянин, один из самых одаренных поэтов, представитель второго поколения уральской новой волны (Антон какое-то время учился на вечернем отделении филфака). И Иван Козлов, студент-пятикурсник специальности «журналистика» филологического факультета, который (есть надежда) на момент выхода этого сборника он закончит. В Энциклопедии представлены и другие имена, вошедшие в книгу очерков – Владимир Дрожащих, Юрий Беликов, Григорий Данской, Павел Чететкин.

И несколько слов о структуре «энциклопедической» информации. Она включает несколько блоков. Во-первых, это краткая биобиблиографическая справка, в которой помимо «дежурных» сведений об авторе называются тиражи поэтических книг, если таковые у автора, опять же на момент составления Энциклопедии, были. Во-вторых, так называемая «филологическая маркировка» – предельно сжатая, лаконичная характеристика поэтической системы автора по единым заданным параметрам (традиции, направления, течения; основные имена влияния, переключки; основные формальные приемы, используемые автором; сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы; творческая стратегия; динамика творчества). Эти «маркировки» создавались коллективом филологов разных городов и вузов – Перми, Екатеринбурга и Челябинска, обсуждались они тоже коллективно – редакционным советом Энциклопедии, поэтому формально носят объективированный обезли-

ченный характер. Еще один информационный блок – «индекс присутствия» – в данном сборнике не представлен, поскольку он обретает смысл и начинает работать сугубо в контексте «уральской поэтической школы» (те, кому интересно, могут ознакомиться с категорией «индекса присутствия» в электронной версии Энциклопедии). И, наконец, основная часть «персонального» раздела – автобиографии поэтов. К сожалению, этот сборник не может позволить себе разнообразие иллюстративного ряда, в отличие от Энциклопедии, в которой фотографии из семейных архивов образуют весомый смысловой объем. Во всем остальном предложенные вам три фрагмента полно и адекватно представляют первоисточник.

ВИТАЛИЙ КАЛЬПИДИ

КАЛЬПИДИ Виталий Олегович родился 18.05.1957 в Челябинске. Учился в физико-математической школе, но выпускной класс закончил в Челябинской школе искусств (класс литературы). Поступил в Пермский государственный университет на филологический факультет, откуда был исключен после 1 семестра как «идеологически незрелый». По возвращении в Челябинск был задержан сотрудниками КГБ. После «профилактических мероприятий» был направлен на работу в «трудовой коллектив для исправления». В 18 лет был помещен в психиатрическую больницу, где получил диагноз, запрещающий преподавательскую и прочую гуманитарную деятельность, что практически означало запрет на профессию. Жил в Перми, Свердловске, с 1990 г. снова в Челябинске. Работал грузчиком, стропальщиком, сторожем, почтальоном, кочегаром и т.д. Первые публикации – в Югославии, Финляндии, Болгарии и только в 1988 г. – на родине. Публиковался в журналах «Урал», «Юность», «Знамя», «Литературная учеба», «Родник», «Лабиринт-Эксцентры», «Золотой век», «Воздух» и др. Автор программы «Современная уральская литература – новая реальность» (шорт-лист премии «Малый Букер»), автор, главный редактор, составитель, дизайнер, спонсор и продюсер многотомного проекта «Антология современной уральской поэзии», составитель, издатель и оформитель более 40 книг современной уральской литературы. Создатель и редактор журнала «Несовременные записки» (совместно с В.Абашевым), ответственный секретарь журнала «Уральская новь». Лауреат премии им. А.Григорьева, премии им. Б.Пастернака, Большой премии «Москва-Транзит», «Slovo» и др. Автор книг «Пласты» (1990, 7000 экз.), «Аутсайдеры-2» (1990, 5000 экз.), «Пятая книга и Вирши для А.М.» (1993, 1000 экз.), «Мерцание» (1995, 2000 экз.), «Ресницы» (1997, 1000 экз.),

«Запахи стыда» (1999, 500 экз.), «Хакер» (2001, 500 экз.), «Контрафакт» (2007, 300 экз.). Стихи переведены на 15 языков. Участник Антологии современной уральской поэзии (выпуски 1, 2, 3). Живёт в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов В.К.

Традиции, направления, течения: модернизм, символизм, сюрреализм, экспрессионизм, барочность, метареализм, метафизическая поэзия, концептуализм.

Основные имена влияния, переклички: Б.Пастернак, О.Мандельштам, В.Ходасевич, Н.Заболоцкий, А.Парщиков, И.Жданов.

Основные формальные приемы, используемые автором: персонифицированность лирического «я», сюжетность, комплексная метафора, мыслеобразность, смысловая вариативность, афористичность, интертекстуальность, ирония, метатекстуальность, установка на эксперимент, визионерское начало.

Сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: пустота, природное и первородное, оппозиция жизнь/смерть, бессмертье, прерывистые пространство и время, вещь, предмет, темнота, ночь, сон, глаз, взгляд, ресницы, женщина, любовь, стихия воды, кровь, трава, насекомые, животные, Бог, поэзия, поэт, город.

Творческая стратегия: рационализация бессознательного, мифологизация пространства, жизнестроение.

Динамика: стихотворения 2-го и 3-го томов (*Антологии современной уральской поэзии, которые содержат стихи из книг «Запахи стыда», «Хакер», «Контрафакт» – А.С.*) более семантически компактны, чем стихотворения 1-го тома (*включающего тексты из книг «Пласты», «Аутсайдеры-2», «Стихотворения», «Мерцание», «Ресницы» – А.С.*) происходит углубление подтекста при упрощении метафорического ряда. Кроме того, стихотворения 2-го и 3-го томов означены определенным уходом от бытового контекста и созданием особой картины мира, ядром которой становится вывернутая наизнанку эклога, антиэклога. В 3-м томе также ошутимое место в тематическом ряду занимает история. В целом, установка на эксперимент позволяет говорить о поэзии В.Кальпиди как о явлении эволюционирующем, находящемся в постоянном развитии, как правило, непредсказуемом, что придает ей особое значение и особый масштаб.

Автобиография

Дед мой по отцу – Сократ Николаевич Кальпиди (1910–1978) был крымским греком. Бабушка, Зоя Ивановна Ильева (1911–1994), по национальности была неизвестно кто (м.б., фрагментами даже крымской

татаркой), поскольку была взята не только в чужую семью, но и одарена чужой фамилией, когда настоящих ее родителей постигла какая-то там «участь», о которой я не знаю ничего, кроме того, что она их каким-то образом «постигла». Дед с бабушкой, нажив в 1933 году сына, моего отца – Олега Сократовича Кальпиди (1933–1994), развелись еще до войны. То ли Сократ Николаевич не был гражданином нашей страны, то ли у него было двойное гражданство, то ли на него имело виды НКВД, но в 1941 году из богом забытого Прокопьевска он волшебным образом уехал (или ему предложили) сначала в Грецию, а потом, поочередно по Африке и еще незнамо где, рванул в Австралию, где пустил корни да так основательно, что они его в положенное время там и утянули навсегда в землю. Зоя Ивановна же во время фашистской оккупации проживала с моим будущим отцом в своем родном городе Симферополе. Сначала убирала в комендатуре, а потом у нее появился покровитель – немецкий офицер. Когда в город вошли наши передовые части, она по-прежнему ходила теперь уже в советскую комендатуру и по-прежнему мыла полы. Комендант (не знаю его фамилии, а следовало знать, и не просто знать, а наколоть на груди) как-то вечером подошел к ней и, глядя не на нее, а серьезно в сторону, тихо, но отчетливо сказал: «Через два дня мы уходим, придут другие; бери сына и беги; куда угодно, лучше прямо сейчас». И бабушка побежала: через Украину, а потом через полстраны – на поездах, на машинах, пешком. Ее дважды грабили, а однажды чуть не убили, пытаясь сбросить под поезд. Приходилось вымаливать себе и ребенку жизнь всем, чем только было можно. И докатились они до города Ирбита в Свердловской области, где бабушка устроилась младшим бухгалтером (или счетоводом) в какую-то леспромхозовскую контору. Как они потом с отцом попали в Челябинск, я не знаю. Потому что до 30 своих лет видел отца только однажды, а бабушку на пару раз больше, не догадываясь при этом, что она – моя бабушка, но подозревая что-то неладное в этой странной киоскерше, подарившей мне ни за что ни про что набор марок. Отец мой после развода с моей матерью вскорости снова женился. И, полагаю, удачно. В этом счастливом браке родились две красавицы дочери Наталья и Галина. Встретились мы с отцом впервые в день моего выпускного экзамена по физике: отец явился в школу с подарком – наручными часами. В результате я чуть было не завалил физику. Ближе общаться мы стали незадолго до его кончины. Я уже выпустил пару своих книг. Отец этим гордился. На меня он произвел впечатление несколько инфантильного, но мягкого и ранимого человека. Говорить нам, в общем-то, было не о чем. И встречались мы в доме его матери, моей бабушки (она к этому времени завершила долголетнюю рокировку

ку Челябинск – Симферополь – Челябинск). Я сам пошел с ними на контакт, хотя, признаюсь, это было умозрительное с моей стороны решение. Я нисколько не винил их за то, что они вообще не интересовались моей судьбой. Ведь их судьбой я тоже не интересовался. Я даже не заметил, что у отца, как потом выяснилось, то и дело случались приступы депрессии, связанные с потрясениями проклятых 90-х. ...Я был на конференции в Перми, когда мне сообщили, что он выбросился из окна. Первая реакция была – мчаться в Челябинск. После двух выкуренных сигарет я решил, что никуда мчаться не надо. Потом бабушка, Зоя Ивановна, все плакала, причитая, что я должен был приехать на похороны. Я даже не оправдывался. Просто смотрел на ее мокрое от слез лицо. Просто смотрел. Мы съездили с ней на могилу, а потом через пару месяцев она умерла. На ее похороны я тоже не пошел.

Мой дед по матери – Таранов Владимир Васильевич (1910–1973) был вроде как украинцем. Мать говорила, что настоящая его фамилия Таран, и сам он – из Киева. Бабушка же – Ирина Васильевна (1913–1992) в девичестве носила фамилию Пономарева. И жила на Урале, в Москве, Ростове и где-то еще. Ее отец (мой прадед) был дворянин (так говорят). Что не помешало ему выбрать судьбу провинциального актера. Выступал он под сценическим псевдонимом – Азаров. Умер рано. Мамина семья (в отличие от отцовской) была многодетна: детей, кроме мамы, было еще семеро. Бабушку Ирину Васильевну я любил. А деда Владимира Васильевича – нет. Один раз ночевал в его комнате. Проснулся ночью и увидел деда, сидящего в белом белье на кровати. Облитый светом луны (не разрешал вешать занавески на окна), он держал в руках стакан водки и молчал. Долго. Потом прошептал: «Гребаный в рот...», и залпом выпил этот стакан. На ночь у него часто была припасена чекушка. О чем он думал по ночам? О войне, которую прошел от звонка до звонка, вернувшись с неё с полной грудью наград? О смысле своей жизни? О детях, которых, как мне казалось, не замечал? Когда мне в последнем школьном сентябре мать сказала, что он умер, у меня отказали ноги, и я рухнул прямо возле входной двери. Мама моя, Людмила Владимировна Постникова, родилась в 1933 г. Из детства она хорошо помнит только то, что всегда была голодна. Ее даже отдавали на время в детский дом (иначе было не прокормиться такой ораве). В юности хотела стать артисткой (не актрисой), но денег, чтобы поехать учиться, не было. Поэтому закончила в Челябине педагогическое училище и до сих пор работает учителем начальных коррекционных классов. С моим отцом они прожили около года. Потом она вышла второй раз замуж за Постникова Виктора Георгиевича. Именно этот человек превратил мое детство в ад. Он уже давно умер. И я на него совсем не

злюсь. Даже жалею. Было в нем заложено очень много хорошего, но алкоголь сделал свое мерзкое дело. Теперь его судьбу пытается повторить его сын, мой брат. Такие дела.

В школе я учился плохо лет до 12, пока мне не пообещали купить собаку. Условием покупки были отличные оценки. Собаку мне купили, но потом ее у меня отняли. Я ушел на неделю с классом в поход. Мой пес (немецкая овчарка) смотрел на меня из открытого окна четвертого этажа, поскуливая. Когда я вернулся, пса уже продали в деревню. Я рыдал неделю: как только все уходило из дома, я падал на диван и выл. Надо мной сжалились и через некоторое время позволили взять маленькую «таксу» (помесь дворняги). Но потом я уехал на две недели в пионерский лагерь, а когда сбежал оттуда, почувств неладное, щенка не было. Отчим и мать сообщили, что он убежал. Пацаны во дворе прошевелили, что отчим выгнал его, и щенок еще двое суток ночевал в дворовой песочнице. Потом пропал. Я искал его неделю по всему микрорайону. Как-то вечером я положил под подушку молоток. Смелости, чтобы ударить им уснувшего отчима, мне не хватило. В ту ночь я первый раз изменился. Продолжая по инерции хорошо учиться, я перестал выходить к пацанам во двор, учителей презирал, матери не доверял, отчима не считал за человека. Собакам и кошкам в глаза смотреть уже не мог (сразу начинал плакать) и за это их ненавидел. Поглощал тоннами книги. Одновременно читал Данте, «Остров сокровищ» и Брюсова, хотя и учился в физико-математической школе. Решил стать писателем. Таким, как Томас Манн. Почему? Не знаю. Художественные книги как предметы, вкусно пахнущие типографией, – обожал. Особенно собрания сочинений. Дома книг практически не было. Я стал их собирать, иногда подворовывая в библиотеках. Прозу читал взахлеб. А в стихах нравились непонятные слова, которые я выписывал, и каждый вечер ходил в очень далекую библиотеку узнавать про них в словаре Ожегова. Я внезапно полюбил учителя по английскому. Истово стал учить язык. Накануне годового диктанта отчим устроил очередной многочасовой мордобой с матом, битой посудой, с приездом милиции... Длилось это все до утра. По дороге в школу я на ходу учил новую лексику. Но написание пяти слов запомнить не успел. Написал их на ладони. Учительница заметила, и поставила мне двойку. Несправедливость ситуации меня подкосила. Сил хватило только на то, чтобы не заплакать. Больше никогда в жизни на уроки английского языка я не ходил. Ни в школе, ни в университете. Никогда. После девятого класса, забрав документы, сам перевелся в литературную школу. Там встретил настоящую учительницу литературы. И великолепного учителя истории. Занимался, как сумасшедший. Потом взял и уехал поступать в

Пермский университет. Проучился на филфаке пару месяцев, после чего меня сначала поперли из общаги, а после совсем, с формулировкой в характеристике: «Идеологически незрел». Вернулся в Челябинск. Вызвали в военкомат и прямо оттуда увезли на допрос в КГБ. Допросы шли две недели. Мне было любопытно. Пару раз меняли следователя. После отдали на перевоспитание в трудовой коллектив, назначив плотником. Из коллектива я вскорости слинял и попробовал еще раз поступить в вуз, уже в Челябине. На экзамене меня откровенно валили. Я это знал, и они знали, что я это знаю. За сочинение нагло поставили четверку. Вызвали к проректору, и тот мне популярно объяснил, почему я никогда не буду учиться в Челябинском педагогическом институте. Прямо из вестибюля вуза я позвонил в КГБ своему следователю и нагло сказал, что его разговоры о справедливости, которые он со мной вел, – полная туфта. Я вот сейчас в двадцати минутах ходьбы от него хлебаю эту «справедливость» полной ложкой. Он попросил перезвонить минут через двадцать. Я перезвонил. Майор на том конце провода сказал: «Иди и спокойно сдавай экзамены». И я спокойно пошел забирать документы, которые мне не отдавали. Послали к тому же проректору. А там: «Вы меня неправильно поняли» – «Да правильно я Вас понял, отдавайте документы» – «Не могу, нам нужны умные студенты...» – «Я тебе сейчас, сука, башку этой чернильницей проломлю. Давай, пахег, документы». Документы вернули. Больше в вузы я никогда не поступал. Зато тут же создал общество «Новая этика», неясная идеология которого жидилась на книге Альберта Швейцера «Культура и этика». Мы мечтали устроить «поход» в школы, закончив профильные институты, и уже там воспитывать детей такими, какими считали они и должны быть. Тем временем подгребал ко мне «воинский долг». Решил я попасть в серьезные войска с прицелом научиться всему тому, что может пригодиться (понятно, для чего). Но прямо с медкомиссии меня препроводили в психушку (чекисты не дремали). Там я пролежал несколько месяцев. Вначале покололи чем-то мерзким. Но я устроил скандал главврачу, пригрозил неадекватными мерами, и от меня отстали. Познакомился я там с такими перцами – не приведи, господи. Был там один кент, которого выгнали из театрального училища за аморалку и отправили в армию, откуда он комиссовался простым способом: месяц после отбоя читал вслух есенинского «Черного человека». И теперь в психушке дожидался оформления документов. Он писал официенные стихи:

«Это конец, а мозги сворачиваются в спираль,
и уши мои, как доски, уходят концами вдаль...»

В 1975 это было по-идиотски роскошно. Короче, после долгого лежания/сидения/гуляния вызвал меня главврач и повторил чужую фразу: «Не вам противопоказана армия, а вы противопоказаны ей». Дали мне статью 7Б. И выпнули. Общество «Новая этика», пока я был в психушке, рассыпалось, потому что самый близкий человек оклеветал меня. И сделал это так неожиданно и дерзко, что от переживаний я изменился второй раз: ходил полночи по осеннему Челябинску, простудился, заболел и через месяц выздоровел уже совсем другим человеком: циничным, жестким, даже подлым. Очень удивился, ощутив всё это внутри себя. А как удивился этому «самый близкий человек», когда я продемонстрировал ему новые свои возможности, лучше не описывать. Я уехал в Пермь, женился на истеричной девице, которая родила мне замечательную дочку. Мы прожили несколько лет, а потом моя жена разбила мне сердце. Я, конечно, очень плохо ее любил. За это она хорошо меня возненавидела. И по праву. Но сердце всё равно было разбито. И склеил я его только лет через двенадцать. Остальное – не существенно.

АНТОН КОЛОБЯНИН

КОЛОБЯНИН Антон Валерьевич родился в 1971 г. в Перми. Публиковался в журналах «Урал», «Несовременные записки», «Уральская новь» и др. Автор сборника стихов «Центр дождя» (Пермь: Фонд «Юрятин», 1997, 300 экз.). Участник Антологии современной уральской поэзии (выпуски 1 и 2). Живет в Перми.

Филологическая маркировка стихов А.К.

Традиции, направления, течения: романтизм, медитативная лирика, модернизм, экспрессионизм, футуризм, постмодернизм, метаметафоризм (метареализм).

Основные имена влияния, переклички: М.Лермонтов, А.Пушкин, Е.Баратынский, Ш.Бодлер, В.Маяковский, Б.Пастернак, В.Высоцкий, А.Парщиков, В.Кальпиди.

Основные формальные приемы, используемые автором: исповедальность, персонифицированное авторское «я» в образе лирического героя, метафора, метабола, олицетворение, ирония, усмешка, короткая рваная строка, парадокс, остранение.

Сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: любовь, секс, женщина, плоть, влага, поэзия (поэт, муза, ангел), смерть поэта, тоска, алкоголь, суицид, распад, травма (боль, ломка, рана, порез, кровь), двой-

ничество (тьма, фотография, портрет, отражение, маска), физиологические образы, стыд, снег, дождь, свет, светопись, процесс письма (стихотворчества).

Творческая стратегия: травмирующее, болезненное выламывание собственной судьбы из стереотипного образа судьбы поэта.

Динамика: в подборке 2-го тома (*Антологии современной уральской поэзии, в которую вошли стихи конца 1990-х – начала 2000-х гг. – А.С.*) преобладают любовно-медитативные и исповедальные монологи, стихи этого периода намного менее экспрессивны по сравнению с 1-м томом (*т.е. стихами начала и середины 1990-х гг. – А.С.*), они пронизаны элегической интонацией, ощущением притупленной, пережитой боли, в них настойчиво звучит тема опустошенности, исхода.

Автобиография

Я родился в Перми. Мой отец Валерий Яковлевич родом из поселка Буй Ярославской области, мама Светлана Петровна – из Перми. Отец поехал поступать в Пермь на геолога, в университете они познакомились с мамой.

Детство у меня прошло в Перми и Красновишерске, где работали родители. На берегу Вишеры у отца был дом. Он любил природу и животных. В отличие от папы, у которого был технический склад ума, мама – гуманитарий. Она собирала домашнюю библиотеку, любила художественную литературу, интересовалась современной поэзией: Вознесенским, Евтушенко, Ахмадулиной.

В школе я учился очень плохо, был троечником. Рос застенчивым. С одноклассниками отношения не складывались. Меня отдали учиться в шесть лет, потому что я рано – уже в 5 лет – научился читать и писать. Поскольку семья часто переезжала, я учился то в Перми, то в Красновишерске.

Мама не понимала, почему я не люблю школу. А мне не нравилось учиться. Там давали ненужные знания, которые не пригодятся. Такая мертвечина эти уроки! В детстве я вообще хотел уехать на необитаемый остров.

Стихи я начал писать во 2–3 классе. С детства много читал. В подростковом возрасте увлекся фантастикой. Очень вдохновляла детская литература: Алексин, Железников (у него мне нравились полуфантастические повести). Тогда были прекрасные добрые писатели. А потом я открыл Вознесенского. Его «Треугольная груша» мне просто башню снесла.

Мама любила Евтушенко. Она была отличница. Ее даже послали на XXII съезд комсомола в Москву. А перед ним был XX съезд КПСС,

на котором Хрущев назвал Сталина врагом народа. Там мама впервые и услышала Евтушенко. Ей тоже снесло башню. А мне Евтушенко никогда не нравился. Это литература, а не откровение.

Мама в детстве записывала меня в различные секции. Сначала в детский хор мальчиков, потому что у меня был хороший не то дискант, не то тенор. Но что и как я пел, не помню, потому что все, что делается по принуждению, – забывается. Потом голос стал ломаться, и меня отправили в музыкальную школу в Перми и Красновишерске, где я играл на пианино. Но играть я так и не научился – не осилил сольфеджио.

Однажды меня мама записала в ансамбль политической песни во Дворце молодежи. В ансамбль ходили многие известные в будущем люди Перми – например, на бонгах там играл Жан Хоменко, пермский негр. Потом туда пришел Евгений Чичерин. Но мы с ним познакомились раньше. В ансамбле я играл недолго, мне уже тогда нравилась более радикальная музыка.

Еще мама меня записывала во всякие спортивные секции (стрельба из лука, бокс), чтобы меня, самого маленького в классе, не били. Но меня и так никто не бил.

Я настолько плохо учился в школе, что после 8 класса меня должны были отправить в ПТУ. Но у меня был совершенно не технический склад ума. Родители договорились, что меня переведут в 9 класс. В старших классах я сбегал с последних уроков, ходил в магазин «Мелодия». Я смотрел на красивые конверты пластинок, обычно с классикой, как смотрят на картины на выставке. В отличие от тогдашних книжных магазинов, в которых было пусто и скучно (в основном продавались книги плохих советских писателей), там было интересно.

Однажды к маме на работу пришла новая сотрудница – Елена Васильевна Тетерина. Моя мама ей рассказала, что я пишу стихи. А Елена Васильевна сказала, что ее сын пишет рассказы. Мы пришли к ним в гости, и я познакомился с Сергеем Тетериным. Он заканчивал школу, готовился идти в армию. Тогда он меня впервые познакомил с ансамблем «Аквариум».

Порой мамина любовь доходила до фанатизма. Родители ведь не просто любят своих детей, но и их выдающиеся способности. Но отношение к творчеству у нас было разное. Иногда мне приходилось от нее прятать написанное.

После школы мама настояла, чтобы я пошел на филфак. Мне не хотелось снова садиться за парту. С детства нас долбят и приучают к рабскому сознанию: сначала детский сад, потом школа, а после школы

снова парты! Я хотел работать и зарабатывать. Но пришлось идти на филфак.

Я кое-как сдал экзамены, поэтому меня взяли на вечернее отделение. На самой первой паре я познакомился с Игорем Крохоловым. Он был единственным мужчиной в аудитории. Мы сразу нашли общий язык. Он интересный, яркий человек. Был независимым и начитанным, увлекался философией. С ним было интересно, но учиться я не хотел. В итоге меня отчислили за неуспеваемость. Для семьи это была трагедия. У мамы был сердечный приступ. Но я не мог больше этого терпеть.

В университете я познакомился с Димой Долматовым и Сергеем Стакановым. Они уже что-то писали, были неформалами. Вызывающе себя вели и одевались. Стаканов ходил в отцовской шинели, которая была ему до пят. Долматов устраивал выступления всяких фриков. В этой тусовке я познакомился с Мишей Сурковым и Славой Глушенко. Они устраивали выставки, перформансы и концерты.

Уже лет в 9–10 я понял, что пишу настоящие стихи. Они у меня до сих пор сохранились, жалко выкидывать.

Записываться мы начали еще в школе с моим школьным товарищем Сергеем Аксеновым, талантливым художником. Чтобы заработать на магнитофон, мне пришлось пойти работать на завод. А во время летних каникул я подрабатывал вместе с родителями в геологических экспедициях. После универа на заводе АДС я работал учеником слесаря-сборщика. Я был счастлив, ходил на работу и зарабатывал «бабки» – началась свободная жизнь.

Но работа на заводе продолжалась недолго – меня призвали в армию. Через пять месяцев учебки меня отправили в войска за проявление норов. «Норов» заключался в том, что я не хотел подшивать воротничок и все делал медленно, то есть особо не торопился. Мне повезло, дедовщины у нас не было. Служили хорошие ребята. Потом меня положили в госпиталь. После обследования лейтенант медслужбы сказал: «Ну все, завтра тебя выписывают и отправляют в стройбат, как последнего мудака». Я спокойно сказал: «Ну, ладно». Увидев, что на меня его слова не произвели никакого впечатления, он сказал: «Да ладно, я пошутил, завтра поедешь домой».

В 1993 году мы со Стакановым организовали ансамбль «Fox Band». Я ощущаю себя больше музыкантом, а не литератором. Но не исполнителем-виртуозом, а человеком, который с музыкой по жизни.

В квартире Долматова, когда не было его мамы, мы собирались, пили пиво, слушали пластинки. Дима хотел издавать журнал, впрочем, он всегда чего-то хотел, ну и я за компанию. От Долматова узнал о

Кальпиди, прочитал его стихи в самиздате и захотел познакомиться. По приглашению Виталия я пришел к нему на квартиру, он жил на улице Подводников, и мы пообщались.

Первая моя публикация была в газете «Молодая гвардия», где работала Наталья Шолохова, жена Кальпиди. Газета объявила поэтический конкурс на лучшее присланное стихотворение. Моя мама без моего согласия отправила мои стихи. Их опубликовали. Мне было приятно, но не понятно, почему напечатали слабое стихотворение. В отличие от большинства у меня другое отношение к творчеству. Мне кажется, поэзии нужна выдержка... Я, по сути, легкий человек. Я легко ко всему отношусь, поэтому и жив до сих пор. Когда я перестал писать стихи, для меня это было странно: ну надо же! Но при этом мне было вполне комфортно жить, никакой трагедии не произошло. Хотел написать роман, но понял: все романы давно написаны. Я подходил к этому как талантливый поэт – а я без всякого лукавства считаю себя именно таковым – то есть спонтанно. Я не могу каждый день писать по 5–10 страниц... Уже 10 лет я работаю грузчиком. Жизнь только начинается. У меня все еще впереди.

ИВАН КОЗЛОВ

КОЗЛОВ Иван Владимирович родился в 1989 г. в Перми. Студент филологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (бывший ПГУ). Работал грузчиком, дворником, музейным смотрителем, фотографом и журналистом. Входит в товарищество поэтов «Сибирский тракт». Публиковался в журналах «Воздух», «Знамя», «Вещь» и в некоторых сетевых изданиях. Участвовал в фестивалях «СловоNova», «Живая Пермь» и «А-Либитум», а также в программе телеканала «Культура» «Вслух. Стихи про себя». Постоянный участник российских поэтических слэмов. Лауреат премии для молодых поэтов «Nova» за 2011 год (книга стихов молодого автора). Участник Антологии современной уральской поэзии (3 выпуск). Живет в Перми.

Филологическая маркировка стихов И.К.

Традиции, направления, течения: постмодернизм, натурализм, панк-рок, поэтический слэм, «новый эпос», протеическая поэзия, «некроинфантилизм», метафизическая поэзия.

Основные имена влияния, переклички: О.Нэш, Е.Летов, А.Родионов, А.Пермяков.

Основные формальные приемы, используемые автором: исповедальность, маскировка, диалогизм, нарративность, прозаизация, длинная строка, тонический стих, утомительное ритмическое однообразие, имитация устной речи, внезапное свертывание речи с целью ухода от нарастающей эмоциональности, черный юмор, ирония, пародия, парадокс, остранение, интертекстуальность.

Сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: смерть (состояния и атрибутика смерти, макабрические образы), физиология, детское (куклы, игрушки, страшилки, детские воспоминания), тьма, страх (фантомы страха, экзистенциальный ужас), иррациональное в реальности, бытовой религиозный дискурс.

Творческая стратегия: преодоление иррационального страха, контроль за тьмой методом непрерывного наблюдения.

Автобиография

Я родился 1 января 1989 года в селе Кишерть Пермской области и прожил там 14 лет.

На самом деле это вранье.

Родился в Перми, жил в Перми. А в Кишерть, к бабке с дедом, навещался исключительно в каникулы.

Такое вранье я, впрочем, считаю позволительным – если когда-нибудь сложится миф обо мне как о деревенском жителе, в сознательном возрасте понаехавшем в город, мне будет приятно. Ведь всё равно самая искренняя и правильная жизнь в тот период приходилась именно на кишертские каникулы, а в городе мне было тягостно и неудобно.

Чем можно было заниматься ребенку (а затем и подростку) в Кишerti?

Абсолютно ничем.

С детства обожал заниматься ничем!

Можно было, скажем, отыскать за поленницей насквозь проржавевшую хреновину – не то деталь от двигателя, не то вентиль от газовой трубы, не помню уже – и коротать часы, поливая ее водой из колонки и воображая, что с ней от этого происходят удивительные изменения.

Можно было нарвать на огороде луковых стрел, горошка, незрелой моркови, свекольной ботвы и всякой прочей ерунды, насыпать этот салат в ведро с водой, поставить на солнце на часок и потом хвататься всем, какой замечательный суп ты сварил без посторонней помощи.

Можно было часы напролёт разбрызгивать по просёлочной дороге воду из шланга и гордиться тем, что так прибываешь пыль и бережёшь

здоровье целой улицы. Дорога под солнцем мгновенно высыхала, но героическая борьба с пылью от этого становилась только увлекательнее. И по железной дороге можно было бродить до посинения. Но это летом.

Зимой моим главным врагом становился снег, и я расправлялся с ним так же азартно, как летом расправлялся с пылью. Впрочем, просто так играть в нем мне тоже нравилось.

А весной пыли не было и снега тоже не было. Зато была вода. Для борьбы с этой напастью имелись особые методы. Чтобы скопившаяся в лужах весенняя вода не текла в подвал и в сени, я целыми днями бродил по двору с ломом и выдавливал во льду и в мерзлой земле замысловатые русла, в которые ненужная вода сразу же устремлялась.

Черт возьми, я управлялся с этой стихией круче, чем сам старик Моисей.

Последний раз в жизни я выделял эти трюки с талой водой первого апреля 2003 года. Я прорубал широкое русло прямо перед окнами нашего дома. Вода наступала, и я работал ломом с тем же остервенением, с каким Америка в это самое время бомбила Ирак. Деревенские мужики, приходившие на дедовы похороны, видели меня под окнами нашего дома и потом, растрогавшись, сообщали отцу, что восхищены моим самообладанием. А я просто отводил весенние ручьи от подвала.

Днем ранее мы с отцом брели по кишертским улицам, держа в руках купленные в местной галантерее искусственные цветы с выгоревшими сиреневыми лепестками из дешевой пластмассы. Мне было куплено мороженое-эскимо с кусочками мармелада, а когда эскимо было съедено, отец сказал:

– Ну вот и кончилось твое детство.

Если бы в те годы существовал интернет-мем «Спасибо, капитан!», я бы ему так и ответил.

Что это, в самом деле, за пошлое резонерство!

Действительно, там оно и сгнуло, в сыром подтаявшем снегу, запаха которого я до сих пор могу вообразить в любой момент.

Вскоре и Кишерт сгнула, потому что некому было следить за домом, и бабушка сгнула, и папа.

Всё это переживалось по-настоящему, но уже не имело решающего значения, поскольку происходило за пределами детства.

А за этими пределами, по большому счету, вообще ничего нет.

«Дети кукурузы» вот были умные, а мы все дураки. Только фильм не смотрите, читайте рассказ Кинга. В фильме хэппи-энд, а хэппи-энд – это почти всегда неправда.

Недавно вычитал в книжке Елизарова (Елизаров хороший) фразу «С детства родные считают его серьезным, хотя серьезность Леонида в первые годы жизни заключается лишь в том, что он боится радиопередач, картинок в книжках, закрытых дверей и узоров на обоях» и сразу же запихнул её во все социальные сети в раздел «О себе». Как будто бы это про меня. Хотя это про какого-то Леонида, который потом по сюжету перерезает себе горло, таким образом заземляя, как пишет Елизаров, слово «педераст». Не то чтобы я боюсь конкретно узоров на обоях и радиопередач, и у меня вряд ли когда-нибудь возникнет идея заземлять слово «педераст» (как это вообще?), но последние лет девять меня, не вдаваясь в детали, можно примерно так и характеризовать. Не «педерастом», в смысле, а человеком тревоги и, может быть, иррационального страха.

На самом деле, конечно, не стоит мне прибедняться. Случалось много всякого хорошего и интересного. Причем такого, что автобиография может тихо и незаметно перетечь в хвастовство. Фотографии мои смотрят, стихи слушают, к словам прислушиваются. Даже в телевизоре несколько раз попадал со стихами. Проекты всякие, опять же, реализуются. Сажу в Музее PERMM, который мне нравится очень. Люди, которых я люблю, любят меня. Да и вообще я люблю людей, практически всех. Ну ладно, за исключением пары скотов из бывших одноклассников, одного бывшего сокурсника и одного пермского депутата, которого вы все знаете. А так – да, всех люблю.

Иное дело, что писать мне хочется не об этом, а о другом. Я и предыдущий-то абзац с трудом из себя выдавил, чтобы этот текст хотя бы по паре формальных признаков был на автобиографию похож.

Я, на мой взгляд, принадлежу к тем людям, которых патологически влечёт то, что кажется по-настоящему страшным, недопустимым, отвратительным. А значит, непонятым. Жить с этим в одном мире трудно, закрывать глаза стыдно, удалить невозможно. Выходит, остаётся только пропустить это сквозь себя, чтобы сделать чуть менее непознаваемым. В этом, наверное, есть что-то и от мазохизма. Но немного.

Возможность наблюдать за темнотой, возможность прочувствовать ее создает иллюзию ее понятности, иллюзию контроля.

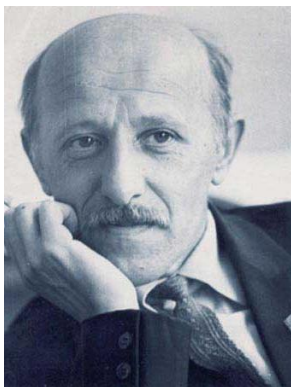
Я наугад выхватываю из хаоса какие-то отталкивающие обрывки реальности и укладываю в сознание компактно и аккуратно, как выглаженное белье на полки шкафа, и от этого становится несколько легче.

Так проходит время, много времени. Моего времени, раз уж мы говорим про автобиографию.

Не существует никакого «взросления», есть только нисходящая спираль между детством и...

[далее нрзб.]

Скользить по этой спирали, впрочем, иногда бывает довольно весело. Не спору.



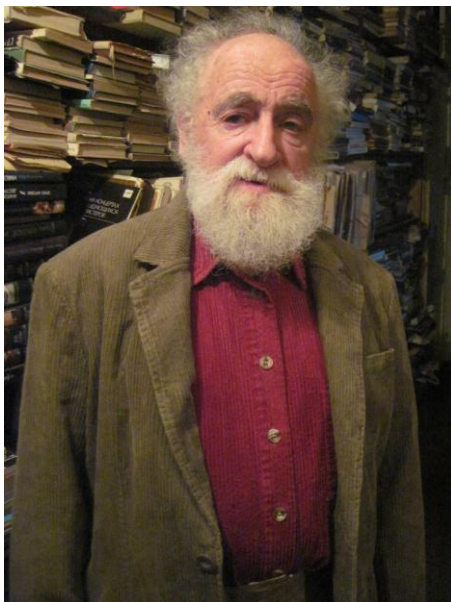
Алексей Домнин



Евгений Можяев



Владимир Радкевич



Илья Рейдерман



Илья Рейдерман с женой Анастасией Зиневич



Юрий Власенко



Юрий Власенко
(портрет работы Н. Горлановой)



Владимир Виниченко



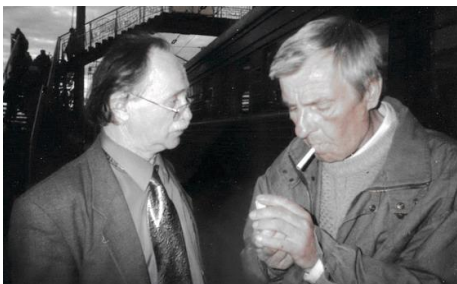
Леонид Юзефович, Владимир Виниченко, Анна Бердичевская



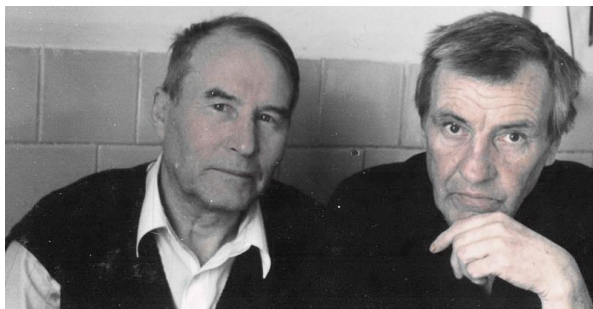
Владислав Дрожащих



Николай Кинёв в 1990-е гг.



Николай Кинев и Иван Ёжиков



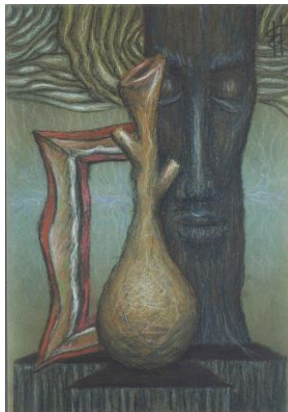
Николай Кинев и Иван Гурип



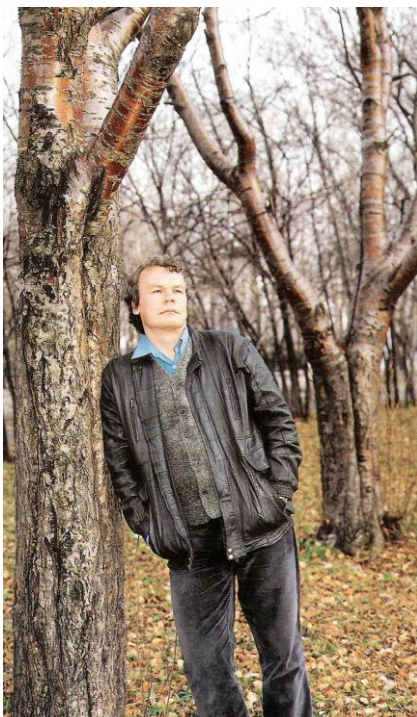
Николай Кинев и Виталий Богомолов в домашней обстановке



Николай Кинев и Ирина Христолюбова



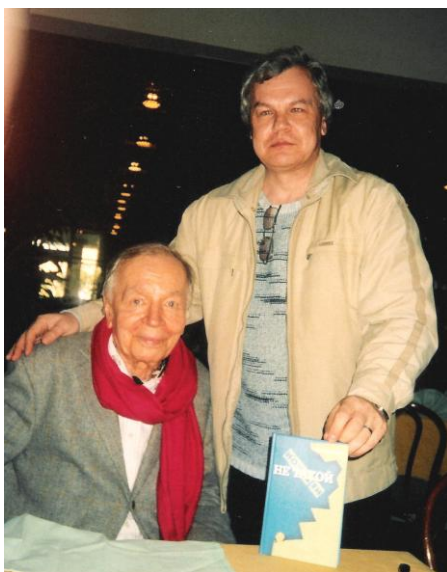
Вячеслав Полунин и одна из граней его творчества



Юрий Беликов



Юрий Беликов у Аринушки



Юрий Беликов и Андрей Вознесенский



Юрий Беликов и Евгений Евтушенко



Юрий Беликов и Константин Кедров



Анатолий Субботин



Анатолий Субботин



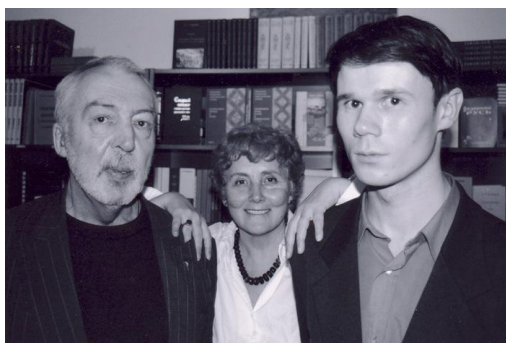
Григорий Данской



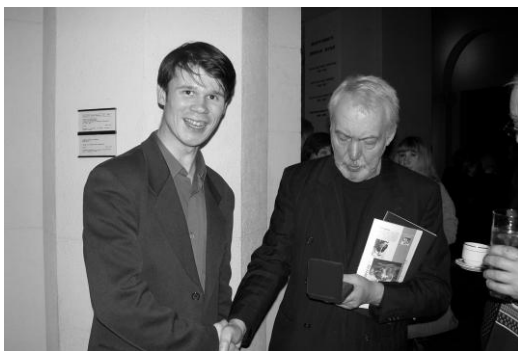
Григорий Данской и группа «Пятый корпус»



Павел Чечеткин



Павел Чечеткин с Андреем Битовым и Анной Бердичевской, 2004 г.



Павел Чечеткин с Андреем Битовым на вручении премии «Триумф», 2004 г.



Виталий Кальпиди



Виталий Кальпиди



Антон Колобянин



Иван Козлов



Иван Козлов на фестивале «Живая Пермь», 2014 г.

ΠΟΙΗΣΙΣ (POĒSIS)

Страницы биографий поэтов – выпускников филологического
факультета Пермского университета

Издается в авторской редакции

Компьютерная верстка *В. А. Леготкина*

Адаптация для веб *А. В. Пустовалова*

Подписано в печать 25.04.2014. Формат 60х84/16.

Усл. печ. л. 18,31 + вкл. Тираж 200 экз. Заказ

Редакционно-издательский отдел Пермского государственного
национального исследовательского университета

614990. г.Пермь, ул. Букирева, 15

Типография Пермского государственного национального
исследовательского университета

614990. г.Пермь, ул. Букирева, 15